П. Милюковъ.

ОЧЕРКИ
по исторіи
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

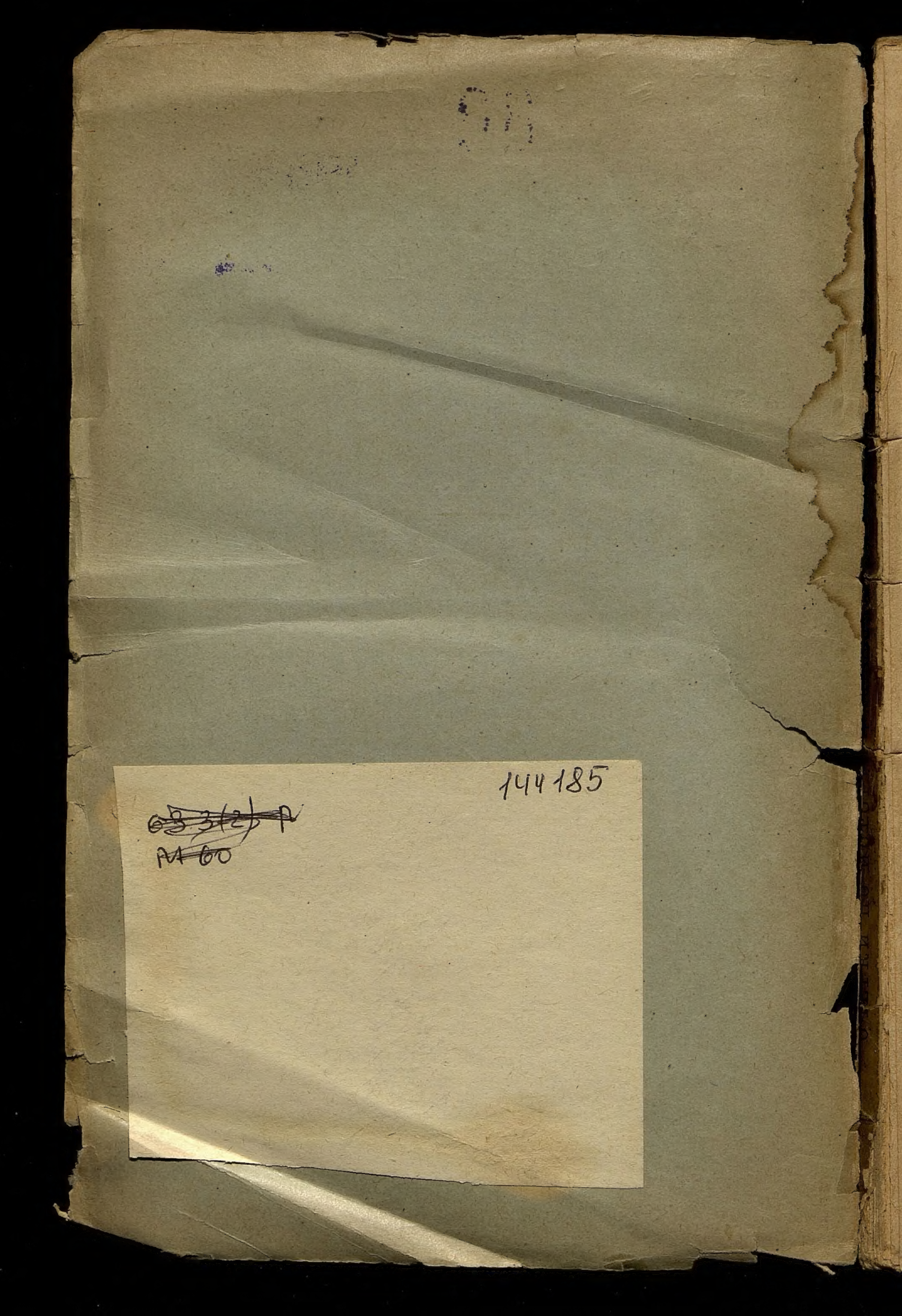
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Національзмъ и общественное мнѣніе.

Выпускъ первый.

Изданіе второе.

Изданіе редакціи журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1903.







П. Милюковъ.

ОЧЕРКИ

ПО ИСТОРІИ

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

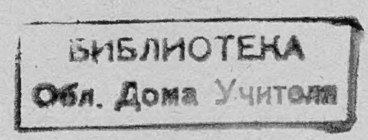
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Національнизмъ и общественное мнѣніе.

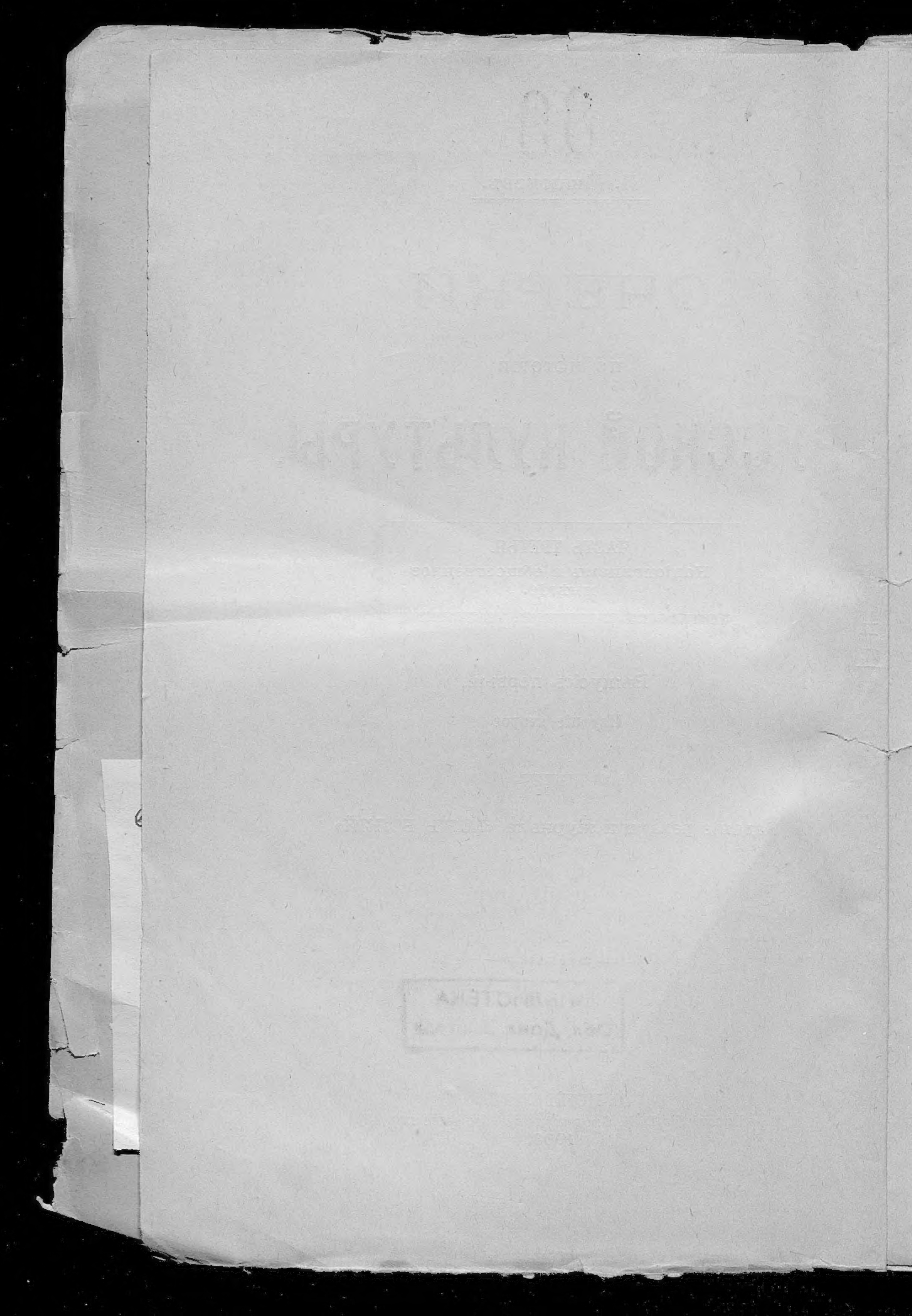
Выпускъ первый.

Изданіе второе.

Изданіе редакціи журнала «МІРЪ БОЖІЙ».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1903.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Е
р
л
С
п
у
с
п
н
с
м
р
п
д

м
т
м
п
ц
ж

с
в
н
н
н
с
Н
м
р
Д
с
з
н

ВВЕДЕНІЕ.

Развитіе соціальнаго самосознанія—предметъ третьей части «Очерковъ».—Односторонность пониманія «народнаго самосознанія» у нѣкоторыхъ предыдущихъ писателей.—Различеніе въ «народномъ самосознаніи»—«національнаго» и «общественнаго».—Ошибочность стараго пониманія «національности».—Современное ученіе объ отношеніи національности къ «расѣ».—Вопросъ о зависимости ея отъ географическихъ условій.—Національность—понятіе соціальное.—Психическое взаимодѣйствіе—основа соціальныхъ явленій вообще и національности въ частности.—Языкъ—какъ органъ психическаго взаимодѣйствія.—Измѣнчивость языка.—Религія, какъ символъ національности.—Національное сознаніе отчасти само создаетъ свое содержаніе.—Раннія стадіи въ развитіи національнаго самосознанія.—Періодъ военной борьбы за формированіе націи.—Соотвѣтствующая ему стадія національнаго самовозвеличенія; ея религіозная санкція и соціальное значеніе послѣдней.—Условія, опредѣляющія направленіе и степень дальнѣйшаго развитія общественнаго самосознанія.—Происхожденіе, распространеніе и результаты критическаго воззрѣнія.—Отношеніе сказаннаго къ темѣ третьей части «Очерковъ».

Въ двухъ первыхъ томахъ «Очерковъ по исторіи русской культуры» мы имѣли дѣло, главнымъ образомъ, съ стихійными или полусознательными историческими процессами, развитіе и общій ходъ которыхъ менѣе всего опредѣлялись сознательнымъ выборомъ или рѣшеніемъ общества или его представителей. Мы прослѣдили каждый изъ этихъ процессовъ до конца и могли убѣдиться, что всѣ они становятся, однако же, болѣе сознательными по мѣрѣ приближенія къ современности.

Та или другая степень сознательности есть, конечно, во всякомъ соціальномъ процессѣ, такъ какъ всѣ соціальныя явленія происходятъ въ психической средѣ. Но «общественное» самосознаніе предполагаетъ наличность извѣстнаго механизма, посредствомъ котораго индивидуальная мысль становится общественной. Чѣмъ этотъ механизмъ совершеннѣе, тѣмъ быстрѣе происходитъ эта передача, и тѣмъ скорѣе и цѣлесообразнѣе реагируетъ общественная мысль на получаемые ею импульсы. Напротивъ, чѣмъ примитивнѣе механизмъ для претворенія личной мысли въ общее мнѣніе, тѣмъ болѣе отстаетъ моментъ этого претворенія отъ момента личнаго усвоенія извѣстной мысли: тѣмъ болѣе, слѣдовательно, является запоздалымъ и усвоенный общественнымъ самосознаніемъ результатъ, тѣмъ труднѣе замѣнить въ общественномъ сознаніи этотъ результатъ другимъ, болѣе современнымъ, и тѣмъ труднѣе сдѣлать изъ него какое-либо практическое приложеніе къ окружаю-

щей дѣйствительности. Такимъ образомъ, степень соотвѣтствія между потребностями дѣйствительности и ихъ отраженіемъ въ общественномъ сознаніи можетъ быть чрезвычайно разнообразна. А при неразвитости механизма для передачи и усвоенія общественной мысли—это соотвѣтствіе бываетъ обыкновенно крайне слабо и несовершенно. Вотъ почему, хотя наличность и непрерывность общественнаго самосознанія есть соціальный фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, но было бы верхомъ заблужденія ограничивать изученіе соціальныхъ процессовъ областью общественно-сознаваемаго, и тѣмъ большей ошибкой было бы искать у этого общественнаго самосознанія отвѣтовъ на научные вопросы о причинахъ тѣхъ или другихъ соціальныхъ явленій.

Уже изъ только что сказаннаго видно, что общественное самосознаніе само есть одно изъ такихъ соціальныхъ явленій, находящееся въ неразрывной связи съ стихійными процессами, изучавшимися выше, и, подобно имъ, подлежащее закономѣрному объясненію. Передъ историческимъ трибуналомъ оно не можетъ фигурировать не только въ роли судьи или адвоката, но даже и въ роли простого свидѣтеля, призваннаго констатировать факты: оно является скорѣе объектомъ разбирательства, и его дѣянія должны быть установлены, взвѣшены и оцѣнены при помощи данныхъ и пріемовъ, независимыхъ отъ его собственныхъ показаній.

Эта точка зрѣнія діаметрально противоположна той, съ которой очень часто трактовалась исторія «народнаго самосознанія». Самый этотъ терминъ слишкомъ долго оставался монополіей создавшаго его міровоззрѣнія, по духу котораго всѣ вопросы національной жизни должны были рѣшаться простой справкой съ тѣмъ, что говоритъ или какъ думаетъ объ этомъ «народное самосознаніе». Содержимое народнаго самосознанія, рѣшавшее, въ послѣдней инстанціи, важнѣйшіе вопросы народной жизни, считалось при этомъ неподлежащимъ анализу: оно было дано искони, отъ вѣка вложено въ сознававшій себя народъ.

Содержаніемъ подобнаго «самосознанія» являлся, по необходимости, сложившійся *въ прошломъ* общественный типъ: и ссылка на «народное самосознаніе» получала смыслъ защиты этого традиціоннаго типа отъ всякихъ покушеній на его измѣненіе. Дѣйствительно, только таковы— т.-е. анахроничны и традиціонны—и могли быть показанія «народнаго сознанія», до тѣхъ поръ пока отсутствовали сколько-нибудь цѣлесообразныя приспособленія для выработки общественной мысли. Въ народномъ сознаніи, по закону контраста, запечатлѣвалось преимущественно то, что составляло *особенность*, отличіе данной національности отъ сосѣднихъ. Возникнувъ изъ столкновенія націй и сложившись, обыкновенно, въ періодъ борьбы за національное объединеніе и независимость, этотъ *націонализмъ* переносился затѣмъ изъ области внѣшней политики въ область внутренней. Однако, дальнѣйшія усовершенствованія въ процессѣ выработки общественной мысли должны были привести,

рано или поздно, къ измѣненію содержанія «народнаго самосознанія». Изъ *«національнаго»* оно должно было сдѣлаться *«общественнымъ»*— въ смыслѣ большаго вниманія къ внутренней политикѣ, лучшаго пониманія требованій современности въ этой области и болѣе активнаго отношенія къ этимъ требованіямъ.

Такимъ образомъ, только что отмѣченные два оттѣнка въ содержаніи «народнаго самосознанія» знаменуютъ собою, въ то же время, два послѣдовательныхъ момента въ развитіи этого самаго содержанія. «Національное» самосознаніе является при этомъ, психологически и хронологически, первымъ моментомъ, а «общественное» самосознаніе—вторымъ. И носителями того и другого являются, обыкновенно, не однѣ и тѣ же общественныя группы. Простая справка съ современнымъ народнымъ самосознаніемъ наиболѣе развитыхъ странъ Европы покажетъ, что хранителями національнаго самосознанія являются группы, программа которыхъ имѣетъ цѣлью сохраненіе остатковъ прошлаго и дальнѣйшее распространеніе національнаго типа, тогда какъ выразителями общественнаго самосознанія становятся другія группы, занятыя преимущественно устройствомъ лучшаго будущаго. Естественно, что при такой дифференціаціи программъ—«національное самосознаніе» представляется съ характеромъ болѣе или менѣе традиціоннымъ, тогда какъ «общественное самосознаніе» имѣетъ характеръ по преимуществу реформаторскій.

Представленіе о національности, какъ о чемъ - то традиціонномъ, какъ о разъ навсегда сложившемся типѣ, естественно повело, при недостаткѣ научныхъ свѣдѣній, къ довольно распространенному мнѣнію, будто бы «національность» по самой своей природѣ есть нѣчто неизмѣнное, отъ самаго начала данное, неразрывно связанное съ плотью и кровью народа, съ его физической организаціей. Такое мнѣніе можно было защищать, однако, лишь до тѣхъ поръ, пока не существовало науки соціологіи и пока наши свѣдѣнія объ исторіи народовъ ограничивались предѣлами исторически-извѣстнаго, т.-е. самаго короткаго періода исторіи жизни человѣчества. Чѣмъ больше наука углубляется въ доисторическую тьму, тѣмъ яснѣе становится, что, въ сущности, современная «національность» есть самый поздній изъ продуктовъ исторической жизни: и то, что говоритъ объ этомъ современная антропологія и доисторическая археологія, сполна подтверждается выводами современныхъ соціологовъ.

Прежде всего, надо считать безвозвратно прошедшимъ то время, когда можно было искать неизмѣнной основы національности въ естественно-историческомъ понятіи «расы». Не говоримъ уже о томъ, что, въ строгомъ смыслѣ, «расъ» вовсе нѣтъ, такъ какъ *чистую* «расу» можно въ настоящее время встрѣтить лишь тамъ, гдѣ есть искусственный подборъ; а на свободѣ, въ природѣ, мы встрѣчаемъ лишь *смѣшанныя* расы, причемъ начало такого смѣшенія расъ приходится воз-

водить къ самымъ первымъ временамъ существованія человѣчества. Но даже если мы возьмемъ вторичные продукты этихъ древнѣйшихъ смѣшеній, т.-е. все еще доисторическія «расы», отличающіяся болѣе или менѣе частымъ преобладаніемъ извѣстныхъ анатомическихъ и физіологическихъ признаковъ и ихъ сочетаній (длиннаго или широкаго черепа, высокаго или низкаго роста, круглой или овальной формы, а также темнаго или свѣтлаго цвѣта волосъ и глазъ), то мы все-таки увидимъ, что многіе изъ этихъ признаковъ (цвѣтъ волосъ и ростъ, въ особенности) не оставались неизмѣнными на протяженіи исторіи и продолжаютъ измѣняться даже на нашихъ глазахъ. Съ другой стороны, главныя изъ такихъ физіологическихъ измѣненій и сочетаній (извѣстнаго роста съ извѣстной формой черепа и цвѣтомъ волосъ) совершились раньше, чѣмъ образовались извѣстныя намъ теперь «національности». Такимъ образомъ, современныя національности объединяютъ въ себѣ людей самаго разнообразнаго физическаго строенія, т.-е. самыхъ чуждыхъ другъ другу расъ. Одна и та же первоначально «раса»—служитъ въ настоящее время физическимъ матеріаломъ для самыхъ разнообразныхъ національностей, не имѣющихъ между собой ничего общаго. Такъ, изъ трехъ главнѣйшихъ расъ, составлявшихъ древнѣйшее населеніе Европы,—сѣверной длинноголовой и высокорослой расы блондиновъ, средней («альпійской») короткоголовой и приземистой расы шатеновъ и южной («средиземной») длинноголовой и низкорослой расы брюнетовъ, двѣ—или даже всѣ три,—расы безразлично входятъ въ составъ англійской, французской, нѣмецкой и итальянской національности. Итакъ, говорить о «расовомъ» различіи національностей въ наше время было бы непозволительнымъ анахронизмомъ, свидѣтельствующимъ только о недостаточномъ знакомствѣ съ современнымъ состояніемъ науки.

Гораздо больше, чѣмъ «кровь», въ созданіи современныхъ національностей должна была участвовать «природа», окружающая обстановка, т.-е. главнымъ образомъ климатъ, затѣмъ почва и другія географическія условія. Безъ сомнѣнія, эти условія играли и играютъ очень большую роль и въ процессѣ *физическаго* преобразованія типа, въ превращеніи, наприм., высокаго роста въ низкій или темнаго цвѣта въ свѣтлый. Но рядомъ съ этимъ физическимъ вліяніемъ географическія условія, несомнѣнно, создаютъ то единство условій жизни, которое ложится въ основу будущаго единства «національнаго» типа въ собственномъ смыслѣ. Какъ бы то ни было, наиболѣе видные и значительные результаты воздѣйствія природы все еще относятся къ области древнѣйшихъ физіологическихъ измѣненій «расы» и лежатъ совершенно внѣ тѣхъ хронологическихъ предѣловъ, къ которымъ мы можемъ отнести происхожденіе современныхъ «національностей». То же самое придется, вѣроятно, сказать и о чисто психическихъ различіяхъ, сложившихся подъ климатическими и др. географическими вліяніями. Въ популярной рѣчи мы постоянно говоримъ о «южномъ» или «сѣверномъ»

темпераментѣ» той или другой національности или различныхъ частей одной и той же національности. Но уже самая эта терминологія показываетъ, что подобныя отличія темпераментовъ мы не ставимъ ни въ какую связь съ національностями: и дѣйствительно, наприм., «южный темпераментъ» есть свойство, которое сближаетъ въ одну группу представителей самыхъ разнообразныхъ національностей Европы: испанцевъ, итальянцевъ, грековъ; жителей южной Германіи, Франціи, Россіи и т. д.

Чему же обязаны «національности» своимъ происхожденіемъ, если «кровь» совсѣмъ не участвовала, а «природа» только отчасти участвовала въ ихъ созданіи? Въ противоположность прежнимъ толкованіямъ, необходимо настойчиво подчеркивать, что «національность» есть понятіе не естественно-историческое и не антропогеографическое — а чисто *соціологическое*.

Современные соціологи спорятъ о томъ, какой основной признакъ отдѣляетъ соціальное явленіе отъ не-соціальнаго. Но среди этихъ споровъ можно, кажется, уловить общій центръ, къ которому тяготѣютъ различныя предложенныя соціологами объясненія того, что слѣдуетъ понимать подъ «соціальнымъ» явленіемъ. Можно считать прежде всего окончательно рѣшеннымъ, что выдѣлять специфически-«соціальныя» явленія отъ явленій сосѣднихъ областей, во всякомъ случаѣ, нужно и необходимо. Ни къ чистой *механикѣ*, ни къ чистой *біологіи* свести объясненія соціальныхъ явленій не удалось; и если неясна еще граница между *психологіей* и соціологіей, то только потому, что чисто индивидуальная психологія оказывается все болѣе и болѣе нераздѣльной отъ соціальной, такъ что, въ концѣ концовъ, рискуетъ окончательно раствориться въ послѣдней. Это не значитъ еще, конечно, чтобы мы готовы были признать существованіе нѣсколько мистической «коллективной души», вмѣстѣ съ ея защитниками. Напротивъ, индивидуальное сознаніе, несомнѣнно, является единственнымъ носителемъ коллективнаго сознанія—и при томъ до такой степени, что мы не знаемъ, что осталось бы въ немъ, если бы исключить изъ него все, принадлежащее этому послѣднему.

Правда, Гиддингсъ, со свойственной ему схематичностью, пробовалъ отдѣлить индивидуальную психологію, какъ «науку объ ассоціаціи идей» отъ соціологіи, какъ «науки объ ассоціаціи умовъ». Но здѣсь, какъ часто бываетъ у этого писателя, различіе могло быть проведено только in abstracto. Гиддингсъ слишкомъ глубокій соціологъ, чтобы не признать, in concreto, что безъ «ассоціаціи умовъ» самая «ассоціація идей» не могла бы развиться и достигнуть той степени, на которой возникаетъ языкъ и становится возможнымъ, при помощи языка, отдѣленіе общихъ понятій отъ представленій и сочетаніе ихъ въ предложенія. Нельзя не принять свѣтлой мысли Гиддингса, что эта ступень психическаго развитія, на которой человѣкъ сдѣлался человѣкомъ, до-

стигнута *уже какъ результатъ* могущественнаго дѣйствія *соціальной группировки.* Другими словами, жизнь человѣка въ обществѣ подобныхъ ему существъ явилась необходимымъ предварительнымъ условіемъ, которымъ только и можно объяснить и появленіе языка, и достиженіе соотвѣтствующей ступени психическаго развитія индивидуума. Но, принявъ эту мысль, мы тѣмъ самымъ пріобрѣтаемъ надежную почву для отысканія коренного признака, отдѣляющаго соціальныя явленія отъ не-соціальныхъ. Соціальная группировка съ одной стороны предполагаетъ, а съ другой—сама создаетъ извѣстныя средства психологическаго взаимодѣйствія. Такимъ образомъ, *психическое взаимодѣйствіе умовъ* со всѣми пріемами и результатами этого взаимодѣйствія является основной чертой, отличающей новую группу явленій, соціальную, отъ всѣхъ другихъ.

Правда, только-что данное опредѣленіе особенности соціальныхъ явленій казалось многимъ соціологамъ еще черезчуръ общимъ, и они искали другого, болѣе частнаго. Такъ, напр., одинъ изъ *пріемовъ* психическаго взаимодѣйствія, именно подражаніе, послужилъ выдающемуся французскому соціологу Тарду основаніемъ для цѣлой соціологической системы. Несомнѣнно, однако, что это только *одинъ* изъ пріемовъ, и что самая характеристика его, какъ односторонняго «подражанія», предпологаетъ слишкомъ рѣзкое различіе между тѣмъ, кто подражаетъ, и тѣмъ, кому подражаютъ. Психическое взаимодѣйствіе опредѣлено здѣсь слишкомъ узко; и понятно, что на такомъ односторонне-формулированномъ принципѣ могла быть построена лишь односторонняя же теорія. Съ другой стороны, одинъ изъ *результатовъ* психическаго взаимодѣйствія, «сознаніе принадлежности къ одному и тому же роду», былъ выдвинутъ, какъ коренной признакъ общественной ассоціаціи, Гиддингсомъ. Односторонность такой формулировки, какъ исключительно субъективной, оставляющей въ сторонѣ объективную сторону, — такъ сказать, движущую пружину явленія,—была уже указана Гиддингсу Тардомъ. Нѣмецкій ученый Штаммлеръ хотѣлъ обратить преимущественное внимание изслѣдователей на *цѣль* всякаго соціальнаго взаимодѣйствія, и призналъ *единственной* такою цѣлью—стремленіе къ установленію извѣстныхъ правовыхъ нормъ взаимныхъ отношеній. Но и это опредѣленіе коренного признака соціальныхъ явленій кладетъ въ основу лишь одну изъ многихъ разновидностей психическаго взаимодѣйствія и, слѣдовательно, не исчерпываетъ его вполнѣ; это уже и замѣтилъ Штаммлеру одинъ изъ его нѣмецкихъ рецензентовъ. Какъ бы то ни было, всѣ названные соціологи сходятся въ одномъ: идея психическаго взаимодѣйствія лежитъ въ основѣ всѣхъ ихъ опредѣленій. И даже Гумпловичъ, проводящій рѣзкую границу между психическими и соціальными явленіями, и считающій возможнымъ въ основу *соціологическаго* объясненія положить только соціологическій же фактъ (принявъ за элементарную единицу соціальнаго явленія не индивидуума,

а извѣстную соціальную группу),—даже Гумпловичъ вынужденъ былъ отдѣлить явленія психическаго взаимодѣйствія (языкъ, религію, право, обычаи и т. д.), въ особую группу—явленій «соціально-психическихъ». При большей широтѣ взгляда онъ долженъ былъ бы отнести сюда и тѣ явленія (соціальная группа, государство), которыя онъ отводитъ въ особую рубрику—явленій чисто «соціальныхъ».

Легко замѣтить, что ни одна изъ перечисленныхъ формулировокъ не исключаетъ другой—и не исключаетъ также возможности новыхъ формулировокъ подобнаго же рода, т. е. основанныхъ на одномъ и томъ же коренномъ признакѣ—психическаго взаимодѣйствія. Уже изъ одного этого можно было бы заключить, что всѣ эти формулировки грѣшатъ не столько ошибочностью, сколько неполнотой и односторонностью.

Для нашей цѣли, т.-е. для выясненія понятія національности, какъ чисто соціальнаго, достаточно остановиться на общемъ, включающемъ всѣ другія, опредѣленіи соціальныхъ явленій, какъ явленій психическаго взаимодѣйствія. Національность есть соціальная группа, располагающая такимъ единственнымъ и необходимымъ средствомъ для непрерывнаго психическаго взаимодѣйствія, какъ языкъ, и выработавшая себѣ постоянный запасъ однообразныхъ психическихъ навыковъ, регулирующихъ правильность и повторяемость явленій этого взаимодѣйствія.

Изъ этого опредѣленія сама собой вытекаетъ важность языка для національности. Можно даже сказать, что языкъ и національность—это понятія если не тожественныя, то вполнѣ покрывающія одно другое. Предѣлы одного — тожественны съ предѣлами другого. Даже продолжительное раздѣленіе одноязычной группы между различными политическими организаціями не можетъ уничтожить въ ея членахъ «сознанія рода», пока уцѣлѣлъ языкъ; точно также и разноязычныя соціальныя группы не могутъ даже при продолжительномъ сожительствѣ внутри одной политической группы слиться въ одну національность, пока не слились ихъ языки. «Тотъ, кто говоритъ на двухъ языкахъ, есть измѣнникъ»,—это политическое правило первобытныхъ племенъ какъ нельзя лучше подчеркиваетъ важность, которую инстинктивно придавала единству языка государственная мудрость того времени. А борьба за государственный языкъ, какъ за самое могущественное средство слиянія съ господствующей національностью, и отчаянное противодѣйствіе, которое оказываютъ этому національныя меньшинства въ разныхъ странахъ Европы, напоминаютъ намъ, что и до нашего времени тѣснѣйшая связь языка и національности признается основной аксіомой не въ однихъ только соціологическихъ трактатахъ. И самая напряженность, которой достигаетъ борьба за языкъ въ наше время (напр. въ Турціи или Австріи), доказываетъ, что обѣ борющіяся стороны считаютъ результатъ борьбы нерѣшеннымъ и вполнѣ зависящимъ отъ ихъ сознательныхъ усилій. На самомъ дѣлѣ, языкъ, этотъ коренной признакъ національности, оказывается далеко не прочнымъ ея достояніемъ. Два

или три поколѣнія, при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ быть достаточны, чтобы превратить одну «національность» въ другую. Такъ, по наблюденіямъ знатоковъ американской жизни, переселенцы въ Соединенные Штаты, за исключеніемъ принадлежащихъ къ самымъ некультурнымъ національностямъ, уже въ третьемъ поколѣніи теряютъ языкъ—и вмѣстѣ съ нимъ весь свой національный типъ—и растворяются безслѣдно въ однородной массѣ американскихъ гражданъ. На нашихъ глазахъ, въ Европѣ, тоже цѣлыя области, напр., Македонія, подвергаются этому «соціологическому» эксперименту. Пишущій эти строки могъ лично наблюдать, какъ въ турецкихъ областяхъ армяне, греки и славяне превращались въ турокъ (въ Малой Азіи), болгары въ «грековъ» и обратно въ болгаръ, тоже и албанцы; при благопріятныхъ условіяхъ, напр. для сербской пропаганды въ Македоніи, нѣтъ ничего мудренаго, что часть македонцевъ превратится въ «сербовъ» прежде, чѣмъ слависты успѣютъ доказать, что ихъ старый языкъ былъ «болгарскимъ». На нашихъ глазахъ такое превращеніе «болгаръ» въ «сербовъ» было достигнуто въ какія-нибудь двадцать лѣтъ въ отторгнутыхъ отъ болгарскаго племени пограничныхъ областяхъ. И всѣ эти быстрыя перемѣны достигались съ помощью самаго простого средства: забвенія своего стараго языка и употребленія новаго. Итакъ, языкъ,—этотъ основной и наиболѣе существенный признакъ національности, носитель всѣхъ связанныхъ съ ея понятіемъ ассоціацій,—оказывается явленіемъ въ высшей степени хрупкимъ и преходящимъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что населеніе Европы, съ древнѣйшихъ временъ пережившее множество завоеваній и смѣшеній, могло много разъ перемѣнить свой языкъ, оставаясь въ то же время антропологически тѣмъ, чѣмъ было и прежде: это наблюденіе окончательно разъясняетъ, почему нельзя искать никакого соотвѣтствія между языкомъ (а слѣдовательно и національностью) и «расой».

То, что сказано о языкѣ, тѣмъ болѣе вѣрно по отношенію къ другимъ явленіямъ, представляющимъ изъ себя не орудіе и не средство психическаго взаимодѣйствія, а его результаты. Въ національномъ самосознаніи, напр., религія является часто столь же существенной и представляется столь же коренной и исконной чертой національности, какъ и языкъ. Въ данномъ случаѣ, однако, опять голосъ самосознанія можетъ ввести изслѣдователя въ заблужденіе. Лица, жившія нѣкоторое время на Балканскомъ полуостровѣ, могутъ засвидѣтельствовать, напр., какое огромное значеніе имѣетъ религія въ христіанскихъ областяхъ, остающихся подъ турецкой властью, и какъ равнодушно относится къ той же религіи населеніе областей, только что добившихся національной независимости. Явленіе это, повторявшееся не разъ и въ прошломъ, можетъ свидѣтельствовать объ одномъ: религія въ подобныхъ случаяхъ, очевидно, цѣнилась не по внутреннему своему значенію, а какъ символъ соціальной обособленности исповѣдующаго ее населенія.

Соціальная, т.-е. символическая, роль религіи въ этихъ случаяхъ можетъ быть огромна, и въ то же время вѣроисповѣдное ея значеніе сводиться къ нулю.

Итакъ, все существенное содержаніе «національнаго самосознанія» при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи оказывается вовсе не заимствованнымъ изъ реальныхъ свойствъ національности. Эти реальныя свойства, анатомическія, физіологическія и т. д., остаются нетронутыми и, въ предѣлахъ одной и той же національности, очень различными. Національное самосознаніе выводитъ свою постройку *надъ* этимъ фундаментомъ, не обращая никакого вниманія на его распланировку, и весь свой матеріалъ беретъ *изъ самого себя*. То же самое психическое взаимодѣйствіе, которое составляетъ необходимое условіе національнаго сознанія, въ концѣ концовъ служитъ могущественнымъ орудіемъ для распространенія выработаннаго этимъ сознаніемъ, обыкновенно, въ рѣзкихъ, лапидарныхъ чертахъ, понятія о самомъ себѣ, т.-е. объ отличіяхъ національнаго типа. Естественно ожидать, что этими отличіями окажутся именно тѣ, которыя запечатлѣются, какъ такія, въ національномъ сознаніи. А такъ какъ процессъ работы національнаго сознанія вездѣ одинъ и тотъ же, то и вырабатываемый имъ продуктъ, понятіе о собственномъ національномъ типѣ, въ главныхъ чертахъ повсюду болѣе или менѣе одинаковъ. Помимо частныхъ чертъ, подсказываемыхъ мѣстными условіями или добавляемыхъ дальнѣйшимъ соціальнымъ развитіемъ, это понятіе о самихъ себѣ вездѣ отражаетъ на себѣ характеръ создающей его эпохи.

Въ самомъ дѣлѣ, очень важно отмѣтить, что и эпоха, когда соціальное самосознаніе дѣлаетъ предметомъ наблюденія собственныя національныя черты, приблизительно одинакова у самыхъ различныхъ соціальныхъ группъ. Сознаніе объ особенностяхъ своего типа не бываетъ отчетливымъ въ періодъ племенной жизни, отчасти, можетъ быть, потому, что соціальныя группы въ этотъ періодъ слишкомъ дробны и слишкомъ однородны, такъ какъ вращаются среди себѣ подобныхъ группъ того же языка. «Сознаніе рода», конечно, уже существуетъ и въ эту эпоху: оно имѣется налицо даже и въ животныхъ обществахъ. Но объективное выраженіе этого сознанія не идетъ въ эпоху племенной жизни дальше легендъ объ единомъ родоначальникѣ племени или о братьяхъ-родоначальникахъ племенъ, сознающихъ свою національную близость. Въ болѣе сложныхъ формахъ національное самосознаніе развивается въ эпоху территоріальнаго объединенія націй, и особенно въ тотъ моментъ, когда процессъ этого объединенія самъ собой приводитъ данную національную группу въ столкновеніе съ другими, несходными съ нею. Языкъ, иногда и физическій типъ являются въ такомъ случаѣ основными причинами сознанія несходства; но не всегда національное самосознаніе привязываетъ само свое инстинктивное чувство контраста именно къ этимъ двумъ, наибо-

лѣе коренным признакамъ отличія. Наиболѣе легкій и элементарный пріемъ соціальнаго мышленія состоитъ въ томъ, что сознаніе несходства прикрѣпляется къ какому-нибудь болѣе наглядному, но и болѣе внѣшнему признаку. Племенная религія, расширяющаяся въ національную по мѣрѣ территоріальнаго роста, обыкновенно становится первымъ такимъ признакомъ, на который опирается зарождающееся сознаніе племеннаго несходства; къ этому признаку, по мѣрѣ дальнѣйшаго развитія соціальнаго самосознанія, пріурочиваются и другіе. Общественный и политическій строй данной группы, ея нравственный обликъ, наконецъ, даже ея территорія, все это становится подъ защиту религіи въ ея мѣстной, національной формѣ: все это объявляется святымъ» *). И самая эта религіозная окраска національныхъ отличій, ихъ интеграція въ національномъ сознаніи подъ покровомъ религіи, даетъ установляемому такимъ образомъ національному типу огромную силу распространенія: здѣсь вступаетъ въ свою роль безсознательное подражаніе, ассимилирующее выработанному типу вновь присоединяемыя областныя группы. Національное самосознаніе само является, такимъ образомъ, факторомъ, реализирующимъ свою идею.

Дальнѣйшая эволюція народнаго сознанія, подобно экономической, политической, религіозной и т. д. эволюціямъ, находится въ зависимости отъ историческихъ условій, среди которыхъ протекаетъ жизнь той или другой націи. Въ самомъ началѣ «Очерковъ» мы признали возможность остановки всѣхъ этихъ эволюцій на одной изъ раннихъ ступеней,—въ случаѣ, напримѣръ, остановки роста населенія. Подобную же остановку вполнѣ возможно предположить и въ процессѣ развитія общественнаго самосознанія. Все, что задерживаетъ процессъ образованія національности и протягиваетъ періодъ войнъ, неразлучныхъ съ такимъ процессомъ; все, что препятствуетъ процессу внутренняго расчлененія данной національности на группы, классы, сословія; наконецъ, все, что мѣшаетъ быстрому психическому обмѣну и, слѣдовательно, взаимодѣйствію и борьбѣ разныхъ общественныхъ взглядовъ и типовъ мысли, вызванныхъ этимъ внутреннимъ расчлененіемъ,—все это можетъ пріостановить развитіе соціальнаго сознанія на той ступени, которой оно достигаетъ въ періодъ національнаго объединенія и на которой закрѣпляется неподвижной религіозной санкціей. Но мы повсюду въ «Очеркахъ» имѣли въ виду не этотъ, возможный.

*) Одинъ изъ моихъ критиковъ утверждалъ, что все это абстрактное изображеніе происхожденія и роста національнаго самосознанія скопировано мною съ совершенно конкретной исторіи Московскаго государства. Меня очень порадовало это обвиненіе, какъ наглядное доказательство полнаго соотвѣтствія между историческими фактами и соціологическимъ объясненіемъ. Но могу увѣрить моего критика, что если бы онъ потрудился заглянуть хотя бы въ тѣ сочиненія по соціологіи, которыя цитированы мной ниже (стр.), то онъ нашелъ бы тамъ матеріалы для гораздо болѣе основательнаго обвиненія,—именно въ томъ, что все описаніе взято изъ Беджгота и Гиддингса.

конечно, случай остановки эволюціоннаго процесса, а тотъ нормальный случай, когда историческія обстоятельства благопріятствуютъ полному осуществленію эволюціонирующей общественной тенденціи. Для болѣе полной эволюціи общественнаго самосознанія необходимы слѣдующія условія. Во-первыхъ, ослабленіе военной дѣятельности націи; во-вторыхъ, извѣстная степень разнообразія интересовъ внутри націи, при достаточной густотѣ населенія, дѣлающей возможнымъ болѣе или менѣе быстрый психологическій обмѣнъ между личностями и группами. Сюда присоединяется, въ-третьихъ, условіе, не необходимое логически, но обыкновенно сопровождающее два первыя: именно, извѣстная степень мирнаго психологическаго взаимодѣйствія между данной группой и чуждыми ей сосѣдними національностями. Ближайшее знакомство съ чужимъ національнымъ типомъ бываетъ на практикѣ первымъ толчкомъ, вызывающимъ перемѣны въ сложившейся формѣ національнаго сознанія. Эпоха самовозвеличенія смѣняется эпохой самокритики. Вниманіе части общества, наиболѣе заинтересованной въ перемѣнахъ, обращается отъ внѣшней національной борьбы къ внутреннему общественному строю. Такъ какъ внѣшняя борьба, обыкновенно, далеко еще не успѣваетъ закончиться къ тому времени, когда начинается только-что описанная смѣна состояній общественнаго сознанія, и такъ какъ другія соціальныя условія тоже бываютъ вначалѣ мало благопріятны для распространенія новаго *критическаго* воззрѣнія, то его появленіе вызываетъ неминуемо отпоръ и ведетъ къ борьбѣ, болѣе или менѣе продолжительной, болѣе или менѣе успѣшной для разныхъ сторонъ, смотря потому, насколько быстро совершается, параллельно этой борьбѣ, эволюція вліяющихъ на ея исходъ общественныхъ условій. Въ благопріятномъ случаѣ, неизбѣжнымъ исходомъ борьбы бываетъ болѣе или менѣе полная перестройка традиціонной системы общественныхъ отношеній и замѣна ея системой, основанной на сознательномъ выборѣ большинства. Національная «традиція» стушевывается передъ торжествующимъ «общественнымъ мнѣніемъ».

Но чтобы осуществился такой благопріятный исходъ, необходима уже очень значительная степень быстроты и правильности психическаго взаимодѣйствія между членами даннаго общества. Языкъ, самъ по себѣ, какъ средство непосредственной устной передачи, оказывается при этомъ недостаточно надежнымъ орудіемъ и требуетъ дополнительныхъ приспособленій и усовершенствованій. Первымъ изъ нихъ являются правильныя періодическія собранія для устнаго обсужденія политическихъ вопросовъ. Такія собранія возникаютъ при всякомъ сколько-нибудь значительномъ скопленіи людей въ одномъ мѣстѣ, т.-е. по преимуществу въ городахъ, на центральномъ городскомъ рынкѣ. Намъ нѣтъ надобности напоминать, какъ развилась эта архаическая форма древняго политическаго быта въ современныхъ государствахъ. При всемъ ея развитіи, однако же, при всей растяжимости въ количественномъ

отношеніи и при всей гибкости относительно содержанія обсуждаемыхъ резолюцій, эта форма имѣетъ свои границы, за предѣлами которыхъ она не можетъ служить цѣлямъ соціально-психическаго взаимодѣйствія. Она не можетъ обезпечить ни достаточно спокойнаго, ни достаточно непрерывнаго, ни достаточно общедоступнаго обсужденія общественныхъ вопросовъ. Болѣе удобнымъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ орудіемъ психологическаго взаимодѣйствія является письменная передача мысли,—средство очень древнее въ своемъ происхожденіи и, тѣмъ не менѣе, очень юное въ томъ употребленіи, которое сдѣлала изъ него растущая соціальная потребность быстрой и точной передачи мысли большому количеству людей. Дѣйствительно, пресса есть одно изъ самыхъ недавнихъ соціальныхъ изобрѣтеній. Если городская площадь послужила средствомъ для развитія критическаго воззрѣнія въ маленькихъ государствахъ древности и среднихъ вѣковъ, то развитіе прессы является средствомъ, по преимуществу характеризующимъ государства нашего времени. Для созданія «общественнаго мнѣнія» новаго времени пресса есть столь же необходимое средство, какъ языкъ для національнаго самосознанія всѣхъ временъ. Разумѣется, внутри этого періода возможно дальнѣйшее совершенствованіе въ очень широкихъ размѣрахъ. Цѣлая пропасть отдѣляетъ политическіе памфлеты временъ реформаціи и возрожденія, съ ихъ несовершенными способами распространенія, отъ ежедневныхъ парижскихъ газетъ, сенсаціонные заголовки которыхъ въ оживленные моменты общественной жизни черезъ каждыя четверть часа дѣлаютъ общественнымъ достояніемъ какую-нибудь очередную новость. Австрійское правительство, очевидно, очень хорошо поняло соціальную роль парижскихъ camelots, запретивши разносную продажу газетъ подъ предлогомъ шума, производимаго на улицахъ окриками мальчишекъ.

Общія черты только-что описаннаго соціальнаго процесса настолько глубоко коренятся въ самомъ существѣ соціальныхъ явленій, какъ таковыхъ,—что мы должны ожидать встрѣтить ихъ во *всякомъ* развивающемся обществѣ, а слѣдовательно и въ русскомъ. Для читателей, знакомыхъ съ первыми двумя томами «Очерковъ», не будетъ неожиданнымъ тотъ двоякій выводъ, къ которому мы придемъ въ результатѣ предстоящаго намъ обзора развитія русскаго общественнаго самосознанія. Мы найдемъ, во-первыхъ, что *качественно*, по существу, ходъ этого развитія ничѣмъ не отличается отъ подобнаго же процесса въ любой странѣ, гдѣ онъ вообще имѣлъ возможность развиться. Во-вторыхъ, мы увидимъ, что въ той формѣ, въ какой процессъ этотъ развивался въ Россіи, онъ представляетъ *количественныя* различія и особенности, вполнѣ совпадающія съ тѣми, которыя намъ пришлось отмѣтить въ предыдущихъ частяхъ «Очерковъ» относительно другихъ процессовъ. Въ зависимости отъ этихъ двухъ выводовъ долженъ стоять и возможный для изслѣдователя соціологическій прогнозъ.

Планъ изложенія настоящей третьей части «Очерковъ» непосредственно вытекаетъ изъ замѣчаній, только что сдѣланныхъ нами. Мы различили два момента развитія общественнаго самосознанія. Въ эпоху созидательной государственной работы или, какъ иногда называютъ ее,—въ *органическій періодъ* нашей исторіи — общественное самосознаніе развивалось въ формѣ контраста русской національности съ окружающими ее народностями. Это была, другими словами, эпоха созданія и усвоенія народнымъ самосознаніемъ *націоналистическихъ идеаловъ*. Критическій элементъ проникъ, правда, уже тогда въ русскую общественную среду, какъ результатъ того же столкновенія съ чуждыми національностями. Но почва для развитія общественной самокритики была черезчуръ неблагопріятна, и критика не пошла дальше самыхъ скромныхъ начатковъ. Это положеніе дѣла совершенно измѣнилось въ новѣйшій періодъ нашей исторіи. Общественное самосознаніе въ этотъ періодъ все болѣе обращалось отъ завоевательныхъ плановъ внѣшней политики къ проектамъ внутренняго общественнаго переустройства. Старые національные идеалы уступили мѣсто въ общественномъ мнѣніи новымъ, которые подверглись упреку въ «космополитизмѣ» со стороны «патріотовъ» добраго стараго времени. Число послѣднихъ стало быстро уменьшаться. Таковъ характеръ общественнаго самосознанія въ періодъ, который мы условимся называть *критическимъ*. Между тѣмъ и другимъ періодомъ лежитъ промежуточный, характеризуемый смѣсью признаковъ того и другого. Завоевательная программа предыдущей эпохи въ немъ находитъ свое завершеніе, и параллельно ея завершенію намѣчается содержаніе новой программы внутренней политики. Промежуточный періодъ этотъ довольно точно укладывается въ хронологическія рамки XVIII столѣтія, такъ характерно начинающагося реформами Петра и столь же характерно кончающагося завоеваніями Екатерины.

Такимъ образомъ, исторія русскаго общественнаго самосознанія можетъ быть раздѣлена, для удобства изложенія, на три отдѣла: 1) развитіе націоналистическихъ идеаловъ органической (національно завоевательной) эпохи и начало ихъ критики. 2) Послѣднія побѣды націонализма и первые успѣхи общественной критики. 3) Развитіе общественнаго мнѣнія критической эпохи. Черезъ всѣ три періода проходитъ, какъ видимъ, красной нитью—постепенное наростаніе критическаго воззрѣнія и соотвѣтственное ослабленіе воззрѣнія націоналистическаго *).

*) Другой мой критикъ утверждалъ, что націоналистическое воззрѣніе, напротивъ, усиливалось, а не ослабѣвало, въ новѣйшее время. Въ доказательство онъ приводилъ развитіе идеи національности въ XIX вѣкѣ и освобожденіе крестьянъ въ Россіи, которое онъ толковалъ, какъ торжество «національной политики». Наивное или намѣренное смѣшеніе терминовъ «національный» (т. е. относящійся къ націи) и «народный» (т. е. демократическій) далеко не ново и играетъ важную роль въ воззрѣніяхъ русскихъ націоналистовъ: еще въ 70-хъ годахъ, противъ этого смѣ-

Первоначальной мыслью нашей было—разсмотрѣть оба эти процесса отдѣльно одинъ отъ другого. Такой порядокъ далъ бы, можетъ быть, больше рельефности въ изображеніи, но вызвалъ бы повторенія и оторвалъ бы явленія отъ ихъ естественной связи. Чтобы избѣжать этихъ неудобствъ, мы рѣшились разсмотрѣть оба параллельные процесса въ рамкахъ трехъ указанныхъ хронологическихъ періодовъ. Какъ всякое дѣленіе на періоды одного неразрывнаго процесса, и это дѣленіе имѣетъ свои неудобства и влечетъ за собой свои неточности. Но намъ кажется, что оно лучше другихъ, намъ извѣстныхъ, соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ моментамъ развитія русскаго общественнаго самосознанія.

Вопросъ объ отношеніи національности и расы все чаще обсуждается въ указанномъ нами смыслѣ въ различныхъ соціологическихъ трактатахъ. Новѣйшее систематическое изложеніе его см. въ интересной книгѣ сѣверо-американскаго профессора *William Z. Ripley*, The Races of Europe, a sociological study (Lowell Institute Lectures). New-York, D. Appleton and Company, 1899, pag. XXXII+624. Замѣчанія объ отношеніи національности къ климату см. тамъ же, а также въ Anthropogeographie Fr. Ratzel'я, Stuttgart 1882—1891 (2 тома). Сопоставленныя нами мнѣнія соціологовъ о характерѣ соціальныхъ явленій см. въ сочиненіяхъ *Габр. Тарда*, Законы подражанія, Спб. 1892. *Гиддингса*, Основанія соціологіи. Спб. 1898. *Штаммлера*, Хозяйство и право, Спб. *Гумпловича*, Основы соціологіи, Спб. 1899. Замѣчанія Тарда на Гиддингса перепечатаны въ его Etudes de psychologie sociale, Paris, 1898 (Bibliothéque sociologique internationale, publiée sous la direction de M. René Worms, XIV). Мнѣніе, что реальнымъ носителемъ общественнаго сознанія является индивидуумъ, высказано Тардомъ; противоположное мнѣніе объ объективномъ существованіи общественной традиціи старался доказать *Дюркгеймъ* («Правила соціологическаго метода»; см. возраженія Гиддингса въ цитиров. соч.). Соціологическое ученіе объ эволюціи общественнаго сознанія, съ различеніемъ въ этой эволюціи эпохи «Образованія національности» и «Эпохи критики», особенно обстоятельно развито, по слѣдамъ Конта и Спенсера, *Беджготомъ* въ его незаслуженно забытомъ сочиненіи: Естествознаніе и политика, Спб. 1874 (Международная научная библіотека, № 1, изданіе журнала «Знаніе»). Отсюда оно перешло и къ Гиддингсу, сочиненіе котораго я особенно рекомендую читателю, въ виду широты его взгляда и умѣнья связать въ одно стройное цѣлое крупицы истинъ, разсыпанныя въ разныхъ соціологическихъ теоріяхъ. Кромѣ цитированнаго выше сочиненія, взгляды Гиддингса на коллективно-психологическія явленія и особенно на разныя формы и продукты психологическаго взаимодѣйствія, подробнѣе развиты въ его позднѣйшихъ работахъ: The Elements of sociology, 1898 и Inductive Sociology, 1901.

шенія полемизировалъ Н. К. Михайловскій. Что касается романтической идеи національности и ея роли въ европейской политикѣ XIX в., я могъ бы, въ ожиданіи пока «Очерки» будутъ доведены до этого момента, отослать критика къ болѣе проницательному мнѣнію его единомышленника К. Леонтьева, основательно подчеркнувшаго «критическую» сторону идеи національности. (См. его брошюру: Національная политика, какъ орудіе всемірной революціи М. 1889). О смыслѣ терминовъ «національный» и «націоналистическій» въ моемъ употребленіи см. Очерки, III, 2, 422. Я продолжаю, вопреки совѣту одного критика, противополагать «націоналистическое» воззрѣніе «критическому», а не «національному»: «національны» они оба.

I. Націоналистическіе идеалы органической эпохи и первыя попытки ихъ критики (XV—XVII вѣка).

Начала русскаго самосознанія по понятіямъ защитниковъ вѣчеваго быта и московскихъ порядковъ.—Вопросъ объ отношеніи вѣчеваго быта къ московскимъ порядкамъ.—Разница формъ національнаго самосознанія той и другой эпохи.—Вопросъ объ участіи общественнаго сознанія въ выработкѣ московскихъ порядковъ.—Степень активности «передаточной роли» психическихъ элементовъ процесса.—Въ какомъ смыслѣ можно говорить о «цѣлесообразности» возникновенія Московскаго государства.—Допускаемъ ли мы техническую, органическую или психологическую цѣлесообразность?—Предполагаетъ ли послѣдняя «общественный договоръ»?—Какъ понимаемъ мы роль *индивидуальныхъ* условій, способствовавшихъ возникновенію Московскаго государства?—Принадлежитъ ли къ ихъ числу внѣшняя опасность, или только тотъ моментъ, когда она начала ощущаться?—Роль «чисто субъективныхъ интересовъ и стремленій» въ процессѣ образованія Московскаго государства.—Выводъ: исторію русскаго національнаго самосознанія слѣдуетъ начинать съ конца XV в.

Съ какого хронологическаго момента слѣдуетъ начинать исторію русскаго общественнаго самосознанія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ различный, смотря по тому, какого общаго міровоззрѣнія придерживается тотъ или другой историкъ. Мы считаемъ общественное самосознаніе въ его прошломъ—продуктомъ исторіи, т.-е. продуктомъ извѣстныхъ стихійныхъ историческихъ процессовъ. При такомъ пониманіи—содержимое общественнаго сознанія вполнѣ опредѣляется содержимымъ этихъ процессовъ, мѣняется вмѣстѣ съ ними, останавливается или идетъ впередъ, прерывается или развивается непрерывно смотря по ходу развитія самыхъ этихъ процессовъ. Не такъ давно еще господствовало совершенно противоположное воззрѣніе, по которому сама исторія являлась продуктомъ общественнаго сознанія. Съ этой точки зрѣнія надо было, наоборотъ, содержимое историческихъ процессовъ выводить изъ общественнаго сознанія и съ него, слѣдовательно, начинать исторію. Въ приложеніи къ русской исторіи этотъ взглядъ былъ развитъ въ цѣлую систему. Русское общественное сознаніе, признанное первымъ двигателемъ историческаго процесса, явилось въ роли фактора, вложившаго или пытавшагося вложить въ исторію опредѣленное содержаніе. Разумѣется, содержаніе это соотвѣтствовало общественнымъ идеаламъ историковъ—систематиковъ. Первымъ продуктомъ идеализированнаго

такимъ образомъ общественнаго сознанія представлялся вѣчевой порядокъ домонгольской Руси. Дальнѣйшій ходъ русской исторіи являлся, съ этой точки зрѣнія, отклоненіемъ отъ прежняго нормальнаго хода. Вина за такое отклоненіе падала на созидателей новаго порядка, московскихъ князей-собирателей, и на ихъ варварскіе политическіе пріемы, объяснявшіеся вліяніемъ чуждаго русской національности духа Византіи и Золотой Орды. Но въ концѣ концовъ русскій народный духъ удѣльно-вѣчеваго періода долженъ былъ восторжествовать надъ иноземными вліяніями періода московскаго. «Живучесть» вѣчевыхъ началъ, свойственныхъ народному самосознанію удѣльной Руси, доказывалась и новгородскими порядками, и московскими земскими соборами.

Это историческое построеніе давно уже вызвало возраженія. Но прежніе противники его стояли на одинаковой теоретической почвѣ съ его защитниками. Они тоже вѣрили, что народное самосознаніе творитъ исторію и тоже влагали въ это самосознаніе свой собственный идеалъ. Только этотъ идеалъ былъ взятъ изъ Москвы и Византіи и прямо противоположенъ «вѣчевому» идеалу. Естественно, что тамъ, гдѣ сторонники вѣчевого уклада видѣли норму, ихъ оппоненты видѣли отклоненіе, и наоборотъ. Московскіе порядки были ихъ идеаломъ и, слѣдовательно, должны были быть идеаломъ народнаго самосознанія. Въ наиболѣе чистомъ видѣ это самосознаніе должно было проявляться, слѣдовательно, не въ удѣльно-вѣчевой Руси, а въ Московскомъ государствѣ.

Понятно, что на такой почвѣ полемика между сторонниками обоихъ взглядовъ постоянно имѣла въ виду одну и ту же заднюю мысль: защиту соотвѣтственнаго общественнаго идеала. Установить преемство этого идеала съ порядками кіевской или, наоборотъ, съ порядками московской Руси было, въ самомъ дѣлѣ, важно при господствѣ тогдашнихъ историческихъ взглядовъ. Это значило—дать своему идеалу нѣкоторую историческую санкцію.

Такъ поставленъ былъ споръ, пока общественный идеалъ выводился изъ абсолютнаго и неизмѣннаго народнаго самосознанія, проявленія котораго искали въ исторіи. Но современный изслѣдователь не можетъ больше вѣрить въ эту абсолютность и неизмѣнность. Общественное самосознаніе для него есть нѣчто измѣняющееся соотвѣтственно измѣненіямъ общественнаго порядка. Поскольку закономѣрны эти послѣднія измѣненія, постольку мы можемъ искать закономѣрности и въ развитіи общественнаго самосознанія. Но напередъ мы можемъ утверждать одно—именно, самый фактъ измѣнчивости или развитія, и отрицать одно—именно то, что какая бы то ни было изъ стадій этого развитія можетъ считаться «нормой» для всѣхъ другихъ стадій.

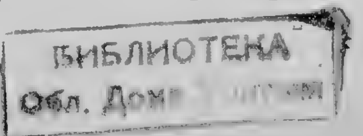
Мы не вѣримъ болѣе ни въ какія историческія санкціи и ищемъ оправданія того или другого современнаго общественнаго идеала исключительно въ его соотвѣтствіи потребностямъ настоящаго и будущаго. Его тожество съ идеалами прошлаго можетъ скорѣе всего свидѣтель-

ствовать о несоотвѣтствіи его современнымъ потребностямъ и, стало быть, указывать на его отвлеченность, нежизненность.

Намъ могутъ замѣтить, что все это—слишкомъ азбучныя истины и что съ устарѣлымъ историческимъ міровоззрѣніемъ, о которомъ только что шла рѣчь, уже нѣтъ надобности сражаться въ наше время. Дѣйствительно, едва ли найдутся теперь защитники этого міровоззрѣнія въ его старой, цѣльной формѣ. Но привычки мысли сильны: онѣ часто переживаютъ создавшее ихъ міровоззрѣніе; и въ данномъ случаѣ, намъ пришлось выслушать отдаленные отголоски критикуемаго міровоззрѣнія по поводу самыхъ «Очерковъ». Насъ упрекали, въ очень осторожной и сдержанной формѣ, въ сущности, въ томъ, что мы слишкомъ игнорируемъ «традиціи» удѣльно-вѣчевого періода и преувеличиваемъ фатальную неизбѣжность порядковъ московскаго государства. Теперь, когда намъ приходится рѣшать вопросъ, откуда начинать исторію общественнаго русскаго самосознанія, съ Кіева или съ Москвы, — будетъ своевременно отвѣтить на оба эти, чрезвычайно характерныя, возраженія.

Намъ говорятъ, во-первыхъ, слѣдующее: «Москва, въ смыслѣ совокупности извѣстныхъ государственныхъ учрежденій, сложилась не на пустомъ мѣстѣ. Государственный порядокъ, предшествовавшій ея появленію, вовсе не ограничивался, въ сущности, предѣлами южно-русскихъ земель, но распространялся и на сѣверо-востокъ, и *борьба съ этимъ порядкомъ Москвы, возникшей на его развалинахъ, оставила слишкомъ глубокіе слѣды въ дальнѣйшемъ ходѣ исторіи, чтобы можно было совсѣмъ обойти ее. Удѣльный періодъ... съ его вѣчевыми собраніями и вольными слугами князей передалъ московской эпохѣ и нѣкоторыя традиціи, и нѣкоторыя учрежденія, причемъ кое-какія изъ нихъ оказались довольно живучими*».

Этотъ рядъ положеній, къ сожалѣнію, слишкомъ бѣгло намѣченныхъ и оставленныхъ безъ дальнѣйшаго развитія нашимъ оппонентомъ, дѣйствительно, мало гармонируетъ съ нашими собственными представленіями о ходѣ исторіи на русскомъ сѣверо-востокѣ. Начинать съ пустого мѣста—наше общее міровоззрѣніе, конечно, еще менѣе позволяетъ, чѣмъ какое бы то ни было другое. Но начинать съ отожествленія порядковъ, господствовавшихъ на сѣверо-востокѣ въ домосковскій періодъ, съ порядками южной Руси, мы бы не рѣшились: такое начало, какъ сейчасъ увидимъ, скорѣе всего и привело бы къ построенію московской исторіи на «пустомъ мѣстѣ». Различіе всего соціальнаго строя сѣверо-востока и юга Россіи, намъ казалось, достаточно ярко указано нашими предшественниками; вотъ почему мы и сочли возможнымъ ограничиться простой ссылкой на то, что на сѣверо-востокѣ «были совсѣмъ другія условія историческаго развитія», чѣмъ на югѣ. Исходя изъ этихъ спеціально свойственныхъ сѣверо-востоку условій общественной жизни, мы не видимъ въ нихъ и такого противорѣчія съ



позднѣйшими московскими порядками, какъ это склоненъ представлять себѣ нашъ оппонентъ. Для него эти порядки возникаютъ, какъ прямое отрицаніе старыхъ, какъ продуктъ «борьбы», на ихъ «развалинахъ». Для насъ это скорѣе—продуктъ простого развитія старыхъ порядковъ сѣверо-восточной Руси, при измѣнившихся условіяхъ времени. «Глубокіе слѣды» *этихъ*, т.-е. сѣверо-восточныхъ старыхъ порядковъ въ первомъ періодѣ существованія московскаго княжества мы вполнѣ согласны были бы признать, но вѣдь оппонентъ требуетъ отъ насъ другого. Своихъ «глубокихъ слѣдовъ въ дальнѣйшемъ ходѣ исторіи» онъ, очевидно, ищетъ среди «развалинъ», онъ видитъ ихъ въ тѣхъ «нѣкоторыхъ традиціяхъ и нѣкоторыхъ учрежденіяхъ», которыя удѣльный періодъ «передалъ московской эпохѣ» въ *противорѣчіе* ея основнымъ чертамъ. Сюда, какъ видно изъ его дальнѣйшей фразы, онъ готовъ причислить вѣче, боярскую думу и земскіе соборы. О послѣднихъ двухъ у насъ будетъ рѣчь: предваряя наше изложеніе, мы скажемъ только здѣсь, что смотримъ на эти учрежденія, какъ на совершенно новыя, созданныя текущими потребностями, а не завѣщанныя «традиціями» удѣльнаго періода. Что касается вѣча,—по существу эта форма отжила свой вѣкъ съ появленіемъ на Руси единаго національнаго государства. Тутъ, вѣроятно, мы всего болѣе разойдемся съ міровоззрѣніемъ нашего оппонента. По его мнѣнію, повидимому, извѣстное состояніе общественнаго самосознанія можетъ быть завѣщано, какъ «традиція»—и притомъ «живучая»—отъ одного общественнаго строя другому, совершенно несходному съ первымъ. Наше же мнѣніе заключается въ томъ, что каждый общественный строй создаетъ *свое* общественное самосознаніе, совершенно отъ него неотдѣлимое и вмѣстѣ съ нимъ измѣняющееся. Только *непрерывность* существованія извѣстнаго строя и создавшихъ его условій могла бы обезпечить наличность дѣйствительно *живучей* традиціи; но именно этой непрерывности мы въ данномъ случаѣ и не видимъ.

Нѣтъ нужды отрицать, что въ южно-русскомъ *городѣ* древняго періода, съ его значительнымъ скопленіемъ населенія, съ его живостью торговыхъ сношеній, создалось то, что обыкновенно создается при этихъ условіяхъ въ городскихъ общинахъ: извѣстная степень быстроты и правильности психическаго взаимодѣйствія и, какъ результатъ, сравнительно высокая степень общественнаго самосознанія. Нельзя отрицать, что и сѣверно-русскій городъ не вовсе лишенъ былъ этихъ преимуществъ. Но, какъ элементъ политической власти, это специфически-городское самосознаніе оказалось недостаточно сильнымъ даже тогда, когда городская община имѣла еще возможность явиться центромъ соотвѣтственной государственной единицы. Естественно, что когда начался періодъ выработки высшаго государственнаго единства, городская община уже вовсе не могла фигурировать, какъ политическій факторъ. Она даже не сыграла никакой роли, какъ факторъ *соціальный*,

вслѣдствіе слабости своихъ соціальныхъ элементовъ или крайней немногочисленности соціально-сильнаго слоя. Поэтому и тѣ общественно-критическіе элементы, которые, безспорно, заключались все-таки въ городской общинѣ, не могли непосредственно перейти къ вновь слагавшейся высшей общественной группѣ. Въ этой послѣдней было, какъ увидимъ, свое общественное самосознаніе, ей свойственны были и свои элементы общественной критики. Но они не имѣли ничего общаго ни по формамъ, ни даже по матеріалу—съ общественнымъ самосознаніемъ вѣчевой городской общины, отодвинутой на заднiй планъ общимъ ходомъ соціальной эволюціи.

Теперь намъ предстоитъ обсудить возраженія, высказанныя по поводу изображенія въ «Очеркахъ» самого этого общаго хода. Главное обвиненіе, какъ мы говорили, заключается тутъ въ томъ, что процессъ соціальной эволюціи изображенъ у насъ черезчуръ фаталистично. Не будучи спеціалистомъ по русской исторіи, второй нашъ оппонентъ опирается въ этомъ отношеніи на Костомарова; но свои возраженія онъ формулируетъ во имя новѣйшихъ требованій соціологіи.

Своей задачей онъ ставитъ—доказать, что авторъ «Очерковъ» безсознательно, такъ сказать, malgré lui, является послѣдователемъ теоріи экономическаго матеріализма. Онъ обвиняетъ эту теорію въ излишнемъ «объективизмѣ», доказываетъ неудобства такого объективизма и противополагаетъ ему ученіе «субъективной школы», *какъ онъ его понимаетъ*. При этомъ «центръ тяжести» ученій «субъективной школы», въ формулировкѣ нашего оппонента, настолько приближается къ центру тяжести нашихъ собственныхъ мыслей, что, можетъ быть, окажется возможнымъ слить оба центра воедино. Оставимъ, для упрощенія спора, въ сторонѣ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли подводить воззрѣнія автора «Очерковъ» и его оппонента подъ ярлыки той или другой школы, и будемъ бесѣдовать по существу. По собственнымъ словамъ нашего оппонента, онъ не ставитъ психическія явленія «внѣ и выше матеріальныхъ условій». «Система традицій, вѣрованій, чувствъ и идей», по его словамъ, «безъ сомнѣнія, обусловлена *въ своемъ происхожденіи* внѣшними причинами». Но въ сколько-нибудь «сложномъ общественномъ явленіи»—«психическая область» является уже «дифференцированной» и въ свою очередь можетъ «дѣйствовать на исторической сценѣ въ качествѣ общественныхъ силъ». Это вліяніе «общественной психики», «развивающейся сообразно своимъ внутреннимъ законамъ», идетъ, однако, объ руку съ вліяніемъ «внѣшнихъ причинъ и матеріальныхъ воздѣйствій». До сихъ поръ взгляды нашего оппонента какъ нельзя болѣе согласны съ нашими собственными. Вся разница въ томъ, что мы объясняемъ «необходимость» «какого-либо переворота» «тѣми или другими внѣшними, объективными причинами», а за «человѣкомъ или, вѣрнѣе сказать, обществомъ» оставляемъ лишь «чисто передаточную роль» «исполнителя предначертаній», «предуста-

*

новленныхъ объективными причинами»,—тогда какъ воззрѣніе, защищаемое нашимъ оппонентомъ, напротивъ, видитъ «историческую необходимость» не въ этихъ «внѣшнихъ причинахъ», а въ «вызванныхъ ими *общественныхъ силахъ»*. Дѣйствіе этихъ общественныхъ силъ сокращаетъ районъ «обусловленности общественныхъ отношеній причинами, *не подлежащими воздѣйствію* человѣка», и придаетъ, такимъ образомъ, «гораздо болѣе относительный характеръ этой необходимости», открывая людямъ «возможность государственныхъ реформъ и общественной дѣятельности».

Мы спросимъ нашего оппонента: какъ же понимаетъ критикуемое имъ воззрѣніе «передаточную роль» человѣческой психики, если не въ формѣ «государственныхъ реформъ и общественной дѣятельности»? Это «исполненіе предначертаній», предустановленныхъ *внѣшними* причинами,—представляетъ ли такую скромную и тѣсную роль, какъ это кажется теоретику «общественныхъ силъ»? И, съ другой стороны, въ самомъ развитіи «общественныхъ силъ» нѣтъ ли своихъ «внутреннихъ законовъ», хотя и не выходящихъ за предѣлы «психики», но, тѣмъ не менѣе, тоже «не подлежащихъ воздѣйствію человѣка»? Другими словами, мы утверждаемъ, что «передаточная роль» *) общественной психики вовсе не такъ пассивна и безсознательна, а дѣятельность общественныхъ *«силъ»* вовсе не такъ автономна, какъ это допускаетъ нашъ критикъ. Расширивъ сознательный элементъ первой и ослабивъ активный характеръ вторыхъ, мы пришли бы къ довольно сходному пониманію роли «общественной психики» въ историческомъ процессѣ, которой мы вовсе не отрицаемъ, какъ это видно изъ нашихъ неоднократныхъ заявленій.

Вся эта относительность и условность принципіальныхъ возраженій критика видна будетъ еще яснѣе на томъ историческомъ примѣрѣ, который и вызвалъ эти возраженія,—именно на объясненіи происхожденія Московскаго государства. Мы утверждаемъ въ «Очеркахъ», что Московское государство явилось продуктомъ черезчуръ высокихъ государственныхъ требованій, предъявленныхъ къ черезчуръ неразвитому экономически населенію. Подозрѣвающій насъ въ тайной склонности къ экономическому матеріализму критикъ, во-первыхъ, сводитъ это объясненіе къ «чисто внѣшнимъ и матеріальнымъ причинамъ», а во-вторыхъ, показываетъ намъ теоретическую несостоятельность такъ понятаго объясненія. Высокія государственныя требованія,—разсуждаетъ онъ,—вызваны, по мнѣнію автора «Очерковъ», необходимостью бороться съ сосѣдями, т.-е. чисто внѣшней причиной. «Медленный ходъ экономическаго развитія древней Руси объясняется ея суровымъ кли-

*) Терминъ нашего оппонента, а *не нашъ* собственный: слѣдовательно, этимъ *терминомъ* нельзя характеризовать *нашъ* взглядъ на роль психическаго фактора какъ дѣлаетъ нашъ оппонентъ въ своемъ дальнѣйшемъ отвѣтѣ намъ.

матомъ, т.-е. самою объективною изъ объективныхъ причинъ». Но когда «историческое явленіе связывается отношеніемъ необходимости съ внѣшними объективными причинами, то *этимъ самымъ область психическихъ явленій устраняется* изъ числа составныхъ элементовъ историческаго процесса: такъ какъ всѣ главные поворотные пункты послѣдняго предустановлены объективными факторами, то для психическихъ общественныхъ силъ не остается мѣста въ исторіи. Ихъ существованіе, конечно, не отрицается и не можетъ быть отрицаемо историками объективной школы, но онѣ не играютъ никакой роли въ ихъ историческихъ построеніяхъ». Мы видѣли, что «роль психическихъ силъ остается еще очень большая и при полномъ признаніи роли «объективныхъ факторовъ». Но послѣдуемъ далѣе за развитіемъ мысли критика. Итакъ, «область психическихъ явленій» устраняется..., и этимъ создается положеніе, невозможность котораго очень остроумно доказывается критикомъ. Психологія устраняется, но *цѣлесообразность* возникновенія Московскаго государства продолжаетъ признаваться, помимо *закономѣрности.* Итакъ, это выходитъ—цѣлесообразность природы, объективная цѣлесообразность, т.-е. вопреки основному принципу «объективной школы»—чистѣйшая телеологія. «Только всемогущее государство могло успѣшно бороться съ набѣгами крымскихъ, ногайскихъ и казанскихъ татаръ, окружавшихъ Россію въ XIV вѣкѣ, а также и съ надвигавшеюся съ Запада литвою, *поэтому* и создалась въ Россіи всемогущая государственная власть; такъ какъ это было необходимо для русскаго общества, то это и *должно было случиться.* Цѣль была поставлена ясно; потребность въ ея достиженіи была неотложна, и исторія удовлетворила этой потребности. Отсюда тотъ историко-философскій выводъ, что все необходимое для независимаго существованія народа осуществляется въ его исторіи въ наиболѣе цѣлесообразной формѣ». Критикъ, конечно, протестуетъ противъ такого вывода, и мы протестуемъ вмѣстѣ съ нимъ. «Не все то совершается въ исторіи, что необходимо для сохраненія независимости даннаго народа». Безъ сомнѣнія, не все. И лучшее доказательство этого—то, что исторія знаетъ множество народовъ, не сохранившихъ своей независимости. Но мы опять предложимъ критику вопросы: не признаетъ ли онъ, во-первыхъ, что сохранить свою независимость, все-таки, стремятся *всѣ* народы, и, во-вторыхъ, что сохраненіе независимости *даннаго* народа доказываетъ само по себѣ, что все «необходимое для сохраненія» его было «совершено»?

Отвѣчая на первый вопросъ, критикъ, вѣроятно, признаетъ внутреннюю тенденцію самосохраненія свойственной всѣмъ общественнымъ группамъ. Отвѣтъ на второй вопросъ труднѣе, потому что тутъ предстоитъ разрѣшить то, что и составляетъ самый узелъ спора. «Совершено» ли это «необходимое для народнаго самосохраненія» слѣпой игрой силъ природы, или сознательнымъ общественнымъ поведеніемъ? И эти «силы природы» слѣдуетъ ли представлять себѣ, какъ совершенно слу-

чайную комбинацію «внѣшнихъ» факторовъ или какъ стихійный процессъ развитія внутренней тенденціи? Создается ли государство по образцу того, какъ сорвавшійся камень убиваетъ случайнаго прохожаго или какъ дерево выростаетъ изъ сѣмени, или какъ техникъ строитъ машину? Другими словами, надо ли объяснять происхожденіе государства—механически, органически или психологически? Нашъ критикъ заставляетъ насъ строить объясненіе по первому способу и справедливо удивляется, какъ въ такомъ случаѣ можно говорить о какой-либо цѣлесообразности. Онъ менѣе удивлялся бы, если бы, признавъ существованіе внутренней тенденціи политической эволюціи, заставилъ насъ понимать ея осуществленіе по второму способу. Цѣлесообразность органическаго процесса—вещь не столь нелѣпая и безсмысленная, чтобы отвергать ее безъ всякихъ оговорокъ и поясненій. Но, во всякомъ случаѣ, это—не та цѣлесообразность, какую мы привыкли видѣть въ сознательномъ волевомъ процессѣ, т.-е. которую необходимо допустить при объясненіи происхожденія государства по третьему способу. Такое объясненіе необходимо сведется къ теоріи свободнаго договора. Нашъ критикъ естественно не предполагаетъ возможности объяснить происхожденіе Московскаго государства и этимъ путемъ. «Трудно допустить»,—говоритъ онъ,—«чтобы общественное сознаніе играло большую роль въ установленіи такой формы государственной власти, въ основѣ которой лежало подавленіе (мы сказали бы слабость) этого сознанія». И, естественно, критикъ находитъ невозможнымъ понять наши объясненія «въ томъ смыслѣ, что русское общество XIV—XV в., проникнутое сознаніемъ неотложной потребности во внѣшней защитѣ, облекло для этого свое правительство неограниченными полномочіями и создало соотвѣтственный государственный строй».

Но является вопросъ: дѣйствительно ли для того, чтобы доказать цѣлесообразность возникновенія извѣстнаго общественнаго строя, необходимо предположить его *договорное* происхожденіе? Цѣлесообразность въ данномъ случаѣ предполагаетъ сознательность, но необходимо ли допустить такую именно *степень* сознательности, какъ требуетъ критикъ? Почему «сознаніе неотложной потребности во внѣшней защитѣ» должно было проникнуть *все* «русское общество», чтобы могли быть приняты соотвѣтственныя, болѣе или менѣе, цѣлесообразныя мѣры? И нужно ли было правительству, удовлетворившему такой «неотложной потребности», дожидаться, чтобы общество «облекло его для этого неограниченными полномочіями»?

Мы напомнимъ читателю наше объясненіе, вызвавшее всѣ эти сомнѣнія нашего оппонента. «Надо было защищать собственное существованіе, слѣдовательно, надо было найти для этого средства. Для *этого* надо было вызвать ихъ, создать, если ихъ не оказывалось налицо; для этого приходилось, хотя бы искусственно, развивать общественную самодѣятельность. Такимъ образомъ, благодаря настоятельнымъ государ-

ственнымъ потребностямъ, и создалось всемогущее государство на самой скудной матеріальной основѣ; вслѣдствіе самой этой скудности, оно должно было напрягать всѣ силы своего населенія, а чтобы распоряжаться всѣми силами его, оно и должно было сдѣлаться всемогущимъ».

Объясненіе, дѣйствительно, «телеологическое». Но, какъ видно изъ предыдущихъ объясненій, за этой «телеологіей» не скрывается въ данномъ случаѣ никакой метафизики и она не предполагаетъ никакого общественнаго договора. Понятое буквально такъ, какъ было написано, это объясненіе предполагаетъ только, что нашлось достаточно сознательности среди русскихъ представителей власти XV вѣка, чтобы приспособить и даже форсировать наличныя средства страны въ видахъ заразъ и собственнаго, и общественнаго самосохраненія.

Таково и было, дѣйствительно, наше предположеніе. Мы никогда не исключали «общественной психики» изъ нашего объясненія и нисколько не отождествляли ее съ «общественнымъ договоромъ». Мы просто искали ее не тамъ, гдѣ ищетъ критикъ, и допускали ея присутствіе въ иной формѣ, чѣмъ готовъ допустить онъ. Онъ считаетъ носителями этой «общественной психики» не совсѣмъ ясно опредѣляемыя имъ «общественныя силы», созданныя, повидимому, и въ его мнѣніи стихійнымъ процессомъ и дѣйствовавшія неизвѣстно съ какой степенью активности и сознательности. И для насъ «общественныя силы» данной эпохи, въ смыслѣ болѣе или менѣе ясно сознаваемыхъ интересовъ общественныхъ группъ и единицъ, составляютъ необходимую предпосылку нашего объясненія; но мы указываемъ, какъ наличное состояніе «общественныхъ силъ», при данныхъ условіяхъ, выразилось въ дѣйствіяхъ власти, какъ наиболѣе сознательнаго тогда выразителя коллективнаго общественнаго сознанія. Можетъ быть, это-то наше положеніе критикъ и будетъ продолжать оспаривать, но для этого онъ долженъ опредѣленнѣе, чѣмъ до сихъ поръ, указать, въ какихъ другихъ формахъ, какими другими «общественными силами» это коллективное сознаніе выражалось помимо тогдашнихъ представителей власти. Отчасти это послѣднее требованіе выполнимъ и мы сами, когда зайдетъ рѣчь объ элементахъ критики только что создававшагося тогда національнаго идеала. Но мы увидимъ при этомъ, какъ уже было сказано раньше, что это критическое общественное сознаніе возникло на той же почвѣ, какъ и критикуемый имъ общественный идеалъ, т.-е. *на почвѣ только-что сложившагося общественнаго строя*. Идеалъ и критика его были одинаково продуктами того, «какъ бы стихійнаго, процесса», которымъ «совершались событія» этой эпохи, по собственному признанію критика.

Мы позволили себѣ вдаться въ эту длинную полемику исключительно потому, что она не только не удаляетъ насъ, а, напротивъ, открываетъ намъ путь къ предмету нашихъ бесѣдъ въ третьей части «Очерковъ». Если не ошибаемся, сказанное нами раньше даетъ доста-

точный матеріалъ для вполнѣ опредѣленнаго отвѣта на вопросъ, откуда слѣдуетъ начинать исторію русскаго національнаго самосознанія и почему для этого начала мы останавливаемся на избранномъ нами хронологическомъ періодѣ.

Русское національное самосознаніе могло развиться лишь на почвѣ политическаго объединенія русской національности. Ни самосознаніе, ни критика его не могли предшествовать факту, къ которому относились. Но, конечно, характеръ того и другого опредѣлился тѣми условіями, при которыхъ совершалось русское національное объединеніе. *Особенность* этихъ условій, скорѣе чѣмъ *необходимость* самаго процесса, мы и хотѣли подчеркнуть нашимъ объясненіемъ. Необходимость процесса политической эволюціи мы при этомъ предполагали, какъ саму собой разумѣющуюся. Необходимость процесса—не есть еще, конечно, необходимость результата, такъ какъ результатъ является уже продуктомъ условій, среди которыхъ развивается процессъ. Среди этихъ условій есть такія, которыя продолжаютъ намъ казаться болѣе необходимыми, *менѣе случайными*, чѣмъ это, повидимому, кажется нашему критику. Это, именно, прежде всего, роль внѣшней опасности при образованіи государства. Дѣло въ томъ, что хотя опасность этого рода и *внѣшняя*, хотя можно представить себѣ отвлеченную возможность созданія государства исключительно внутреннимъ процессомъ, тѣмъ не менѣе въ дѣйствительности этотъ внѣшній факторъ такъ же распространенъ, какъ зародыши всевозможныхъ болѣзней въ окружающей атмосферѣ. Стало быть, дѣйствительный процессъ политической эволюціи всегда и вездѣ совершался при наличности этого фактора, внѣшней опасности, воздѣйствовавшаго на внутреннюю эволюцію власти. *Случайно*, т.-е. свойственно именно данной исторіи — не то, что внѣшняя опасность была налицо и дѣйствовала, какъ внѣшній факторъ образованія государства, а то, что дѣйствіе этого фактора *совпало съ данной*, а не съ какой-либо другой *степенью развитія* внутреннихъ «общественныхъ силъ». Эти «силы» не игнорируются, а, напротивъ, входятъ необходимымъ элементомъ въ наше объясненіе. Разница только въ томъ, повидимому, что критикъ оцѣниваетъ политическое значеніе этихъ силъ иначе, нежели мы. Онъ говоритъ, какъ мы видѣли, объ ихъ «подавленіи» тамъ, гдѣ мы предпочли бы говорить о ихъ «слабости». Послѣднюю, однако, онъ тоже мѣстами признаетъ. «Въ томъ фазисѣ общественной эволюціи»,—замѣчаетъ онъ вполнѣ справедливо,—«о которомъ идетъ рѣчь въ разсмотрѣнныхъ нами историческихъ объясненіяхъ автора «Очерковъ», роль общественнаго самосознанія была *чрезвычайно слаба* и событія совершались какъ бы стихійнымъ процессомъ; но роль *чисто субъективныхъ интересовъ и стремленій главнѣйшихъ историческихъ дѣятелей* той эпохи была тѣмъ не менѣе очень значительна. Говоря о субъективныхъ факторахъ исторіи,—оговаривается критикъ,—мы вовсе не имѣемъ въ виду исключительно

цѣлесообразной общественной дѣятельности или вліянія высокихъ идей; мы говоримъ лишь о томъ *сравнительномъ просторѣ, который предоставляется исторіей субъективному фактору* въ силу самой природы общественныхъ явленій».

И мы признаемъ этотъ «сравнительный просторъ», какъ видно изъ предисловія къ первой части «Очерковъ»; оттуда же видно, что степень этого простора мы опредѣляемъ различно, судя по тому, идутъ ли «чисто субъективные интересы и стремленія главнѣйшихъ историческихъ дѣятелей» въ разрѣзъ или, наоборотъ, въ одномъ направленіи съ внутренней тенденціей даннаго процесса. И прилагая эту мѣрку къ оцѣнкѣ «сравнительнаго простора» дѣйствій историческихъ дѣятелей эпохи возникновенія московскаго государства, мы, можетъ быть, близко сойдемся съ сужденіями о томъ же предметѣ нашего оппонента. Раньше мы показали уже, почему наше сужденіе о цѣлесообразности русской политической эволюціи нельзя толковать ни въ смыслѣ «предуставленной цѣлесообразности самого историческаго процесса», ни въ смыслѣ «сознательнаго установленія русскимъ обществомъ XIV вѣка самодержавнаго государственнаго строя». Сдѣлаемъ оговорку: всѣ наши сужденія о «цѣлесообразности» относятся не къ XIV, а къ концу XV вѣка. Мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ оппонента, что «московское самодержавіе было подготовлено длиннымъ процессомъ, въ основѣ котораго лежала не общая идея о необходимости сильнаго государства, а частныя, своекорыстныя стремленія враждовавшихъ между собою князей», и что «сами московскіе великіе князья могли ставить общегосударственныя задачи своей политикѣ только послѣ того, какъ въ ихъ рукахъ скопились достаточныя для того силы». Мы безусловно признаемъ, что начало процесса было вполнѣ стихійнымъ или, если угодно, лежало въ области «чисто субъективныхъ интересовъ и стремленій» соперничавшихъ между собой представителей власти. Общественный результатъ этого соперничества,—возникновеніе болѣе сложной политической организаціи, находился, несомнѣнно, внѣ сферы ихъ личнаго сознанія. Это не мѣшаетъ намъ не видѣть ни въ процессѣ борьбы, ни въ его результатѣ—ничего случайнаго, а считать то и другое проявленіемъ внутренней тенденціи, необходимо присущей процессу политической эволюціи вездѣ, гдѣ этотъ процессъ имѣетъ возможность совершиться. Мы не отрицаемъ ни «субъективныхъ стремленій», ни «страстей», развившихся «въ этой смутной, тяжелой и часто трагической исторіи» образованія русскаго государства. Но такъ какъ мы ищемъ въ данномъ случаѣ соціологической истины, а не нравственнаго назиданія, то совершенно естественно, что мы обратили все свое вниманіе не на элементы «трагизма», несомнѣнно существовавшіе, а на элементы «строгой общественной необходимости».

Постепенное развитіе сознательности по мѣрѣ развитія процесса—также входитъ въ число этихъ необходимыхъ элементовъ соціальнаго

развитія. Носителемъ этого сознанія, опредѣляющимъ и его первоначальный характеръ, является, конечно, не вся народная масса,—«общественное самосознаніе» которой, по вѣрному замѣчанію критика, было тогда еще «чрезвычайно слабо»,—а «главнѣйшіе историческіе дѣятели той эпохи», т.-е. представители власти и ихъ совѣтники. Мы совершенно согласны съ нашимъ оппонентомъ, что роль этихъ дѣятелей «была очень значительной», тогда какъ «роль общественнаго самосознанія была», напротивъ, «чрезвычайно слаба». Но «значительность» роли современныхъ дѣятелей мы объясняемъ не столько тѣмъ «сравнительнымъ просторомъ, который предоставляется исторіей субъективному фактору», какъ таковому, сколько той *цѣлесообразностью* ихъ дѣйствій, т.-е. соотвѣтствіемъ ихъ условіямъ данной эпохи, которое только и могло обезпечить этимъ дѣйствіямъ «сравнительный просторъ» *).

Теперь должно сдѣлаться уже вполнѣ ясно, почему исторію національнаго самосознанія мы начнемъ не съ элементовъ самосознанія и критики, присущихъ «удѣльно-вѣчевому» періоду русской исторіи, а съ конца XV вѣка, т.-е. съ момента, къ которому, по признанію нашего второго оппонента, эти старые элементы совершенно переродились. Въ этомъ признаніи второй нашъ критикъ отличается отъ перваго, который склоненъ признавать «нѣкоторые» старые элементы, напротивъ, живучими и оставившими глубокій слѣдъ въ послѣдующей исторіи. Но и со вторымъ критикомъ, съ которымъ мы соглашаемся въ томъ, что элементовъ удѣльно-вѣчевого періода болѣе уже не было налицо, мы расходимся въ объясненіи того, почему ихъ не было. Слѣдуя Костомарову, онъ всю вину возлагаетъ здѣсь на татарское иго и на произведенный имъ переворотъ въ состояніи «общественныхъ силъ». Мы же, вмѣстѣ съ старой московской исторической школой, готовы

*) Извиняемся передъ нашимъ вторымъ оппонентомъ, что оставляемъ безъ подробнаго разбора тѣ его возраженія, обсужденіе которыхъ отвлекло бы насъ отъ главной цѣли нашей настоящей бесѣды. Замѣтимъ только, что напрасно критикъ хочетъ и въ этихъ другихъ возраженіяхъ выставить насъ безусловнымъ сторонникомъ теоріи экономическаго матеріализма, вопреки нашему собственному заявленію. Политическаго элемента въ соціальномъ развитіи мы нисколько не отрицаемъ, но, дѣйствительно, въ примѣрахъ, приводимыхъ авторомъ, самую степень активности этого политическаго элемента мы ставимъ въ зависимость отъ степени экономическаго развитія. Земледѣльческій трудъ получаетъ «принудительную организацію» по преимуществу тамъ, гдѣ плоды его могутъ быть подѣлены съ «организаторами», т.-е. въ случаѣ извѣстной степени доходности его. Вотъ почему, вопреки мнѣнію оппонента, мы продолжаемъ думать, что не потому экономическое развитіе древней Руси было низко, что не нашлось организаторовъ труда изъ среды завоевателей-иноплеменниковъ, представителей «благороднаго» сословія, а потому этого сословія благородныхъ завоевателей не оказалось на Руси, что экономическое развитіе было низко. Рѣзкаго раздѣленія между обоими факторами, конечно, проводить нельзя, потому что необходимо допустить извѣстную степень взаимодѣйствія между ними.

искать причину глубже и дальше—въ особенностяхъ соціальнаго строя русскаго сѣверо-востока, какъ этотъ строй сложился уже въ дотатарскую эпоху.

Первый изъ критическихъ отзывовъ на «Очерки», разбираемый выше, принадлежитъ *В. А. Мякотину* и напечатанъ въ «Русскомъ Богатствѣ» 1896 года, № 10. Второй разборъ сдѣланъ въ статьѣ: «Нѣсколько замѣчаній объ «Очеркахъ по исторіи русской культуры» г. Милюкова», принадлежащей г. *П. Б.* и появившейся въ томъ же журналѣ за 1898 годъ, № 8. Въ своемъ отвѣтѣ намъ, «Русск. Бог.» 1900, № 10, г. *П. Б.* удовлетворился нѣкоторыми нашими объясненіями, данными здѣсь, но выставилъ нѣкоторыя новыя возраженія, которыя, къ сожалѣнію, мы не имѣемъ озможности разбирать въ «Очеркахъ».

II.

Общій характеръ историческаго перелома въ концѣ XV вѣка.—Житейскіе элементы новой московской программы.—Традиція скопидомства.—Традиція «единства», превратившаяся въ традицію «объединенія». — Традиція религіознаго единства и ея отношеніе къ идеѣ національнаго объединенія.—Религія, какъ средство въ рукахъ московской политики.—Идеологическіе элементы московской программы и ихъ общій источникъ.—Идея крестоваго похода противъ турокъ, какъ главная причина интереса Европы конца XV в. къ Россіи. — Левантинцы: итальянцы и греки, какъ посредники при первыхъ сношеніяхъ.—Женитьба на Софьѣ Палеологъ, какъ первый результатъ сношеній. — Политическія послѣдствія брака и первыхъ сношеній съ европейскими государями. — Неудачныя попытки ввести Ивана III въ международную іерархію государей.—Быстрый ростъ и практическій успѣхъ идеи «панруссизма». — Теорія и дѣйствительность «борьбы съ исламомъ».—Дальнѣйшее развитіе московской политической идеологіи при помощи южныхъ славянъ. — Національное самосознаніе, какъ продуктъ исторіи южныхъ славянъ.—Его формулировка въ соотвѣтственной политической идеологіи.—Перенесеніе этой идеологіи на Москву.—Славянскіе литераторы (Кипріанъ, Пахомій) овладѣваютъ русскими національными темами.—Московскій князь рисуется въ чертахъ славянскаго «царя и самодержца». — Москва становится «новымъ Царьградомъ».—Пропаганда новыхъ идей русскими писателями (Филоѳей).—Связь славянскихъ идей съ русской идеей «панруссизма» при помощи легенды объ историческомъ преемствѣ власти отъ Византіи.

Послѣднія двадцать лѣтъ XV-го вѣка въ русской исторіи отличаются цѣлымъ рядомъ нововведеній, рѣзко отдѣляющихъ ихъ отъ всего предыдущаго времени. Русская политическая жизнь круто поворачиваетъ на новую дорогу. Вмѣсто нѣсколькихъ великихъ княжествъ, дробящихся на множество мелкихъ удѣловъ, мы встрѣчаемъ компактную массу московскихъ владѣній, почти уже поглотившихъ всѣ земли своихъ крупныхъ и мелкихъ сосѣдей. Вмѣсто прежняго великаго князя, договаривающагося и воюющаго съ этими ближайшими сосѣдями, мы видимъ «государя всея Руси». Онъ заботится не о мелкихъ прикупкахъ и «примыслахъ», а объ окончательномъ объединеніи подъ своей властью всей русской народности. И для достиженія этой цѣли онъ не хлопочетъ больше о томъ, чтобы подкупить ханскихъ совѣтниковъ и какъ-нибудь выклянчить у хана ярлыкъ. Онъ теперь самъ «царь», не хуже ордынскаго, и «самодержецъ», не нуждающійся ни въ какой чужеземной санкціи своей власти. Его дипломаты, во что бы то ни стало, хотятъ быть на равной ногѣ не только съ правительствомъ венеціанской

республики, но и съ самимъ цесаремъ римскимъ. Словомъ, на почвѣ стихійныхъ успѣховъ, достигнутыхъ «прародителями», московскій государь вырабатываетъ широкую программу политики, которой сознательно и твердо придерживается съ этихъ поръ его правительство и его потомки. И,—что̀ насъ особенно интересуетъ здѣсь,—въ этой программѣ текущія государственныя задачи впервые получаютъ болѣе или менѣе отвлеченную идеологическую формулировку. Политическая идеологія московской государственной программы скоро становится достояніемъ «народнаго сознанія» и надолго переживаетъ создавшую ее историческую обстановку. Вотъ почему намъ предстоитъ съ особымъ вниманіемъ отнестись къ этой программѣ и тщательно выдѣлить въ ней элементы житейскіе и элементы идеологическіе.

Заранѣе можно сказать, что именно послѣдніе т.-е. идеологическіе элементы и составляютъ то новое, что даетъ особую, бросающуюся въ глаза окраску всему періоду, въ теченіе котораго осуществляется новая программа. Напротивъ, элементы, непосредственно вытекающіе изъ потребностей текущей жизни, связываютъ московскую дѣйствительность съ прошлымъ, составляя лишь прямой и логическій результатъ медленной, стихійной работы предыдущихъ поколѣній. Попытаемся же анализировать и тѣ, и другіе составные элементы московской политической программы.

Въ только что упомянутой «стихійной работѣ» прародителей московскаго самодержца, безъ сомнѣнія, была своя сознательность и своя традиція. Еще сынъ Калиты, Симеонъ Гордый, вполнѣ отчетливо подчеркиваетъ эту традицію, кончая свое духовное завѣщаніе (1353) такими выраженіями: «а пишу вамъ это слово того ради, чтобъ не перестала память родителей нашихъ и наша, и *свѣча бы не угасла*». Симеонъ могъ быть спокоенъ. Свѣча, зажженная Калитой, не гасла, а разгоралась яркимъ пламенемъ при его сыновьяхъ, внукахъ, правнукахъ и праправнукахъ. Первый русскій самодержецъ стоялъ на плечахъ пяти поколѣній, и потому видѣлъ такъ далеко и широко. Но вѣрно, однакожъ, и то, что его предкамъ никогда и во снѣ не снились такія широкія перспективы. Прикупая и «примышляя» деревню къ деревнѣ, волость къ волости, копя въ своей казнѣ золото и серебро, ожерелья и мониста, кожухи червленые жемчужные и пояса «съ каменьемъ», обсчитывая татаръ на дани и насильничая надъ «своей братьей», князьями,—эти «прародители» не шли въ своихъ политическихъ мечтахъ дальше смутной надежды, что придетъ когда-нибудь время и «Богъ освободитъ ихъ отъ Орды». Если бы спросить ихъ, что они будутъ дѣлать съ своей свободой, они, вѣроятно, не смогли бы развить никакой иной программы, кромѣ все той же старой, привычной, ставшей инстинктомъ: еще больше примышлять и копить, обманывать и насильничать,—съ единственной цѣлью добиться какъ можно больше власти и какъ можно больше денегъ. Такимъ образомъ, традиція «ско-

пидомства» была самой коренной, самой натуральной и наименѣе идеологической изъ всѣхъ традицій московской великокняжеской семьи.

Самая необходимость борьбы съ татарами намѣчала, правда, иныя, болѣе отвлеченныя цѣли; но онѣ едва ли отчетливо сознавались, тѣмъ болѣе, что отчасти противорѣчили очереднымъ задачамъ практической политики. Въ томъ же самомъ завѣщаніи Симеона, непосредственно передъ цитированными словами, находятся совѣты, хотя и традиціонные, но сохранявшіе тогда очень реальный смыслъ. «Какъ отецъ мой приказалъ вамъ жить заодно, такъ и я вамъ приказываю; лихихъ людей не слушайте, а если кто васъ будетъ ссорить, слушайте отца нашего, владыки Алексѣя». Дѣйствительно, необходимость быть «за одинъ» была особенно осязательна, въ виду перспективы борьбы съ татарами. Но такое единство могло быть достигнуто на практикѣ лишь цѣной уничтоженія однимъ изъ соперниковъ всѣхъ прочихъ. Такимъ образомъ, въ устахъ счастливаго побѣдителя эта мораль «прародителей» должна была по необходимости принять другую форму. Быть за «одинъ»—ему больше не нужно было; но онъ твердо запомнилъ, что не надо дѣлиться съ другими. Старорусская, шедшая еще съ кіевскаго юга традиція «единства» превратилась, въ силу обстоятельствъ, въ традицію «объединенія». Не единеніе князей-родичей, а единство власти въ рукахъ одного «господаря»—таковъ былъ практическій урокъ, вынесенный московскимъ княземъ какъ разъ изъ безплодности прадѣдовской морали. Какъ отчетливо и сознательно усвоилъ себѣ Иванъ III этотъ урокъ, мы знаемъ, по счастливой случайности, изъ его собственныхъ выраженій. Вѣсть о томъ, что зять Александръ,—литовскій князь, женатый на дочери Ивана, Еленѣ,— хочетъ дать брату Сигизмунду *удѣлъ* въ литовской землѣ, подняла въ умѣ Ивана цѣлую тучу воспоминаній, и онъ продиктовалъ своимъ посламъ, ѣхавшимъ къ Еленѣ въ Вильну, слѣдующее внушительное предостереженіе. «Передали мнѣ, что князь великій и паны хотятъ Сигизмунду дать въ литовскомъ великомъ княжествѣ Кіевъ и другіе города. Вотъ что, дочь моя: слыхалъ я, каково было нестроенье въ литовской землѣ, *когда было государей много*. Да и въ нашей землѣ, ты слышала, каково было нестроенье при моемъ отцѣ; а послѣ отца моего, каковы были дѣла и мнѣ съ братьею, надѣюсь, слыхала, а иное и сама помнишь. И если Сигизмундъ будетъ въ литовской землѣ, какая вамъ отъ того польза? Я это велю тебѣ передать потому, что ты—дитя наше и что дѣло ваше начнетъ дѣлаться не какъ слѣдуетъ, а мнѣ того жаль».

Самъ Иванъ велъ свое «дѣло» «какъ слѣдуетъ», но онъ былъ не совсѣмъ справедливъ къ своимъ предкамъ. Дѣло въ томъ, что извѣстные намъ совѣты—быть заодно съ «братьею»—эти предки чѣмъ дальше, тѣмъ больше сопровождали такими распоряженіями, при которыхъ нравственная обязанность младшей братьи быстро превращалась въ политическую необходимость. «Прародители Ивана» все болѣе и

болѣе увеличивали долю старшаго въ наслѣдствѣ и обдѣляли младшихъ. Старшій сынъ Дмитрія Донского, какъ извѣстно, вносилъ съ своей доли только 34% татарской дани, т.-е. владѣлъ лишь третью русскихъ доходовъ, а самъ Иванъ III, его правнукъ, получилъ отъ отца уже половину всѣхъ русскихъ городовъ, и притомъ лучшую. Онъ передалъ своему сыну такую долю, съ которой шло уже цѣлыхъ 72% татарской дани, т.-е. недалеко до трехъ четвертей всѣхъ русскихъ доходовъ.

Какъ видимъ, Иванъ III всецѣло стоялъ на плечахъ своихъ предковъ, когда критиковалъ ихъ политику съ высоты достигнутыхъ имъ результатовъ. Онъ только видѣлъ, какъ мы сказали, лучше и дальше, а потому могъ отнестись гораздо сознательнѣе къ ихъ идеѣ. А главное, препятствія къ осуществленію этой идеи—объединенія—были настолько ослаблены къ его времени, что онъ имѣлъ полную возможность провести идею несравненно послѣдовательнѣе.

Въ завѣщаніи Симеона мы отмѣтимъ еще одинъ совѣтъ, кромѣ совѣта о нравственномъ единеніи, участь котораго мы только-что прослѣдили. «Слушайте владыки Алексѣя», писалъ Симеонъ. Этотъ совѣтъ напоминаетъ намъ о другомъ элементѣ, роль котораго въ новой политической идеологіи намъ предстоитъ оцѣнить: элементѣ религіозномъ. Казалось, по самому своему существу, этотъ элементъ толкалъ на путь идеологіи гораздо сильнѣе, чѣмъ элементъ политической борьбы. Однако, какъ увидимъ, московская политика и изъ него прежде всего создала себѣ орудіе для достиженія своихъ ближайшихъ житейскихъ цѣлей.

Борьба только-что зачинавшихся политическихъ центровъ за то, которому изъ нихъ быть резиденціей митрополита, началась, какъ извѣстно, съ очень давняго времени. Митрополитъ былъ религіознымъ представителемъ *«всея* Руси» гораздо раньше, чѣмъ московскій князь сдѣлался ея политическимъ представителемъ. По самому своему положенію митрополитъ былъ представителемъ *всей* русской народности въ теченіе всего того времени, пока вся Русь оставалась *единственной* восточнославянской епархіей въ вѣдомствѣ константинопольскаго патріарха. Мало того, что самъ митрополитъ являлся невольнымъ представителемъ «всея Руси», онъ переносилъ это положеніе и на того князя, возлѣ котораго избиралъ свою постоянную резиденцію. Когда тверскому князю Михаилу Ярославичу удалось заручиться содѣйствіемъ митрополита Петра, онъ тотчасъ же, въ подражаніе титулу митрополита, сталъ называть и себя «великимъ княземъ *всея Руси»*. Такимъ образомъ, московскій соперникъ тверскихъ князей, Иванъ Калита, не вводилъ ничего новаго, а просто копировалъ своихъ враговъ, когда, перетянувъ митрополита Петра на свою сторону, и онъ тоже перенялъ этотъ самый титулъ «великаго князя всея Руси». Не забудемъ, что то и другое произошло за полтора вѣка до того времени, когда Иванъ III положилъ этотъ же самый титулъ въ основу сознательной и послѣдовательной національной политики.

Ничего подобнаго этой политикѣ мы не найдемъ у этихъ предшественниковъ Ивана III по титулу. Одно это сопоставленіе показываетъ, что въ XIV в. религіозный элементъ еще не могъ играть такой политической роли, какую онъ сталъ играть съ конца XV в. Идея всероссійскаго *религіознаго* единства, очевидно, не вызывала въ умахъ идеи всероссійскаго *политическаго* единства, и даже титулъ великаго князя «всея Руси» звучалъ совершенно безопасно и невинно. Имъ, самое большее, отмѣчались претензіи на гегемонію въ своеобразной политической федераціи, какую представляла система княжествъ удѣльнаго періода, а вовсе не стремленіе къ политическому объединенію всей русской народности.

Только-что указанная старая роль церкви, какъ представительницы моральнаго единства, была уже сыграна, когда началась объединительная политика Ивана III-го. Церковь уже потому не могла долѣе служить носительницей національной идеи, что сама она раскололась къ этому времени на двѣ половины, соотвѣтственно двумъ частямъ Руси: литовской и московской. Литовская Русь получила въ срединѣ вѣка своего собственнаго духовнаго главу, который шелъ по слѣдамъ митр. Исидора, т.-е. стремился провести въ жизнь формальное признаніе юго-западной русской церковью флорентійской уніи. Напротивъ, іерархія сѣверо-восточной Руси съ этихъ же самыхъ поръ вполнѣ подчинилась цѣлямъ княжеской политики и цѣной своей свободы и независимости отъ свѣтской власти пріобрѣла независимость, сперва фактическую, а позже и формальную, отъ византійскаго патріарха. Такимъ образомъ, церковь не ведетъ здѣсь за собой національную идею, а сама слѣдуетъ за ея развитіемъ, какъ послушное орудіе въ рукахъ государства.

Въ 80-хъ и 90-хъ годахъ XV вѣка изъ этого орудія было сдѣлано первое широкое примѣненіе. Государь «всея Руси» объявилъ войну государю литовской Руси во имя защиты православія противъ «римскаго закона». Защитой православія онъ оправдывалъ всѣ свои захваты у Литвы не только передъ своей непосредственной жертвой, но и передъ государями Европы, и даже передъ самимъ папой. Это была идеологія, соприкасавшаяся очень близко съ дѣйствительностью, но, тѣмъ не менѣе, не совпадавшая съ нею всецѣло. Въ литовской Руси была своя православная партія, боровшаяся противъ окатоличенія Литвы; но борьбу свою она вела совсѣмъ другими средствами, и помощь Ивана являлась для нея тѣмъ болѣе непрошенной, что онъ, въ сущности, и не думалъ вступать съ этой партіей въ болѣе близкія отношенія. Для его ближайшихъ цѣлей достаточно было имѣть постоянный предлогъ къ вмѣшательству въ литовскія дѣла: этотъ предлогъ давали ему—въ значительной степени мнимыя—притѣсненія его дочери католиками. Нужно только прочитать въ дипломатическихъ бумагахъ того времени эти постоянные упреки зятю и внушенія дочери, все въ однихъ и тѣхъ же словахъ, превратившихся, въ концѣ концовъ, въ условныя формулы, ко-

торыя отлично служили своей политической цѣли въ рукахъ московскихъ дипломатовъ, но совершенно игнорировали дѣйствительность. Иванъ объяснялъ, за одно ужъ, и переѣздъ къ нему на службу мелкихъ пограничныхъ князей и передачу Москвѣ ихъ владѣній—все той же «нужею, что ихъ нудятъ приступити къ римскому закону».

Мы видимъ теперь, что и объединительная политика, и употребленіе, въ ея видахъ, религіозно-національной идеи хотя и имѣютъ свои корни въ болѣе или менѣе далекомъ прошломъ, въ политикѣ предковъ московскаго самодержца, но, тѣмъ не менѣе, въ его собственномъ употребленіи эти старыя идеи обогащаются новыми чертами и совершенно теряютъ, въ концѣ концовъ, свой старый характеръ. Такъ, идея моральнаго единства всей «братьи» уступила мѣсто безусловному политическому подчиненію всѣхъ остальныхъ передъ «старѣйшимъ», ихъ «господиномъ». Такимъ же образомъ и идея религіознаго единства всей русской народности послужила средствомъ для оправданія завоевательной политики московскаго князя. Та и другая перемѣна могла бы совершиться, и частью совершилась,—просто въ силу измѣнившихся обстоятельствъ, безъ всякаго воздѣйствія постороннихъ идеологій. Но теперь мы должны обратить вниманіе на другую сторону дѣла—на чисто идеологическій элементъ московской программы. Только разборъ этого элемента можетъ намъ объяснить, почему новая программа была такъ быстро и такъ сознательно формулирована, и откуда взялись тѣ идейные наросты на этой программѣ, съ которыми намъ еще предстоитъ познакомиться.

Секретъ этого быстраго идейнаго перелома, переодѣвшаго великаго князя удѣльнаго періода въ царскій костюмъ, находится тамъ же, гдѣ и двѣсти лѣтъ спустя, въ моментъ переодѣванія московскаго царя въ европейское платье. Тогда, при Петрѣ, Россія заинтересовалась Европой и принялась черпать полными руками изъ ея культурной сокровищницы новые нравы и новыя мысли. Теперь, при Иванѣ, московская Русь была еще слишкомъ некультурна, чтобы заинтересоваться Европой; но теперь Европа заинтересовалась Россіей и обронила на русской почвѣ скудныя сѣмена, давшія скоро на этой нетронутой почвѣ совсѣмъ своеобразные всходы.

Въ эпоху Ивана III всю интеллигентную Европу занимала и волновала одна мысль—общаго крестоваго похода противъ турокъ. За исключеніемъ Бѣлграда, остававшагося (до 1521 г.) за венграми, Балканскій полуостровъ весь былъ въ послѣднія десятилѣтія XV в. уже въ турецкихъ рукахъ. Съ Дуная турки грозили румынамъ и венграмъ, австрійскимъ славянамъ и нѣмцамъ. Они начинали также присматриваться и къ Италіи, куда не разъ призывали ихъ внутреннія ссоры мелкихъ династовъ. Всѣ эти земли уже испытали на себѣ въ то время тяжесть турецкихъ набѣговъ. Естественнымъ вождемъ оппозиціи противъ торжества ислама являлся глава западнаго христіанскаго міра, папа.

Кромѣ него, больше всего въ Италіи заинтересованы были въ борьбѣ двѣ торговыя республики, соперничавшія на южноевропейскомъ востокѣ и имѣвшія тамъ повсюду свои колоніи: Генуя и Венеція. Внѣ Италіи заинтересованными лицами были наслѣдники послѣдняго византійскаго императора, готовые продать свои права тому, кто дороже дастъ, и римскій императоръ германской націи, старавшійся наловить въ замутившейся водѣ европейской политики какъ можно больше добычи на своей восточной границѣ. У всѣхъ этихъ лицъ и государствъ было слишкомъ много противорѣчащихъ другъ другу интересовъ и эгоистическихъ побужденій, чтобы можно было надѣяться на осуществленіе идейнаго союза между ними. Тѣмъ охотнѣе они предоставляли честь и мѣсто всякому, кто согласился бы принять безкорыстно участіе въ такомъ союзѣ.

Таковъ былъ историческій моментъ, когда Европа открыла Россію. Честь этого открытія принадлежитъ, главнымъ образомъ, левантинцамъ. Этотъ типъ людей безъ отечества, съ тонкимъ умомъ и растяжимой моралью, охотно балансирующихъ на той неуловимой границѣ, которая отдѣляетъ дипломатію отъ шарлатанства, несомнѣнно, сложился вполнѣ уже въ то время. Наблюдательные и проницательные, они умѣли угадать, что кому нужно, и торговали тѣмъ товаромъ, на который былъ спросъ. Въ Италіи они открывали каѳедры поэзіи и толковали Гомера и Демосѳена: въМосквѣ они сосватали великому князю племянницу византійскаго императора, Зою (Софію) Палеологъ. Дѣло было щекотливое, такъ какъ папа считалъ Зою, которую онъ пріютилъ у себя, ревностною католичкой, а для московскаго князя нужна была «православная христіанка». Два левантинца, одинъ итальянецъ, другой грекъ, уладили это затрудненіе, какъ нельзя лучше. Итальянецъ (Джанъ-Баттиста делла Вольпе, монетчикъ Ивана) взялъ на себя обмануть папу, обѣщавъ ему что Россія подчинится св. престолу; грекъ (Юрій Траханіотъ, magister domus или дворецкій отца невѣсты, Ѳомы Палеолога, перешедшій потомъ на московскую службу) обманулъ Ивана III, засвидѣтельствовавъ, яко бы отъ имени византійскаго кардинала Виссаріона, «православное христіанство» Зои и разсказавъ при этомъ кучу небылицъ о ея женихахъ, которымъ она будто бы отказала изъ отвращенія къ латинству (на дѣлѣ, женихи ей отказывали). По дорогѣ, посланный Вольпе успѣлъ еще провести венеціанцевъ, поманивъ ихъ перспективой союза съ Золотой Ордой и предложивъ себя въ коммиссіонеры. Второе дѣло сорвалось, зато первое наладилось. Московскій «варваръ» сталъ мужемъ «византійской царевны», какъ не переставала себя величать католическая Зоя, превратившаяся на русской почвѣ въ православную Софію (1472).

Отдавалъ ли себѣ Иванъ III ясный отчетъ во всѣхъ тѣхъ преимуществахъ, которыя онъ получалъ въ глазахъ Европы отъ этого брака? Европа, съ своей стороны, не упускала случая ему напомнить объ этихъ преимуществахъ. Иванъ получилъ теперь право войти въ семью циви-

лизованныхъ государей Европы въ почетной роли защитника христіанства противъ турокъ,—въ роли, въ которой заинтересована была, какъ мы видѣли, прежде всего, сама Европа. Вотъ почему венеціанскій сенатъ уже въ 1473 г. напоминаетъ Ивану, что «въ случаѣ прекращенія мужскаго потомства византійскихъ императоровъ, наслѣдственныя права переходятъ къ нему, Ивану, по женѣ». Является въ Москву (1480 и вторично 1490) и самъ наслѣдникъ, желавшій продать свои права за деньги. Должно быть, разсчетливый московскій князь рѣшилъ, что права эти не стоятъ цѣны, которая за нихъ требовалась,—и скоро Андрей Палеологъ нашелъ себѣ болѣе выгоднаго покупателя въ лицѣ французскаго короля-романтика, увлеченнаго идеей борьбы съ турками, Карла VIII. Но въ европейской владѣтельной семьѣ долженъ же былъ московскій государь имѣть какое-нибудь опредѣленное положеніе. И вотъ, начались попытки купить у Ивана его услуги цѣной королевскаго титула. Уже въ 1484 году папа Сикстъ IV спѣшитъ успокоить волненія по этому поводу польскаго короля Казимира. Онъ обѣщаетъ ему, что если Иванъ попроситъ у папы званія императора или короля «всей русской націи» (in tota ruthenica natione), то онъ не дастъ ему этого званія, не спросившись предварительно у поляковъ. Про польскіе страхи узналъ тогда же и одинъ случайный германскій путешественникъ, заѣхавшій въ Россію въ 1486 г. (Николай Поппель). По его свѣдѣніямъ, которыя онъ черезъ два года сообщилъ въ Москвѣ самому великому князю, «королю польскому очень не хочется, чтобы римскій папа сдѣлалъ великаго князя королемъ; онъ посылалъ къ папѣ великіе дары, чтобы папа этого не дѣлалъ... Ляхи очень боятся того, что если твоя милость будетъ королемъ, то тогда *вся Русская земля, которая подъ королемъ польскимъ, отступитъ отъ него и твоей милости будетъ послушна*».

На этотъ разъ, какъ и въ наше время, «черезчуръ большая забота о больномъ сдѣлалась причиной болѣзни». Московскій князь выслушалъ очень равнодушно увѣренія Поппеля, что не въ папѣ дѣло, что титулъ короля можетъ дать только императоръ, и что Иванъ можетъ, если захочетъ, получить этотъ титулъ на извѣстныхъ условіяхъ отъ его господина. Громкое имя «римскаго императора» было пустымъ звукомъ для невѣжественныхъ ушей Ивана III. Титулъ «короля» не только оставлялъ его вполнѣ равнодушнымъ, но даже раздражалъ, какъ знакъ какого-то подчиненія. Входя въ европейскую семью, онъ хотѣлъ, если не быть первымъ, то остаться самимъ по себѣ, совершенно несоизмѣримымъ съ установленными ступенями европейской іерархіи государей. Первые московскіе послы не хотѣли уступать въ чести ни Франціи, ни Испаніи, тогдашнимъ сильнѣйшимъ державамъ Европы. Въ соборѣ св. Марка и въ Ватиканскомъ дворцѣ они претендовали на первое мѣсто; въ Вѣнѣ они требовали, чтобы императоръ назначилъ въ женихи дочери московскаго князя — своего наслѣдника: герцоги и маркграфы были для нея слишкомъ ничтожными особами. Самая тонкая государ-

ственная мудрость не могла продиктовать Ивану болѣе ловкаго отвѣта, чѣмъ тотъ, который онъ далъ Поппелю въ своемъ наивномъ невѣдѣніи европейскихъ отношеній. «Что ты намъ говорилъ о королевствѣ», отвѣчали дипломаты московскаго князя германскому послу,— «то мы, Божіею милостіею, государи на своей землѣ изначала, отъ первыхъ своихъ прародителей, а поставленіе имѣемъ отъ Бога — какъ наши прародители, такъ и мы просимъ Бога, чтобы намъ и дѣтямъ нашимъ всегда далъ такъ и быть, какъ мы теперь государи на своей землѣ; а поставленія, какъ прежде мы не хотѣли ни отъ кого, такъ и теперь не хотимъ». Однако, скоро въ самой Москвѣ такая мотивировка, подсказанная старой житейской традиціей, показалась недостаточной; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ московскіе послы придумали для императора новый, болѣе пышный отвѣтъ, въ которомъ, какъ скоро увидимъ (стр. 45), уже играла роль принесенная изъ-за границы политическая идеологія.

Какъ бы то ни было, къ соблазнамъ западнаго государственнаго права Иванъ III остался холоденъ. Совершенно иначе отнесся онъ къ подсказанной Поппелемъ идеѣ «панруссизма». Мы не знаемъ, насколько основательны были страхи короля польскаго; но если бы даже у Ивана III не было раньше никакой мысли о томъ, чтобы добыть оружіемъ литовскую Русь, то теперь напоминанія и намеки изъ-за границы должны были запасть въ душу Ивана. Нельзя-ли было добыть «всю русскую землю, которая подъ королемъ польскимъ (и подъ великимъ княземъ литовскимъ)» и *безъ* королевскаго титула, безъ папской или императорской санкціи? Отвѣтъ на это заключался въ только что приведенныхъ словахъ, сказанныхъ Поппелю московскими дипломатами. Южная Русь вѣдь тоже когда-то, «изначала», принадлежала великому князю кіевскому и послѣдняго можно было, съ полнымъ основаніемъ, разсматривать, какъ «перваго прародителя», а его владѣнія считать законной московской «отчиной», «своей землей». Если даже предположить, что москвичи совсѣмъ забыли про кіевскій періодъ русской исторіи,—то теперь императоръ и папа должны были имъ объ этомъ напомнить. Вотъ почему Иванъ, отвергнувъ королевскій титулъ, такъ энергично ухватился за сдѣланные ему намеки на возможность претензіи съ его стороны владѣть всею Русью. И онъ отвѣчаетъ императорскому послу, Георгу фонъ-Турну (1490), что хочетъ съ «королемъ» Максимиліаномъ и любви, и дружбы, и «единачества», что готовъ «быть съ нимъ за одинъ на своихъ недруговъ», т.-е. на польскаго короля, съ тѣмъ, чтобы каждый «доставалъ своихъ отчинъ» у этого своего соперника: Максимиліанъ—Угорскаго королевства, а Иванъ—«Кіевскаго великаго княжества». И онъ вдругъ, какъ-то сразу оживляется, напавъ на этотъ рядъ мыслей. Онъ начинаетъ торопить императора, упрекаетъ его въ охлажденіи, убѣждаетъ «поотставить иныя свои дѣла и пристать къ тому своему дѣлу накрѣпко». Не дождавшись помощи Максимиліана,

онъ, наконецъ, рѣшается приняться за дѣло самъ, и ведетъ его съ упрямой настойчивостью, поражавшей постороннихъ наблюдателей и приведшей къ желанному концу. Въ 1493 году онъ формально принимаетъ титулъ, подсказанный историческими прецендентами и такъ кстати освѣженный въ памяти дипломатами папы и императора: титулъ «государя всея Руси». На протестъ литовскаго зятя, держащаго подъ собой половину этой «всея Руси», московскіе дипломаты отвѣчаютъ уже съ полной увѣренностью и апломбомъ, которые надолго остаются ихъ привилегіей. «Государь нашъ ничего высокаго не писалъ и ни какой новости не вставилъ. Онъ отъ начала—правый *урожденецъ-государь* всея Руси, чѣмъ его Богъ подаровалъ отъ дѣдовъ и прадѣдовъ». И по мѣрѣ своихъ мирныхъ захватовъ и военныхъ пріобрѣтеній, Иванъ III послѣдовательно развиваетъ разъ принятую точку зрѣнію. Все, отнятое у Литвы,—«наша вотчина». «Да и не то одно—наша вотчина, что нынѣ за нами: и вся русская земля, Божіей волей, изъ старины отъ нашихъ прародителей—наша вотчина», не забываютъ прибавлять всякій разъ москвичи. За годъ до смерти Ивана (1504) этотъ тезисъ развивается еще опредѣленнѣе. «Вся русская земля—Кіевъ и Смоленскъ и иные города—отъ нашихъ прародителей—наша вотчина, и онъ-бы (король) намъ русской земли *всей*—Кіева и Смоленска и *иныхъ городовъ*... поступился». Эта глухая ссылка на «иные» города даетъ возможность постоянно расширять требованія: такъ, въ 1517 г., уже при Василіи III, встрѣчаемъ формулу: Кіевъ, «*Полоцкъ*, *Витебскъ*» и, опять-таки, «иные города». На самаго хладнокровнаго читателя сухихъ посольскихъ донесеній этотъ тяжелый, размѣренный шагъ московскаго «каменнаго гостя» способенъ произвести впечатлѣніе какого-то давящаго кошмара.

Но что же сталось съ миссіей великаго князя, какъ защитника христіанства отъ «невѣрныхъ»? Въ этомъ отношеніи новый союзникъ такъ же разочаровалъ западное христіанство, какъ разочарованы были и сами его представители другъ въ другѣ. Вся разница была только въ томъ, что Иванъ III не чувствовалъ даже потребности и не давалъ себѣ труда прикрывать громкими фразами эгоистическую подкладку своей политики. Онъ не прочь былъ побороться противъ «поганства»; но онъ предусмотрительно спрашивалъ всегда: противъ «*котораго* поганства?» Какъ у европейскихъ государей, какъ у польско-литовскаго короля и князя, у Ивана III было и такое «поганство», съ которымъ онъ дружилъ—не только противъ другого «поганства» же, но и противъ своихъ христіанскихъ сосѣдей. Такимъ былъ его старый другъ, крымскій ханъ Менглы-герай, оказавшій Ивану незамѣнимыя услуги въ борьбѣ съ Золотой Ордой и съ польско-литовскимъ государствомъ. Какъ разъ въ то время крымскій ханъ сдѣлался вассаломъ турецкаго султана, только-что вытѣснившаго генуэзцевъ съ южнаго берега Крыма. Дружба Ивана съ Менглы-гераемъ открывала ему путь къ прямымъ сношеніямъ съ самимъ падишахомъ. Послѣ предварительной переписки

черезъ крымскаго пріятеля, московскій посланникъ (1494) появился на берегахъ Босфора. Въ столицѣ вождя правовѣрныхъ, какъ въ столицѣ римскаго императора, представитель московскаго князя игнорировалъ установившіеся обычаи этикета и требовалъ для себя исключительнаго положенія. Потомокъ пророка былъ жестоко шокированъ, что не помѣшало, однако, Высокой Портѣ отправить въ Москву отвѣтъ, наполненный самыми утонченными любезностями въ восточномъ вкусѣ, и дать, спустя нѣсколько лѣтъ, русскимъ купцамъ значительныя преимущества въ торговлѣ (1499). А еще черезъ нѣсколько лѣтъ (1503) на новое предложеніе помириться съ польско-литовскимъ государствомъ для общей войны противъ турокъ, Иванъ III отвѣчалъ папѣ, что онъ «какъ напередъ того за христіанство противъ поганства стоялъ, такъ и нынѣ и впредь, если дастъ Богъ, хочетъ за христіанство противъ поганства стоять»; но что въ войнѣ съ Литвой виноватъ не онъ, а его противникъ, и что «русская земля отъ нашихъ предковъ, изстарины, наша вотчина».

Такова была единственная идеологія, непосредственно извлеченная самимъ Иваномъ III изъ сношеній съ западно-европейскими дипломатами. Но самый фактъ этихъ сношеній долженъ былъ послужить источникомъ для другихъ идеологій, и, прежде всего, для дальнѣйшаго развитія той, которую мы только-что отмѣтили. Чтобы прослѣдить это дальнѣйшее развитіе русской національной идеологіи, мы должны вернуться изъ Европы въ Москву,—на этотъ разъ обогащенную плодами своихъ первыхъ сношеній съ Европой.

Здѣсь мы прежде всего встрѣтимся съ вліяніемъ новаго элемента, до сихъ поръ мало отмѣченнаго учеными. Итальянцы и греки были самыми подходящими людьми, чтобы завести внѣшнія сношенія Россіи съ Европой. Но чтобы воздѣйствовать на русскую національную психологію, многаго не хватало нетолько первымъ, но и вторымъ. У грековъ былъ свой національный патріотизмъ, узкій и исключительный, проводившій рѣзкую границу между своими и чужими. Если еще и въ настоящее время они не перестали считать русскихъ, по старой привычкѣ, «варварами», то можно себѣ представить, что было въ эпоху Ивана III. Принужденные льстить и кланяться, выпрашивая подачекъ у московскаго государя, они затаивали въ душѣ презрѣніе и недоброжелательство къ своимъ покровителямъ-дикарямъ. Московскіе люди платили имъ за эти чувства подозрительностью и недовѣріемъ. Несравненно ближе чувствовали себя къ русскимъ *южные славяне*: они-то и явились самыми естественными воспитателями русскаго національнаго чувства въ его первыхъ проявленіяхъ въ разсматриваемую нами эпоху.

Въ нихъ самихъ вся ихъ исторія воспитала это національное чувство и періодически приводила къ самому рѣзкому обостренію его. И всякій разъ причиной такого обостренія національнаго чувства являлась вражда южныхъ славянъ къ грекамъ. Во всѣхъ случаяхъ, когда среди

балканскихъ славянъ обнаруживалось сколько-нибудь самостоятельное культурное движеніе, въ основѣ его всегда лежала ненависть къ цивилизаціи «ромеевъ», или, точнѣе говоря, къ проявленіямъ ихъ національнаго высокомѣрія. Цѣлью подобныхъ національныхъ движеній всегда становилась политическая борьба за независимость отъ византійскаго императора и религіозная борьба за независимость отъ константинопольскаго патріарха. Свой собственный, славянскій императоръ и свой патріархъ—таковы были вѣковѣчные идеалы южно-славянскихъ національныхъ стремленій.

Въ послѣдній разъ передъ турецкимъ завоеваніемъ это національное чувство вспыхнуло въ XIV в. при болгарскомъ Александрѣ и сербскомъ Душанѣ. Оба носились съ мыслью—завоевать самимъ Константинополь и водворить на мѣстѣ Византіи славянскія державы: сербско-греческую и болгаро-греческую. Для начала, оба стали титуловать себя «царями» и «самодержцами», а Стефанъ Душанъ и формально короновался (1346). Что касается церковной независимости, въ Болгаріи самостоятельное патріаршество (сперва въ Охридѣ, потомъ въ Тырновѣ) существовало уже издавна. Душанъ завелъ у себя вновь такого же самостоятельнаго патріарха для сербовъ. Византійскій этикетъ полновластно воцарился при дворахъ славянскихъ государей, давно уже привыкшихъ величаться византійскими придворными титулами и окружать себя внѣшними знаками почета, принятыми при императорскомъ дворѣ.

Какъ видимъ, программа для Москвы, новой наслѣдницы Царьграда, была во всѣхъ главныхъ чертахъ намѣчена юго-славянскими прецедентами. Намѣчена была тогда же и тамъ же и самая идеологія, пригодная для Москвы въ ея новомъ положеніи.

Въ одной болгарской рукописи средины XIV вѣка, писанной по повелѣнію «царя и самодержца» Іоанна Александра, мы уже находимъ не только тѣ же самыя мысли, которыя полтора вѣка спустя найдемъ въ Москвѣ, но даже и тѣ же самыя выраженія. Писецъ вставляетъ въ текстъ старой византійской хроники (Манассіи) вотъ какую новую замѣтку. «Все это приключилось съ *старымъ* Римомъ; нашъ же *новый* Царьградъ стоитъ и растетъ, крѣпится и омлаждается. Пусть онъ и до конца растетъ,—о Царь, всѣми царствующій,—принявши (въ себя) такого свѣтлаго и свѣтоноснаго царя, великаго владыку и изряднаго побѣдоносца, происходящаго изъ корени Асѣня, преизящнаго царя болгаръ,—я разумѣю Александра прекроткаго, и милостиваго, и мнихолюбиваго, нищихъ кормильца, великаго царя болгаръ, чью державу да исчислятъ неисчислимыя солнца». По смыслу этой фразы, подъ «новымъ Царьградомъ» надо разумѣть болгарскую столицу Іоанна Александра, многократно воспѣтый преславный градъ Тырновъ.

Трубные звуки національнаго величанія «царя» и столицы—прерываются, правда, по временамъ раскатами турецкаго грома, сперва отдаленными, потомъ все болѣе близкими. На первыхъ порахъ, однако, это не

мѣняетъ темы національнаго гимна, а только вноситъ новый аккомпанементъ,—то радостный и торжественный, то мистическій и мрачный. Славянскій царь уже раньше представлялся въ національныхъ легендахъ возстановителемъ всеобщаго мира и благоденствія. Теперь его начинаютъ сближать съ Александромъ Македонскимъ, его тезкой по имени, и къ нему относятъ древнія пророчества. При немъ выйдутъ изъ горъ запертые Александромъ народы, Гогъ и Магогъ (въ послѣднихъ видятъ турокъ); никто не устоитъ противъ нихъ, но Господь пошлетъ архистратига, который перебьетъ ихъ всѣхъ, а тамъ наступитъ скоро и антихристово пришествіе и кончина міра.

Событія мало-по-малу разрушили до основанія эти надежды и эту эсхатологію. Прежде всего не сбылись ожиданія болгарскаго переписчика Манассіи. «Новый Царьградъ» не устоялъ «до конца». Турки пришли и взяли все. И «новый», и «старый» Царьградъ раздѣлили участь «стараго Рима». Оскорбленное національное чувство не могло, конечно, примириться съ такимъ плачевнымъ исходомъ. Отчаявшись въ возможности побѣдить своими силами, юго-славянская интеллигенція перенесла свои упованія на сосѣднихъ государей, до которыхъ доходила очередь борьбы съ турками послѣ потери Балканскаго полуострова. Поочередно, балканскіе поэты и политики, дипломаты и духовныя лица возлагали надежды то на венгровъ, то на поляковъ. Но время шло, и эти надежды точно такъ же рушились, какъ и мечты о національной державѣ. Ближайшіе сосѣди оказывались безсильными помочь балканскимъ славянамъ. Тогда-то ревностные патріоты принялись искать помощи дальше, на сѣверѣ Европы. Таинственная, мало извѣстная тогда Москва должна была явиться въ этой роли, предназначенной когда-то для стольнаго града Тырнова; единоплеменный и единовѣрный московскій князь занялъ мѣсто національнаго «царя и самодержца», «изряднаго побѣдоносца», которое оказалось не по силамъ государямъ ближайшихъ странъ. Взамѣнъ тѣхъ услугъ, которыхъ отъ него ожидали, на него перенесли теперь древнія пророчества, его окружили ореоломъ «единственнаго православнаго царя во всей вселенной», Москву сдѣлали «новымъ Царьградомъ» и «третьимъ Римомъ», а въ москвичахъ впервые пробудили всѣмъ этимъ болѣе сознательное національное чувство.

Въ посредникахъ между Москвой и Тырновомъ недостатка не было. Уже въ самую эпоху расцвѣта національнаго самосознанія на Балканскомъ полуостровѣ, въ XIV вѣкѣ, отдаленные отголоски этого славянскаго движенія проникли до Москвы и оказали здѣсь кое-какое вліяніе. Навязанный московскому князю изъ Константинополя болгаринъ митр. Кипріанъ, дважды прогнанный изъ Москвы сторонниками московской независимости, кончилъ тѣмъ, что примирился съ Василіемъ I и посвятилъ остатокъ дней тому же дѣлу, надъ которымъ трудились свои, московскіе созидатели, Петръ и Алексѣй. Онъ первый примѣнилъ литературную манеру, выработанную въ болгарскомъ Тырновѣ знаменитымъ

Евфиміемъ, къ возвеличенію памяти митрополита—сотрудника Калиты. Скромный, сдержанный стиль прежнихъ русскихъ «списателей» житій не позволялъ разгуляться фантазіи: напротивъ, при новой литературной манерѣ церковнаго витійства, заимствованной юго-славянами изъ Византіи— національной легендѣ открывался широкій доступъ въ духовную литературу,—и вмѣстѣ съ тѣмъ, создавалось новое, могущественное средство въ рукахъ московскихъ князей для пропаганды новой религіозно-политической идеологіи. На примѣрѣ «житія» митрополита Петра Кипріанъ показалъ москвичамъ, какъ надо дѣлать это дѣло. Прежній русскій біографъ, Прохоръ, выражался, напримѣръ, о Москвѣ, какъ о «градѣ *честномъ кротостію*». Подъ перомъ Кипріана это выраженіе превращается въ «*градъ славный*, зовомый Москвой». Онъ вноситъ въ житіе Петра и ту знаменитую легенду, по которой будущая роль «славнаго града» была провидѣна случайнымъ гостемъ Калиты. «Если меня послушаешься», говорилъ, будто бы, Калитѣ митр. Петръ, «и построишь храмъ пречистой Богородицы, то и самъ прославишься больше другихъ князей, и сыновья и внуки твои, и городъ этотъ славенъ будетъ, святители станутъ въ немъ жить, и подчинитъ онъ себѣ всѣ остальные грады».

Послѣ паденія Константинополя, особенно же послѣ потери надеждъ на ближайшихъ сосѣдей, т.-е. во второй половинѣ XV вѣка, юго-славяне появляются въ Россіи въ еще большемъ количествѣ и смѣло идутъ по стопамъ знаменитаго іерарха, своего земляка и предшественника, создавая отдѣльные элементы національной легенды и проводя ихъ въ литературу при помощи тенденціозныхъ вставокъ или цѣльныхъ сказаній. До самаго послѣдняго времени эта литературная работа южныхъ славянъ оставалась анонимной; только въ наше время анонимы начинаютъ вскрываться, и по тому, что удалось обнаружить, можно составить себѣ нѣкоторое понятіе о происхожденіи цѣлой группы аналогичныхъ идей, вторгнувшихся замѣтной струей въ нашу политическую литературу конца XV в. и начала XVI в., или лучше сказать, впервые создавшихъ на Руси политическую литературу.

Начинается съ того, конечно, что къ московскому князю примѣняются понятія и идеи, установившіяся относительно юго-славянскихъ государей. Такъ, предваряя событія, сперва юго-славянское, а потомъ и русское духовенство начинаетъ безъ стѣсненія титуловать князя «царемъ», обильно уснащая свои обращенія къ нему всевозможными эпитетами славяпско-византійскаго происхожденія. Онъ «боговѣнчанный», онъ «благородный», «благовѣрный», «великодержавный», онъ «богошественный поспѣшникъ истины», «высочайшій исходатай благовѣрія» и т. д. Одинъ духовный писатель, оказавшійся, по новымъ изслѣдованіямъ, не кѣмъ инымъ, какъ извѣстнымъ «списателемъ житій XV вѣка по манерѣ Евфимія Тырновскаго, сербомъ Пахоміемъ, даже влагаетъ въ уста самого греческаго царя, Іоанна Палеолога, признаніе

за московскимъ государемъ царскаго титула—причемъ объясняется и то, почему титулъ этотъ еще не принятъ оффиціально. Въ Москвѣ, по этому мнимому заявленію византійскаго императора (передъ Флорентійскимъ соборомъ), сохраняется «большее православіе» и «высшее христіанство»; и только «смиренія ради и по величеству разума» московскій князь «не зовется царемъ, но княземъ великимъ русскимъ».

Затѣмъ на московскаго князя, какъ нѣкогда на болгарскаго Іоанна Александра, переносятся всѣ предсказанія и пророчества. «*Русый* родъ», которому, по греческимъ преданіямъ, суждено побѣдить Измаила и овладѣть, въ концѣ концовъ, семью холмами Царяграда,—превращается теперь въ «*русскій* родъ». «Если всѣ преждереченныя Меѳодіемъ Патарскимъ и Львомъ Премудрымъ *) знаменія о градѣ семъ сбылись», — читалъ русскій читатель, — «то и послѣднія не минуютъ, но тоже сбудутся; ибо писано: русскій родъ всего Измаила побѣдитъ и Седмихолмный возьметъ, и въ немъ воцарится». Такова орѳографическая ошибка, положившая начало русской «исторической миссіи» относительно св. Софіи Цареградской. Въ умахъ широкой публики, подобная легенда, очевидно, могла произвести болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ признаніе венеціанскаго сената или торговля своимъ титуломъ дяди Софіи Палеологъ,—извѣстныя только двору и дипломатамъ.

Однако, дожидаться осуществленія легендарныхъ или юридическихъ правъ на Константинополь — вовсе не входило въ разсчеты московской политики, тѣмъ болѣе, что легенда, по обыкновенію, связывала это событіе съ послѣдними временами (наступленіе ихъ ожидалось тогда, правда, уже въ концѣ XV в.). Съ своей обычной практичностью, московскій князь спѣшитъ учесть долгосрочный вексель и пустить выручку немедленно въ оборотъ. Отблескъ св. Софіи долженъ былъ упасть на Москву и сообщить ей новый ореолъ дома и за-границей. И на этомъ пути вдохновленное юго-славянскими идеями духовенство первое пошло впередъ.

Мы видѣли, какъ болгарскій литераторъ пытался въ срединѣ XIV вѣка перенести славу «стараго Рима» и «стараго Царьграда» на «новый Царьградъ»—Тырновъ. Теперь эта красивая метафора, заключавшая въ себѣ цѣлую историческую схему, цѣлую философію всемірной исторіи, безъ труда переносится на Москву. Міръ совсѣмъ не кончается на седьмой тысячѣ лѣтъ отъ сотворенія; напротивъ, со вступленіемъ въ восьмую тысячу (1492 годъ) начинается новый періодъ міровой исторіи, и этотъ періодъ характеризуется именемъ Москвы. Эти идеи впервые развиваются въ русской литературѣ въ сочиненіи, написанномъ въ этотъ самый критическій годъ и имѣвшемъ цѣлью опровергнуть распространенные въ публикѣ страхи передъ кончиной міра: въ пасха-

*) Подъ этими двумя именами ходили наиболѣе распространенныя пророчества о судьбѣ Царяграда и о послѣднихъ временахъ.

лін на восьмую тысячу лѣтъ, составленной митрополитомъ Зосимой. «Царь Константинъ создалъ новый Римъ—Царьградъ,—замѣчаетъ Зосима,—а государь и самодержецъ всея Руси Иванъ Васильевичъ, «новый царь Константинъ», положилъ начало «новому Константинограду—Москвѣ». Какъ бы для того, чтобы подчеркнуть юго-славянское происхожденіе этихъ идей, другой русскій авторъ, извѣстный псковскій инокъ Филоѳей, прямо воспользовался для выраженія ихъ знакомой намъ формулой болгарскаго «списателя» XIV вѣка. Въ 1511 г. царскій дьякъ Мунехинъ привезъ ему во Псковъ изъ Москвы новинку—«Хронографъ» или очеркъ юго-славянской исторіи въ связи съ византійской и русской, составленный для русской публики въ 1442 году упомянутымъ выше списателемъ житій, ученикомъ Евфимія Тырновскаго, сербомъ Пахоміемъ. Филоѳей рѣшилъ передѣлать этотъ хронографъ для своихъ псковичей, и кончивъ (1512) передѣлку, прибавилъ въ концѣ свое собственное заключеніе. По его идеѣ, это резюме должно было подчеркивать тотъ главный философско-историческій выводъ, который читатель долженъ былъ сдѣлать изъ чтенія подобранныхъ сербомъ историческихъ данныхъ, доведенныхъ до паденія Царяграда. Вотъ этотъ выводъ, соединяющій въ одно цѣлое древнія пророчества и новыя мечты. «Православные питаютъ надежду, что, послѣ достаточнаго наказанія, снова всесильный Господь возжетъ во тьмѣ злочестивыхъ властей погребенную, словно въ пеплѣ, искру благочестія, и попалитъ, какъ терніи, царства измаильтянъ злочестивыхъ, и просвѣтитъ свѣтъ благочестія и вновь поставитъ благочестіе и царя православнаго. Ибо всѣ эти благочестивыя царства (о которыхъ разсказывалъ хронографъ), греческое и сербское, босенское и албанское, и иныя за множество грѣховъ нашихъ Божіимъ попущеніемъ безбожные турки поплѣнили и въ запустѣніе привели и подъ свою власть покорили. Наша же россійская земля, Божіей милостью и молитвами Пречистой Богородицы и всѣхъ святыхъ чудотворцевъ, растетъ и молодѣетъ и возвышается. Дай ей, Христе милостивый, расти и молодѣть и шириться до скончанія вѣка».

Не удовольствовавшись этимъ исповѣданіемъ своей политической вѣры въ «Хронографѣ», Филоѳей принимается за настоящую пропаганду новыхъ ученій и развиваетъ ихъ въ цѣломъ рядѣ посланій. Онъ пишетъ (1517) упомянутому уже дьяку Мисюрю Мунехину, одному изъ выдающихся интеллигентныхъ людей того времени, который около 1493 года самъ путешествовалъ на православномъ востокѣ и уже этимъ путешествіемъ втянутъ былъ въ кругъ новыхъ идей. Онъ пишетъ также и самому великому князю (между 1514—1521). Въ своихъ посланіяхъ онъ особенно подчеркиваетъ ту мысль, что политическое паденіе православныхъ царствъ связано съ ихъ религіозной измѣной и что политическое господство Москвы есть слѣдствіе ея религіозной непоколебимости. «Девяносто лѣтъ прошло,—пишетъ онъ Мунехину,—какъ грече

ское царство разорено, и оно не воскреснетъ, такъ какъ греки предали православную вѣру въ латинство». Подобнымъ же образомъ и «всѣ христіанскія царства пришли въ конецъ и сошлись въ единое царство нашего государя: въ *россійское* царство, какъ предсказали пророческія книги». И этому «нынѣшнему православному царствію пресвѣтлѣйшаго и высокостольнѣйшаго государя нашего,—единаго во всей поднебесной христіанамъ царя»,—нѣтъ конца, какъ нѣтъ конца православію на землѣ. Онъ является, по необходимости, единственнымъ уцѣлѣвшимъ въ мірѣ «браздодержателемъ святыхъ Божіихъ престоловъ святой вселенской церкви», представительницей которой служитъ, «вмѣсто римской и константинопольской, церковь святаго и славнаго Успенія Богородицы въ богоспасенномъ градѣ Москвѣ, которая одна во всей вселенной паче солнца свѣтится». Однимъ словомъ, по резюмирующей формулѣ Филоѳея, «два Рима пали, третій стоитъ, а четвертому не бывать». И онъ усердно старается натвердить эти религіозно-политическія аксіомы великому князю Василію *).

Въ другомъ мѣстѣ мы говорили о томъ, какія національно-религіозныя послѣдствія вытекали изъ только-что изложенныхъ теорій. Эти теоріи вели, въ концѣ концовъ, къ полной національизаціи русской церкви. Теперь намъ важнѣе другая сторона ихъ, именно та національно-политическая санкція, которая изъ нихъ вытекала. И въ этомъ смыслѣ намъ остается прослѣдить еще одинъ важный шагъ, который сдѣлали эти завезенныя съ юга теоріи уже на русской почвѣ, чтобы приноровиться къ мѣстной дѣйствительности.

Московскій «царь и самодержецъ», по новой теоріи, являлся прямымъ продолжателемъ дѣла царя Константина. Однако же, скачекъ былъ слишкомъ великъ—отъ «стараго» Константина къ «новому». Затѣмъ, это преемство представлялось *логическимъ* результатомъ событій въ православномъ мірѣ; но, для полной убѣдительности и наглядности, надо было представить его *историческимъ* фактомъ, совершившимся въ пространствѣ и времени: въ опредѣленный моментъ, въ извѣстномъ мѣстѣ. То же самое нужно было и для того, чтобы согласовать югославянскую формулу политическихъ притязаній Москвы—съ мѣстной, московской. Въ своей реальной политикѣ московскій князь выступалъ въ качествѣ наслѣдника своихъ «прародителей»; онъ добивался этого наслѣдства, «великаго княжества Кіевскаго», какъ своей «отчины и дѣдины». Онъ готовъ былъ, конечно, фигурировать и въ роли наслѣдника царя Константина, но съ тѣмъ только условіемъ, чтобы это идейное наслѣдство не затемняло другого, несравненно болѣе реальнаго и доступнаго. Итакъ, надо было теперь балканскую идеологію примирить съ московской политикой.

---

*) См. цитаты изъ письма Филоѳея къ государю въ «Очеркахъ по исторіи русской культуры», т. II, стр. 23.

Задача была разрѣшена блистательно, при помощи все тѣхъ же пришельцевъ съ христіанскаго востока. Чтобы византійское наслѣдство не затемняло кіевскаго, лучше всего было—самого кіевскаго «прародителя» надѣлить этимъ византійскимъ наслѣдствомъ, связать его непосредственно съ великими именами древности. Изъ двухъ кіевскихъ прародителей,—двухъ Владиміровъ, крѣпче всѣхъ другихъ князей засѣвшихъ въ народной памяти,—къ кому роль наслѣдника византійской власти могла идти лучше, какъ не къ тому, кто носилъ греческое прозвище Мономаха, напоминавшее о его родственныхъ связяхъ съ Византіей?

Выдумывать фантастическія генеалогіи для оправданія національныхъ политическихъ притязаній—не было новостью для славянскихъ литераторовъ. Они еще въ XI—XII вѣкѣ вывели болгарскихъ Асѣней отъ «знатнаго римскаго рода», а въ XIV вѣкѣ породнили сербскихъ Нѣманей съ Константиномъ Великимъ и даже съ кесаремъ Августомъ. Безъ сомнѣнія, и Иванъ III чувствовалъ уже потребность въ такихъ же, болѣе пышныхъ историческихъ связяхъ, которыя бы могли лучше поставить его на одну высоту съ императоромъ, чѣмъ это могла сдѣлать простая ссылка на кіевскихъ прародителей. Онъ уже дѣлаетъ и оффиціальную попытку связать себя съ Царьградомъ и Римомъ, и притомъ не прямо, какъ легко было бы сдѣлать мужу Софьи Палеологъ, и именно черезъ своихъ «прародителей». Онъ не рѣшается еще говорить о родствѣ и о формальной передачѣ власти, но вотъ что уже говорятъ его послы германскому императору въ 1489 году, всего лишь нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ посольства Поппеля (ср. выше стр. 36). «Во всѣхъ земляхъ извѣстно,—надѣемся и вамъ вѣдомо, что государь нашъ—великій государь, урожденный изначала отъ своихъ прародителей, *и что прародители* его отъ давнихъ лѣтъ были въ пріятельствѣ и въ дружбѣ съ *прежними римскими царями*, которые Римъ отдали папѣ, а сами царствовали въ Византіи». Въ началѣ XVI в. (1513—1523) наконецъ, легенда принимаетъ конкретныя формы: появляется въ Москвѣ цѣлое сказаніе «о князьяхъ владимірскихъ», удовлетворяющее всѣмъ только-что указаннымъ требованіямъ московскаго правительства. «Августъ кесарь», по этому сказанію, ставитъ «Пруса, сродника своего» на берегахъ Вислы; потомокъ этого Пруса въ четвертомъ колѣнѣ, Рюрикъ, по приглашенію «мужей Новгородскихъ», переселяется изъ «Прусской земли» на Русь. Четвертый потомокъ Рюрика—Владиміръ святой, а четвертый потомокъ Владимира Святаго—Владимиръ Мономахъ,—и это прозвище даетъ составителю сказанія поводъ разсказать цѣлую исторію, для которой, собственно, и придумано все сказаніе. Владимиръ, по совѣту съ «князьями своими и съ боярами и съ вельможами», предпринимаетъ побѣдоносный походъ «на Ѳракію». Тогдашній византійскій царь Константинъ Мономахъ, занятый борьбой «съ персами и съ латинами», шлетъ къ нему пословъ съ дарами: съ «коробочкой сердо-

ликовой, изъ которой Августъ кесарь римскій веселился», съ ожерельемъ, «сирѣчь, святыми бармами» съ своихъ плечъ, съ золотой цѣпью и «иными многими дарами царскими». Послы просятъ «боголюбиваго и благовѣрнаго князя» принять «сіи честные дары,—царскій жребій на славу и честь и на вѣнчаніе» его *«вольнаго и самодержавнаго* царства», уготованный ему «отъ начатка вѣчныхъ лѣтъ» его «родства и поколѣнія»,—«чтобы церкви Божіи были безмятежны и все православіе пребывало въ покоѣ подъ властью» византійскаго «царства» и русскаго «вольнаго самодержавства»; чтобы русскій князь, «вѣнчанный симъ царскимъ вѣнцомъ», «назывался боговѣнчаннымъ *царемъ*». «Съ тѣхъ поръ,—прибавляетъ сочинитель сказанія нужное ему заключеніе,—и донынѣ великіе князья владимірскіе, когда ставятся на великое княженіе россійское, вѣнчаются тѣмъ царскимъ вѣнцомъ, что прислалъ греческій царь Константинъ Мономахъ».

«Сказаніе о князьяхъ владимірскихъ» было логическимъ выводомъ изъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя распространялись на Руси юго-славянскимъ духовенствомъ со второй половины XV вѣка. Однако же, несмотря на всю важность этихъ идей для правительства, несмотря на оффиціозный характеръ всего этого литературнаго творчества, московская государственная власть не сразу рѣшилась открыто воспользоваться легендой и придать новымъ политическимъ взглядамъ оффиціальную санкцію.

Надо прибавить, что въ эпоху Ивана III эти взгляды находились еще въ процессѣ выработки. Вмѣстѣ съ этой самодержавно-православной струей изъ того же юго-славянскаго міра вынесена была другая, прямо противоположная, рѣзко оппозиціонная. Броженіе оффиціозныхъ и оппозиціонныхъ элементовъ продолжалось съ конца XV вѣка до середины XVI и только къ этому послѣднему моменту инвентарь идей, имѣющихъ войти въ національное сознаніе, окончательно опредѣлился и закрѣпленъ былъ оффиціальными правительственными актами. Раньше, чѣмъ мы остановимся на этомъ окончательномъ итогѣ, мы должны поэтому познакомиться съ перешедшими на Русь оппозиціонными идеями и прослѣдить ихъ судьбу въ новой для нихъ обстановкѣ.

Литература по исторіи политическихъ идеологій XV вѣка, какъ и вообще литература по исторіи русскаго національнаго самосознанія, грѣшитъ тѣмъ основнымъ недостаткомъ, что большинство изслѣдователей оказываются заинтересованными въ томъ или другомъ содержаніи этого самосознанія, считая послѣднее—своего рода высшей инстанціею въ вопросахъ національной жизни, не допускающею дальнѣйшихъ обжалованій. Такъ, напр., новѣйшее сочиненіе по исторіи національной политики Ивана III (*Е. Церетели,* Елена Ивановна, великая княгиня литовская, русская, королева польская. Спб. 1898) смотритъ на эту политику глазами самого Ивана III. Гораздо научнѣе и безпристрастнѣе, несмотря на католическія тенденціи автора, составлена сводная работа о. *П. Пирлинга* (S. J.) «La Russie et le saint Siége», Etudes diplomatiques, Paris, 1896. Въ первый томъ этого почтеннаго труда

вошла и изданная раньше въ русскомъ переводѣ монографія Пирлинга: Россія и Востокъ, Спб. 1892. Завѣщаніе Симеона см. въ Собр. грамотъ и договоровъ, т. I. О принятіи Михаиломъ Ярославичемъ титула в. к. всея Руси см. Библіографъ 1889, № 1, замѣтку: «кто былъ первый великій князь всея Руси». Личность Юрія Траханіота и его положеніе до пріѣзда въ Россію только-что выяснились теперь, см. замѣтку г. Peregrinus въ Новомъ Времени, 19 января 1900 г. о протоколѣ Ѳомы Палеолога по поводу передачи папѣ Пію II мощей св. Іоанна Крестителя. Протоколъ, хранящійся, повидимому, при мощахъ въ Сьенѣ, подписанъ: Georgius Trachagnoti, magister domuss praetati (?) illustrissimi. Эта подробность помогаетъ уяснить ходъ сватовства Ивана III, ср. *Pierling*, I, 132—133. Подлинные документы дипломатіи Ивана III см. въ «Сборникѣ историческаго общества», т. 35 и въ «Памятникахъ дипломатическихъ сношеній», ч. I, см. также статью *В. Бауера*, въ журналѣ Министерства Нар. Просв., ч. CXLVIII, отд. 2: «Сношенія Россіи съ германскими императорами въ концѣ XV и началѣ XVI столѣтій». О южно-славянскихъ политическихъ стремленіяхъ см. *К. Радченко*, «Религіозное и литературное движеніе въ Болгаріи въ эпоху передъ Турецкимъ завоеваніемъ», Кіевъ, 1898. О славянскихъ надеждахъ на сосѣдей (венгровъ и поляковъ) см. *Іосифа Первольфа*, «Славяне, ихъ взаимныя отношенія и связи», Варшава, 1888. Взгляды русскаго и южно-русскаго духовенства на государственную власть см. въ изслѣдованіи *М. Дьяконова*, «Власть московскихъ государей», Спб. 1889 и въ *его же* статьѣ: «Къ исторіи древнерусскихъ церковныхъ отношеній», «Историческое обозрѣніе» т. III. О литературной манерѣ Кипріана и Пахомія см. *В. Ключевскаго*, «Древне-русскія житія святыхъ», М. 1871 (о ихъ учителѣ Евфиміи Тырновскомъ см. упомянутую книгу Радченка). Предположеніе о составленіи хронографа 1512 года въ первоначальной формѣ (1442) Пахоміемъ и о передѣлкѣ его Филоѳеемъ выставлено и очень солидно аргументировано акад. *А. А. Шахматовымъ*; см. его статью «Къ вопросу о происхожденіи хронографа», Спб. 1899 и *его же* «Путешествіе М. Г. Мисюря Мунехина на востокъ и хронографъ редакціи 1512 г.», Спб. 1899, въ «Извѣстіяхъ отдѣленія русскаго языка и словесности И. А. Н.» т. IV, кн. 1. Текстъ приписки Филоѳея къ хронографу—въ «Изборникѣ» *Андрея Попова*, М. 1869. Текстъ его посланій—въ «Православномъ Собесѣдникѣ», 1861, II и 1863, I. Новѣйшее изданіе текста см. въ приложеніи къ обширному изслѣдованію *В. Малинина*, «Старецъ Елеазарова монастыря Филоѳей и его посланія», Кіевъ, 1901. Къ сожалѣнію, авторъ не обратилъ вниманія на юго-славянскія параллели. Изслѣдованіе о происхожденіи «Сказанія о князехъ Владимірскихъ», указаніе на связь его съ юго-славянскими идеями и самый текстъ памятника см. въ книгѣ *Ив. Жданова*, «Русскій былевой эпосъ», I—V, Спб. 1895.

III.

Оппозиція XVI вѣка: религіозная, политическая и соціальная.—Источники религіозной оппозиціи: еретическое и мистическое движеніе на Балканскомъ полуостровѣ и на Аѳонѣ.—Нилъ Сорскій переноситъ на Русь теорію «исихастовъ».—Эксплуатація этой теоріи государственной властью.—Неудача секуляризаціи и разрывъ Ивана III съ еретиками и нестяжателями.—Новый характеръ борьбы партій при Василіи III: компромиссы и политическая окраска споровъ.—Дѣло Серапіона и выясненіе политической роли «осифлянъ».—Союзъ съ ними государственной власти.—Союзъ «нестяжателей» съ политической оппозиціей.—Составные элементы послѣдней.—Положеніе боярства и его политическія стремленія.—Полемика Ивана IV съ Курбскимъ, какъ выраженіе идеаловъ спорившихъ сторонъ.—Соединеніе политическаго идеала оппозиціи съ религіознымъ.—Дальнѣйшая разработка его въ «Бесѣдѣ валаамскихъ чудотворцевъ».—Попытка осуществленія оппозиціонной программы на соборахъ средины XVI вѣка.—Ея неполнота.—Соціальная оппозиція, какъ мотивъ религіозной полемики, какъ аргументъ въ рукахъ самодержавной власти (Сказаніе Пересвѣтова).—Ея непосредственное и самостоятельное выраженіе въ событіяхъ смутнаго времени.

Мы видѣли, какъ сама жизнь подготовила почву для *націоналистическихъ* идеологій въ московскомъ государствѣ XV в. и какъ на подготовленной такимъ образомъ почвѣ начали быстро прививаться занесенныя въ Москву изъ юго-славянскихъ земель политическія идеи. Судьба *оппозиціонныхъ* идеологій на Руси XV и XVI вѣка была совершенно противоположная. Занесенныя отчасти изъ чужеземнаго источника, онѣ не нашли для себя готовой почвы и послѣ недолгой борьбы должны были очистить поле сраженія передъ побѣдоноснымъ противникомъ. Исторію этой борьбы и этой побѣды намъ предстоитъ теперь прослѣдить.

Характеренъ уже самый порядокъ, въ которомъ развиваются оппозиціонныя идеологіи на Руси XV и XVI столѣтія. Въ началѣ онѣ носятъ преимущественно религіозный оттѣнокъ. Потомъ къ религіозному элементу присоединяется политическій. Наконецъ,—притомъ независимо отъ обоихъ предыдущихъ—встрѣчаемъ и элементъ соціальный.

Слѣдуя этому порядку, и мы начнемъ нашъ разсказъ съ наиболѣе отвлеченной оппозиціи, чтобы закончить наиболѣе стихійной.

Какъ извѣстно, религіозное вольнодумство на Руси впервые проявляется уже въ XIV и XV столѣтіи въ наиболѣе культурныхъ областяхъ: Псковѣ, Новгородѣ и Кіевѣ. Изслѣдователи усердно искали источниковъ этого вольнодумства на западѣ и на югѣ, въ сектахъ средне-

вѣковой Германіи и въ богомильствѣ. Второе объясненіе апріори кажется болѣе вѣроятнымъ, такъ какъ къ воздѣйствію запада даже самыя культурныя области тогдашней Руси не были готовы, особенно въ области религіозной мысли. Первая русская ересь должна была явиться съ православнаго востока.

Это соображеніе приводитъ насъ къ тому источнику, откуда мы только-что выводили политическія идеологіи московской Руси—къ Балканскому полуострову. Среди религіознаго броженія умовъ, которое господствовало въ XIV вѣкѣ на Балканскомъ полуостровѣ, намъ важно отмѣтить два направленія, которыя стоятъ въ очень близкой связи съ русскими движеніями того же времени. Я разумѣю направленіе *еретическое* и направленіе *православно-мистическое*. Прямою ересью было возродившееся въ это время богомильство и стоявшее, повидимому, въ какой-то связи съ нимъ раціоналистическое ученіе, распространившееся среди евреевъ Балканскаго полуострова, тогда уже довольно многочисленныхъ. По отрывочнымъ даннымъ нашихъ источниковъ,—болгарскихъ и солунскихъ еретиковъ-евреевъ XIV вѣка обвиняли какъ разъ въ томъ самомъ, въ чемъ обвинялись и русскіе «жидовствующіе», а именно, въ непризнаніи божественнаго происхожденія Спасителя отъ Маріи Дѣвы, въ отрицаніи иконъ, въ непочитаніи святыхъ и мощей, въ непризнаніи воскресенія мертвыхъ. Было бы странно, конечно, требовать, чтобы евреи признавали все это. Но можно догадываться, что рѣчь идетъ здѣсь объ особой сектѣ еврейскихъ протестантовъ, не признававшихъ еврейскаго «преданія» (Талмуда) и требовавшихъ возвращенія къ «писанію», т.-е. ветхому завѣту. Этимъ самымъ эта секта сближалась съ христіанами, принимала иногда часть христіанскихъ взглядовъ и, въ свою очередь, оказывала на христіанъ вліяніе—въ смыслѣ раціонализма и строгаго единобожія. Происхожденіе этого еврейскаго протестантизма «караитовъ» или «караимовъ» скрывается въ глубокой древности; повидимому, онъ былъ очень распространенъ среди испанскихъ евреевъ или «сефардовъ» и въ ихъ колоніяхъ въ южной Европѣ. При обширныхъ торговыхъ сношеніяхъ евреевъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что караитская пропаганда перекинулась изъ крупнаго торговаго центра сефардовъ, какимъ была уже въ то время Солунь,—въ Крымъ, въ Кафу, къ тамошнимъ караимамъ; отсюда, а также и черезъ сухопутную границу, тѣ же ученія проникали въ Кіевъ и къ литовскимъ евреямъ *); а изъ Кіева, уже по прямымъ показаніямъ источниковъ, «жидовская ересь» была завезена въ Новгородъ. По отношенію къ богомильству въ собственномъ смыслѣ мы, къ сожалѣнію, не можемъ съ такой же вѣроятностью возстановить путь, какимъ оно могло бы придти на Русь. Но всего естественнѣе предположить, что оно яви-

*) Какъ извѣстно, Витовтъ въ концѣ XIV вѣка перевелъ часть крымскихъ караимовъ во внутренность Литвы (Троки).

лось въ сопровожденіи другого религіознаго движенія, проникшаго къ намъ съ Балканскаго полуострова,—именно, мистическаго движенія такъ называемыхъ «исихастовъ», съ которымъ это еретическое движеніе находилось въ несомнѣнной связи—сохраненной и послѣ перехода богомильскихъ и «исихастическихъ» ученій на Русь. Посредникомъ же при этомъ переходѣ, всего скорѣе, могъ быть—православный Аѳонъ.

Аѳонъ, дѣйствительно, въ теченіе всего XIV и XV столѣтія былъ центромъ, въ которомъ находили лучшее выраженіе всѣ вопросы, волновавшіе тогдашнюю православную мысль. Вопросы эти вовсе не были такъ элементарны, какъ можно бы было думать по состоянію русской религіозности. Православный востокъ шелъ далеко впереди православной Руси. Въ сущности, онъ волновался тѣмъ самымъ, чѣмъ волновалась и европейская религіозная мысль того времени. Онъ колебался между номинализмомъ и реализмомъ, точнѣе говоря, между схоластикой и мистицизмомъ. Когда основатели теоретическаго славянофильства непремѣнно хотѣли представить схоластику особенностью западной мысли, а изъ мистицизма сдѣлать привилегію восточной, то они безспорно ошибались. Оба типа религіозной мысли существовали какъ на востокѣ, такъ и на западѣ, хотя западъ тому и другому далъ наиболѣе яркое выраженіе. Но ошибка славянофиловъ легко объясняется тѣмъ, что, дѣйствительно, мистицизмъ (особенно въ то время, о которомъ мы теперь говоримъ) получилъ на православномъ востокѣ особенно широкое распространеніе. Его проповѣдникомъ и теоретикомъ въ XIV столѣтіи былъ Григорій Синаитъ, ученіе котораго развивалъ его землякъ—малоазіатскій грекъ Григорій Палама; послѣдователями обоихъ были болгаре: Ѳеодосій и Евфимій Тырновскіе. Ученіе всѣхъ этихъ религіозныхъ мыслителей близко подходитъ къ той чертѣ, за которой мистицизмъ перестаетъ согласоваться съ положительнымъ ученіемъ христіанства и превращается въ пантеизмъ. Всѣ они исходятъ, подобно нашимъ славянофиламъ, изъ отрицанія «силлогизма» и науки—«внѣшней мудрости»,—какъ способа познанія истины, и единственнымъ путемъ къ ея достиженію считаютъ погруженіе въ собственный духъ. Теоретическому «знанію» они противопоставляютъ нравственно-религіозную «дѣятельность». Но, на высшей ступени доступнаго человѣку «любомудрія» они и самой «дѣятельности» (praxis) предпочитаютъ внутреннее, мистическое «созерцаніе» (theoria). А для достиженія полной глубины такого «созерцанія»—они рекомендуютъ рядъ обычныхъ у мистиковъ практическихъ пріемовъ. Посредствомъ употребленія этихъ пріемовъ достигается состояніе экстаза, выражающееся физически въ извѣстнаго рода тѣлодвиженіяхъ, а психически—въ особомъ ощущеніи покоя (hesychia, отсюда и названіе «исихастовъ»), восторга и, наконецъ, на высшей ступени,—«ѳаворскаго свѣта». Это послѣднее состояніе—ощущеніе свѣта—есть состояніе полнаго общенія съ Божествомъ. Для примиренія этой идеи непосредственнаго общенія съ положительнымъ христіанствомъ

Григорій Палама долженъ былъ придумать особое различеніе между «сущностью» Бога и Его «проявленіемъ» («энергіей»)—первая непостижима, но съ послѣднимъ человѣкъ можетъ сливаться.

На Аѳонѣ, гдѣ долго жилъ основатель ученія, Григорій Синаитъ, теорія «исихастовъ» была въ большомъ ходу. Былъ и такой моментъ въ XIV вѣкѣ, когда на Аѳонѣ пользовались вліяніемъ богомилы. Между обоими ученіями существовало не мало точекъ соприкосновенія, какъ въ положительныхъ чертахъ ученія, такъ еще болѣе въ отрицательномъ отношеніи ихъ ко всему тому, что въ традиціонной религіи мѣшало ихъ «внутреннему» пониманію вѣры. Ихъ пренебреженіе къ обрядности и внѣшности, предпочтеніе живого духа мертвой буквѣ, враждебное отношеніе къ чиновническому пониманію пастырскаго служенія—все это настолько сближало ихъ другъ съ другомъ въ глазахъ противниковъ, что обвиненія балканскихъ и аѳонскихъ «исихастовъ» въ «мессаліанской ереси» (т.-е. богомильствѣ) сдѣлались общимъ мѣстомъ. А между тѣмъ, именно эта критическая сторона ученія «исихастовъ», какъ болѣе доступная, должна была выдвинуться на первый планъ при перенесеніи ихъ взглядовъ на Русь.

Былъ, впрочемъ, въ тогдашней Россіи человѣкъ, который могъ и болѣе глубокимъ образомъ отнестись къ теоріи Григорія Синаита. Это былъ Нилъ Сорскій, имѣвшій возможность познакомиться съ ученіями «исихастовъ» на самомъ Аѳонѣ, откуда онъ и вывезъ эти ученія въ Россію. Григорій требовалъ отъ своихъ послѣдователей, прежде всего, строгаго уединенія. Обыкновенный, «общежительный» монастырь не удовлетворялъ этому требованію; вотъ почему Нилъ ввелъ новый порядокъ жизни для своихъ учениковъ: въ скитахъ. Въ глухомъ Заволжьѣ, кругомъ Кириллова монастыря, создалось не мало такихъ «скитовъ», населенныхъ «пустынниками», послѣдователями Нила или, какъ ихъ стали называть, «заволжскими старцами» *). При такомъ складѣ жизни имъ легко было осуществлять свой «нестяжательскій» идеалъ монашескаго существованія и критиковать монашеское и монастырское владѣніе собственностью: землями, селами и крестьянами. Цѣль ихъ была при этомъ, несомнѣнно,—уйти отъ міра. Но, совершенно неожиданно для нихъ самихъ, ихъ теорія оказалась имѣющей политическое значеніе, и, вопреки основному своему принципу, имъ пришлось сыграть видную роль въ политической борьбѣ.

Вообще, религіозные споры на русской почвѣ очень быстро пріобрѣтали церковно-государственный характеръ. Когда на православномъ востокѣ возникало религіозное сомнѣніе, оно обыкновенно рѣшалось духовнымъ соборомъ. Ученіе «исихастовъ», напр., обсуждалось и принято было тремя такими соборами XIV в. На Руси дѣло стояло иначе. «Неслыханное у насъ явленіе, ересь», застало совершенно врасплохъ

*) См. «Очерки по исторіи русской культуры», II, 31—32.

мѣстныя духовныя власти и вызвало не теоретическое обсужденіе,—а административное преслѣдованіе. «Люди у насъ просты,—писалъ новгородскій владыка Геннадій, — не умѣютъ по книгамъ говорить; такъ лучше ужъ о вѣрѣ никакихъ рѣчей не плодить, только для того и соборъ учинить, чтобы еретиковъ казнить, жечь и вѣшать». Однако, государь не сразу рѣшился на такую суммарную юстицію, какую рекомендовалъ епископъ.

Причиной этого было, прежде всего, то, что на сторонѣ новгородскихъ еретиковъ стоялъ вліятельный кружокъ въ самой Москвѣ, раздѣлявшій, повидимому, ихъ мнѣнія по убѣжденію. Это были все люди книжные. Одинъ изъ нихъ склонилъ на сторону новыхъ ученій даже невѣстку великаго князя, Елену, партія которой (Патрикѣевы) была въ то время сильна при дворѣ. Московскій митрополитъ Геронтій, поэтому, молчалъ «или по непониманію, или по небрежности, или изъ страха передъ державнымъ». Преемникъ же его, Зосима, очевидно, самъ былъ выдвинутъ партіей и раздѣлялъ ея мнѣнія. Была и другая причина, по которой Иванъ III не спѣшилъ расправиться съ еретиками. Онъ только-что (1478) отобралъ у новгородскаго духовенства и монастырей цѣлую половину ихъ земель,—а еретики какъ разъ проповѣдовали «нестяжательность». Еще удобнѣе для Ивана III въ этомъ отношеніи были теоріи русскихъ «исихастовъ», т.-е. Нила Сорскаго съ его учениками—пустынножителями. Они не были такими отъявленными еретиками, какъ новгородскіе «жидовствующіе», и не могли, слѣдовательно, такъ скандализировать своими мнѣніями православную паству, какъ «злобѣсный волкъ», митр. Зосима. Вотъ почему, смѣстивъ явнаго еретика Зосиму, великій князь продолжалъ «держать въ великой чести» Нила. Эта «великая честь» очень хорошо совмѣщалась съ политикой Ивана III, т.-е. съ подчиненіемъ духовенства государственной власти. При посвященіи преемника Зосимы Иванъ III обратился къ новому митрополиту Симону съ рѣчью, содержавшею нѣчто вродѣ инаугураціи: этимъ признавалось за московской государственной властью право, принадлежавшее прежде только византійскому императору,—право утверждать назначеніе митрополита. Черезъ четыре года (1500) Иванъ вторично отобралъ, съ благословенія того же Симона, нѣкоторыя земли новгородскаго духовенства и обложилъ остальныя тяжелымъ посошнымъ тягломъ. Наконецъ, еще черезъ три года (1503), подъ невиннымъ предлогомъ—рѣшить вопросъ о судьбѣ вдовыхъ поповъ — собранъ былъ духовный соборъ, и на немъ, послѣ того, какъ разъѣхались самые видные защитники интересовъ духовенства, неожиданно для всѣхъ Нилъ, а съ нимъ «пустынники бѣлозерскіе», его ученики, «начали говорить, чтобы у монастырей селъ не было, а жили бы чернецы по пустынямъ, а кормились бы рукодѣліемъ». Это была бы, другими словами, полная секуляризація монастырскихъ имуществъ въ Россіи. Очевидно, русскіе «исихасты», болѣе умѣренные въ своихъ ре-

лигіозныхъ мнѣніяхъ, не считали еще въ то время нужнымъ прибѣгать къ компромиссамъ въ практической программѣ: съ ними былъ самъ великій князь.

Партія старины переполошилась. Послали наскоро за волоколамскимъ игуменомъ Іосифомъ, вождемъ старо-православной партіи, уѣхавшимъ съ собора раньше его окончанія *) Не дожидаясь его пріѣзда, митрополитъ послалъ къ великому князю своего дьяка съ письмомъ; потомъ явился самъ съ московскими духовными сановниками и прочелъ Ивану докладъ, въ которомъ многочисленными цитатами, правда, не всегда добросовѣстно приведенными, доказывалась, если не нравственная справедливость и законность, то историческая древность и юридическая правильность вотчиннаго монастырскаго владѣнія. Передъ примѣрами древности, а еще больше передъ практическими неудобствами радикальнаго рѣшенія великому князю пришлось отступить,—а вмѣстѣ съ тѣмъ и союзъ съ «нестяжателями» потерялъ для него всякое практическое значеніе. Тутъ кстати проснулась и совѣсть. Иванъ III призвалъ къ себѣ Іосифа Волоколамскаго, признался ему, что до тѣхъ поръ, дѣйствительно, поддерживалъ еретиковъ, обѣщалъ разслѣдовать дѣло и окончательно искоренить ересь. Партія «нестяжателей», однако, не сразу сдалась: это видно изъ новыхъ колебаній и проволочекъ Ивана. Смущенный, очевидно, новыми аргументами «нестяжателей», онъ снова зоветъ Іосифа, чтобы спросить у него, «какъ писано: нѣтъ ли грѣха еретиковъ казнить»? Сподвижникъ Геннадія не затруднился, конечно, подобрать примѣры и цитаты, чтобы разсѣять опасенія великаго князя. Но дѣло все-таки тянулось. Послѣ тщетныхъ напоминаній Ивану III, Іосифу пришлось вступить въ литературную полемику съ нестяжателями, чтобы опровергнуть сомнѣнія, смущавшія великаго князя. Волоколамскій игуменъ рѣшительно утверждалъ, что «грѣшника или еретика—все равно, руками ли убить, или молитвой». Нестяжатели иронически предлагали Іосифу самому попробовать надъ еретиками одно изъ описанныхъ имъ чудесъ и напоминали, что Евангеліе запрещаетъ осуждать ближняго. Этотъ первый на Руси публицистическій споръ кончился не въ пользу новаторовъ. Въ 1505 г. собранъ былъ соборъ, который удовлетворилъ всѣмъ желаніямъ защитниковъ старины. Новгородская ересь была искоренена жестокими казнями. Такъ кончилась исторія религіознаго вольнодумства эпохи Ивана III.

Въ княженіе Василія III борьба новыхъ идеологій со старыми привычками принимаетъ новыя формы. Наученные опытомъ, нестяжатели не защищаютъ болѣе прежнихъ позицій. Преемникъ Нила, Вассіанъ, рисуется намъ человѣкомъ менѣе глубокимъ и менѣе знающимъ, чѣмъ Нилъ, но зато болѣе практичнымъ, болѣе близкимъ къ жизни. Онъ не хочетъ жертвовать дѣйствительностью теоріи и защищать

*) См. о немъ «Очерки», II, стр. 26—28.

радикальныя мѣры только потому, что онѣ логическія. Практика жизни требовала компромисса, и Вассіанъ предложилъ компромиссъ. Онъ не отрицалъ больше за монастырями права владѣть землями, но старался только доказать, что не слѣдуетъ владѣть людьми. Съ своей стороны и партія Іосифа сдѣлала уступку: она признала за свѣтской властью право контроля надъ употребленіемъ монастырскихъ имуществъ. На этотъ разъ, однако же, споръ вышелъ далеко за прежніе предѣлы. Къ чисто религіознымъ теоріямъ оппозиціи присоединился элементъ политическій:—онъ то и рѣшилъ окончательно судьбу русскаго религіознаго вольнодумства.

Пока нестяжателей обвиняли, болѣе или менѣе основательно, въ тайныхъ симпатіяхъ и сношеніяхъ съ новгородскими еретиками, государственная власть могла смотрѣть на это сквозь пальцы и продолжать пользоваться услугами партіи для своихъ цѣлей. Но если заподозрѣвалась политическая благонадежность религіозной оппозиціи, это уже было дѣло другое. Естественно, что противники нестяжателей воспользовались первымъ случаемъ, чтобы придать своему спору съ ними политическую окраску. Подходящій случай представился въ первые же годы княженія Василія III (1507—1509).

Монастырь Іосифа былъ расположенъ въ Волоколамскомъ удѣлѣ. Мѣстный удѣльный князь, Ѳедоръ Борисовичъ, соблазнившись примѣромъ Ивана III, сталъ претендовать на свою долю въ имуществахъ и казнѣ монастырей своей области. Спасаясь отъ его вымогательствъ, Іосифъ передалъ свой монастырь въ непосредственное завѣдованіе великаго князя. Жаловаться на такой поступокъ Іосифа въ тогдашней Руси было некому. Волоцкій князь нашелъ, однако, косвенный способъ отмстить Іосифу. Дѣло въ томъ, что непосредственнымъ начальствомъ Іосифа былъ новгородскій владыка, и Іосифъ не могъ передать своего монастыря въ чужую епархію безъ его благословенія. Если онъ такъ поступилъ, то, очевидно, лишь потому, что хорошо зналъ тогдашняго новгородскаго владыку Серапіона и не могъ разсчитывать на его поддержку. «Подъ вліяніемъ дружественно расположенныхъ къ нему новгородцевъ, а можетъ быть и по собственному чувству справедливости», замѣчаетъ одинъ изслѣдователь, «Серапіонъ не могъ сочувствовать тому, что удѣльный князь былъ лишенъ права вѣдать богатый монастырь, который достался «державному», и безъ того готовому не нынѣ-завтра воспользоваться послѣднимъ удѣломъ своего двоюроднаго брата». Съ другой стороны, Іосифъ имѣлъ полное основаніе не опасаться никакихъ возраженій противъ совершившагося факта ни со стороны князя, ни со стороны епископа. «Объ этомъ (благословеніи епископа) не заботьтесь», говорилъ самъ Василій посланцамъ Іосифа, «а Іосифу скажите, что *не онъ* отошелъ изъ архіепископіи новгородской, а *я самъ* взялъ монастырь отъ насилія удѣльнаго; когда же окончится земская невзгода, я самъ пошлю объ этомъ къ архіепископу».

Серапіонъ ждалъ этой «посылки» отъ князя два года и не дождался. Тогда, подстрекаемый волоцкимъ княземъ, онъ предпринялъ рѣшительный шагъ: отлучилъ Іосифа отъ священства и отъ причастія. «Ты отступилъ отъ небеснаго и пришелъ къ земному», писалъ онъ въ своей неблагословенной грамотѣ Іосифу.

«Дѣло приняло политическій оборотъ», замѣчаетъ тотъ же изслѣдователь. «Грамоту Серапіона перетолковали по-своему: онъ-де въ ней небеснымъ назвалъ князя Θедора, а земнымъ великаго самодержца. Въ этомъ увидали новогородскій духъ, крамолу». Московскій митрополитъ поспѣшилъ разрѣшить Іосифа отъ отлученія, произнесеннаго надъ нимъ новгородскимъ владыкой. Серапіона вызвали въ Москву, лишили священства и заключили въ Андрониковъ монастырь. Это не заставило его, однако, отказаться отъ защиты праваго дѣла. Изъ своего заключенія онъ пишетъ митрополиту посланіе, въ которомъ не проситъ объ облегченіи своей участи, а развиваетъ тѣ аргументы, которыхъ не хотѣлъ выслушать осудившій его соборъ, и заявляетъ во всеуслышаніе, что ему «не бояться въ правдѣ ни князя, ни народной толпы..., такъ какъ писано: правдою предъ царп глаголахъ — и не стыдихся».

Такое поведеніе низложеннаго епископа произвело впечатлѣніе даже въ тогдашней Москвѣ. У Серапіона нашлись поклонники и въ Новгородѣ, и въ столицѣ, особенно среди бояръ. Сторонники Іосифа были смущены и одинъ за другимъ обращались къ нему съ просьбами — помириться съ Серапіономъ. Іосифъ отвѣчалъ на это рядомъ писемъ къ друзьямъ, въ которыхъ не только не признавалъ себя виновнымъ, а, напротивъ, рѣзко нападалъ на своего противника и подыскивалъ теоретическое оправданіе своему поступку. Въ этихъ-то письмахъ Іосифъ откровенно подчеркнулъ политическій характеръ всего дѣла и этимъ окончательно опредѣлилъ положеніе, которое заняла его собственная партія въ современной политической борьбѣ.

«Священныя правила повелѣваютъ о церковныхъ и монастырскихъ обидахъ приходить къ православнымъ царямъ и князьямъ». «Отъ меньшихъ царей и князей всегда и вездѣ духовныя лица обращались къ большимъ». По ихъ примѣру и онъ, Іосифъ, билъ челомъ тому, «кто не только князю Θедору, но и архіепископу Серапіону и всѣмъ намъ общій всей русской земли государь». Его «Господь Богъ устроилъ вмѣсто себя и посадилъ на царскомъ престолѣ, предавъ ему судъ и милость и вручивъ и церковное, и монастырское, и власть надъ всѣмъ православнымъ государствомъ и всей русской землей. Напротивъ, Серапіонъ «во всемъ противно чинилъ божественнымъ правиламъ». «Поразсуди ты, Серапіоновъ умъ, чѣмъ бы ему бить челомъ на соборѣ государю православному и самодержцу всей Руси, да преосвященному митрополиту, онъ сталъ спорить съ государемъ и съ святителями. А божественныя правила повелѣваютъ царя почитать, не ссориться съ

нимъ». Поэтому только «неразумные, скоту подобные люди» могутъ поощрять Серапіона: «ты, де, государь, стой, лица сильныхъ не срамись; стой крѣпко». Словомъ, это была извѣстная намъ *) теорія «богонаученнаго коварства».

Съ теоріей нестяжателей, которую проводилъ на практикѣ Серапіонъ, этотъ взглядъ, дѣйствительно, представлялъ полный контрастъ. Нестяжатели хотѣли, чтобы церковь стояла выше государства, а для этого она, прежде всего, должна была быть независимой отъ него. Источникъ зависимости—собственность; отказъ отъ собственности долженъ обезпечить пастырямъ независимость отъ предержащей власти: только при такомъ условіи они получатъ возможность обращаться къ власти не съ собственными «обидами», а съ «печалованіемъ» о неправдахъ міра. Простого сопоставленія этой точки зрѣнія со взглядами, которые защищалъ Іосифъ,—достаточно, чтобы угадать, на чью сторону должна была стать московская власть.

Іосифъ, правда, вовсе не *даромъ* предлагалъ этой власти религіозную санкцію духовенства. Тѣмъ же случаемъ съ волоцкимъ княземъ онъ воспользовался, чтобы показать свидѣтельствами «писанія», къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ вмѣшательство властей въ неприкосновенность монастырскихъ имуществъ. Онъ выводилъ изъ грозныхъ примѣровъ прошлаго, что «не только власть отнимаетъ Богъ у похитителей церковнаго и монастырскаго имущества, а и душу беретъ у нихъ страшными, лютыми муками». Онъ требовалъ, другими словами, чтобы московское правительство оставило монастырскія имущества въ покоѣ **).

На этомъ пунктѣ власть готова была идти на уступки. Еще Иванъ III принужденъ былъ отказаться отъ полной секуляризаціи духовныхъ имуществъ. Василій III ограничился простымъ контролемъ, противъ котораго ничего не имѣлъ, какъ мы знаемъ, и самъ волоцкій игуменъ. На этихъ условіяхъ и состоялся окончательный союзъ между «іосифлянами» и властью.

Нестяжатели съ своими возвышенными стремленіями были отброшены въ оппозиціонный лагерь. Изъ кого этотъ лагерь состоялъ, видно изъ только-что разсказанной исторіи съ Серапіономъ. Къ нему примыкало все-то, что еще уцѣлѣло, вопреки суровымъ мѣрамъ Ивана III, отъ новгородскаго духа. Надо признаться, что это были уже одни только жалкіе обломки. Потомъ здѣсь были остатки — уже нѣсколько лучше сохранившіеся, хотя и не многимъ болѣе живучіе—удѣльно-княжеской власти, съ которой предстояло расправиться окончательно Ивану IV. Было бы, однако, неправильно заключить, что вся оппозиція XV вѣка состояла исключительно изъ этихъ развалинъ древности.

---

*) См. «Очерки», II, стр. 28.
**) См. «Очерки» II, стр. 28—29.

Былъ тутъ и элементъ, не просто отрицавшій новый порядокъ, устанавливавшійся въ Москвѣ, а и стремившійся по своему приладиться къ этому порядку, требовавшій въ немъ мѣста для себя. *Бояре*—не только тѣ, которые давно уже жили въ Москвѣ, а и тѣ, которые въ нее только-что пріѣхали съ своихъ удѣльно-княжескихъ престоловъ,—жили не прошлымъ, а настоящимъ, и въ настоящемъ хотѣли устроиться какъ можно для себя удобнѣе.

Отъ своихъ «прародителей» XIV в. московскіе князья XV и XVI вв. получили завѣтъ «слушаться старыхъ бояръ». Теперь составъ этихъ бояръ сильно измѣнился и качественно, и количественно; вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно расширился и кругъ ихъ дѣятельности. Боярскій совѣтъ сдѣлался необходимымъ учрежденіемъ въ государствѣ, а кучка правительственныхъ лицъ, участвовавшихъ въ этомъ совѣтѣ въ удѣльную эпоху по служебной обязанности, превратилась въ цѣлый общественный классъ, смотрѣвшій на роль совѣтниковъ государя, какъ на свое политическое право.

Со стороны московскаго князя эти претензіи на первыхъ порахъ не только не встрѣтили никакого отпора, но, напротивъ, послужили лишнимъ рессурсомъ для сформированія новаго государственнаго строя и сдѣлались однимъ изъ самыхъ эффектныхъ его украшеній. Когда Иванъ III получилъ изъ Литвы грамоту отъ «всѣхъ князей и пановъ рады» Литовскаго княжества съ необычнымъ для него адресомъ: «братьямъ и пріятелямъ нашимъ, князьямъ и панамъ рады великаго князя Ивана Васильевича»,—онъ не захотѣлъ ударить въ грязь лицомъ передъ своими учителями въ государственномъ правѣ: русскіе князья и бояре получили приказаніе приложить свои печати къ отвѣту, написанному въ княжеской канцеляріи. А чтобы въ другой разъ литовскіе «паны-рада» не имѣли повода отговариваться незнаніемъ именъ московскихъ бояръ и «мѣстъ, гдѣ кто сидитъ подлѣ кого въ радѣ государя», въ грамотѣ выписывались и имена, и небывалые титулы московскихъ совѣтниковъ князя: «отъ князя Василья Даниловича, воеводы московскаго, и отъ князя Данила Васильевича, воеводы великаго Новагорода, и отъ Якова Захарьевича, воеводы Коломенскаго» и т. д. Такимъ образомъ, стремленіе подражать сосѣдямъ само по себѣ уже возвышало московскій боярскій совѣтъ на степень правильно организованнаго учрежденія. Съ той же точно цѣлью и самъ Иванъ скопировалъ свой собственный титулъ съ польско-литовскихъ грамотъ. Но помимо этихъ казовыхъ эффектовъ, Иванъ, несомнѣнно, цѣнилъ свою думу и какъ дѣйствительно полезное учрежденіе при усложнившихся государственныхъ задачахъ. Недаромъ онъ оставилъ по себѣ хорошую память даже въ такихъ приверженцахъ правящаго сословія, какъ князь Курбскій. По мнѣнію Курбскаго, Иванъ III потому «такъ далеко границы свои расширилъ, великаго царя ордынскаго изгналъ и юртъ его разорилъ», что «много совѣтовался съ мудрыми синклитами, былъ

любосовѣтенъ и ничего не почипалъ безъ глубочайшаго и многаго совѣта».

Однако, уже при Иванѣ III въ эти отношенія закрадывается диссонансъ, который скоро разростается въ принципіальное противорѣчіе. Сознаніе этого противорѣчія растетъ по мѣрѣ роста извѣстныхъ уже намъ національно-политическихъ идеологій. Чѣмъ полнѣе развивалась теорія самодержавной власти, тѣмъ несовмѣстимѣе съ нею казалось «любосовѣтное» настроеніе прежнихъ князей. Но—что мы должны здѣсь особенно подчеркнуть—это то, что *и съ противной стороны*, со стороны боярства—ходъ событій развивалъ *совершенно новыя идеологіи*, еще болѣе обострившія только-что указанное противорѣчіе.

Конечно, силы съ двухъ сторонъ были далеко не равны: наступать приходилось только одной сторонѣ, а другой оставалось—обороняться. Вотъ почему слабѣйшая и побѣжденная сторона, боярство, сама привыкла представлять свою идеологію по преимуществу оборонительной, а идеологію своихъ противниковъ, государей,—по преимуществу аггрессивной. Она готова была обвинять московскаго великаго князя въ «переставливаніи обычаевъ», а себя изображать защитницей старины. Мы, однако, сдѣлаемъ большую ошибку, если повѣримъ ей на слово. Въ дѣйствительности, старины не существовало болѣе ни для одной изъ сторонъ,—хотя обѣ старались доказать, что историческая традиція на ихъ сторонѣ.

Право «совѣта» въ государственныхъ дѣлахъ—такова была исходная мысль идеологіи боярскаго класса. По представленію этого класса, бояре имѣли право совѣта давно, и все дѣло было въ томъ, чтобы его сохранить при новомъ порядкѣ. «Земля замутилась», по ихъ понятію, лишь съ тѣхъ поръ, какъ на Москву пришла «цареградская царевна (Софья)»; только съ этого времени стало все труднѣе и рискованнѣе «говорить навстрѣчу державному». Все это было совершенно вѣрно;—но такъ же вѣрно было и то, что прежде и темъ для такихъ «встрѣчныхъ» рѣчей было гораздо меньше, и такія рѣчи не считались *правомъ*, а тѣмъ болѣе *исключительнымъ* правомъ извѣстнаго общественнаго класса. Только тогда, когда обсужденіе усложнившихся по составу и увеличившихся въ количествѣ государственныхъ дѣлъ сдѣлалось постояннымъ занятіемъ извѣстнаго круга лицъ, только тогда всякое отклоненіе, всякая попытка обойти этотъ кругъ или выйти за его предѣлы стала чувствоваться членами сплотившагося круга, какъ обида. Обидой для боярства было, когда «совѣтникомъ» князя (не только по положенію, но и по титулу) становился какой-нибудь Шигона Поджогинъ и когда съ такими людьми князь думалъ свою думу «самъ-третей у постели». Обидно стало, что князь «зѣло вѣритъ писарямъ, а избираетъ ихъ не отъ шляхетскаго роду, ни отъ благороднаго, но паче отъ поповичевъ или отъ простого всенародства,—и то творитъ, ненавидячи вельможъ своихъ». И эта «обида», съ одной стороны, и эта «ненависть»

съ другой—были явленіемъ новымъ, происшедшимъ оттого, что пришлось дѣлить то, что раньше не дѣлилось.

Итакъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ борьбой стараго отживающаго и новаго нарождающагося порядка, а съ борьбой двухъ политическихъ идеаловъ, правда, далеко неравносильныхъ, за осуществленіе въ будущемъ. Вполнѣ сознательно и отчетливо эти идеалы формулируются только въ третьемъ поколѣніи послѣ начала борьбы, въ знаменитой перепискѣ Грознаго съ Курбскимъ.

«Отчего же государь и *самодержецъ* называется, какъ не оттого, что самъ строитъ», спрашиваетъ своего противника Иванъ IV, смѣло перенося на внутреннюю политику—понятіе, сложившееся во внѣшней. Иностранные государи «царствами своими не владѣютъ; какъ имъ велятъ подданные ихъ, такъ и владѣютъ». Потому и погибли эти царства, что «цари были тамъ послушны епархамъ и синклитамъ; если царю не повинуются подвластные, никогда не прекратятся въ странѣ междоусобныя брани». По настоящему «земля правится не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами, а Божіимъ милосердіемъ, всѣхъ святыхъ молитвами, родителей нашихъ благословеніемъ, а напослѣдокъ и нами, государями своими».

На такую точку зрѣнія никакъ не хотѣлъ стать первый русскій эмигрантъ, добровольно покинувшій «неблагодарное, варварское, недостойное ученыхъ мужей», но все-таки «любимое отечество». Онъ вовсе не признавалъ, что «Богъ отдалъ въ работу» его предковъ—предкамъ великаго князя: для него это былъ просто «издавна кровопійственный родъ», основавшій свою власть на правѣ сильнаго. Политическимъ идеаломъ опальнаго боярина было двоевластіе—царя и «избранной рады». Царь долженъ быть главой, а его совѣтники — членами одного тѣла. Впрочемъ, князь-публицистъ не ограничивался желаніемъ, чтобы участвовали въ «совѣтѣ» члены его собственнаго сословія, и шелъ дальше. «Царь долженъ искать добраго, полезнаго совѣта не только у совѣтниковъ, но и у всенародныхъ человѣкъ». Негодуя, какъ мы видѣли, противъ «писарей», вознесенныхъ державнымъ на неподобающую высоту, онъ ничего не имѣлъ противъ такого члена «избранной рады», какимъ былъ Адашевъ.

Таковъ былъ характеръ той политической оппозиціи, съ которою религіозная оппозиція XVI в. вступила въ идейный союзъ. Мы оставили эту оппозицію въ началѣ третьяго періода ея существованія, когда, переставши быть еретической (въ смыслѣ жидовствующихъ) и радикальной (въ смыслѣ Нила), она вступила, въ лицѣ Вассіана, въ компромиссъ съ требованіями дѣйствительности. Именно эта близость Вассіана къ практической жизни, однако, поставила его лицомъ къ лицу съ тогдашней политической дѣйствительностью. Постриженный представитель опальнаго княжескаго рода (Патрикѣевыхъ), онъ на себѣ самомъ испыталъ всю тяжесть устанавливавшагося въ Москвѣ полити-

ческаго режима. Не увлекаясь никакой политической теоріей, не пытаясь создать никакого политическаго идеала, онъ, тѣмъ не менѣе, не могъ не отзываться на политическую злобу дня, тѣмъ болѣе, что былъ одно время близокъ къ царю Василію и пользовался большимъ вліяніемъ при дворѣ. «Печалованіе» къ «державному» было единственной формой, въ которой князь-инокъ и его единомышленники могли высказать свой протестъ противъ возмущавшихъ ихъ совѣсть событій современности. Естественно, что за это право они такъ же крѣпко держались, какъ бояре за аналогичное право «совѣта». Такое сходство положенія само по себѣ сближало нестяжателей съ недовольными изъ бояръ, тѣмъ болѣе, что имъ нечего было дѣлить другъ съ другомъ. Конкурентами въ сферѣ землевладѣнія были для бояръ не нестяжатели, а ихъ противники, защищавшіе вотчинное владѣніе монастырей. Политическаго вліянія нестяжатели тоже не добивались, такъ какъ, по ихъ теоріи, церковь должна была имѣть только нравственное вліяніе.

Какъ проявлялась на практикѣ политическая оппозиція нестяжателей при Василіи III и къ какимъ послѣдствіямъ она приводила, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Въ 1523 году сѣверскій князь былъ оклеветанъ въ перепискѣ съ Литвой и заключенъ въ Москвѣ въ тюрьму, несмотря на письменное ручательство въ безопасности, данное ему великимъ княземъ и митрополитомъ Даніиломъ (осифляниномъ). Митрополитъ, «взявшій его на образъ Пречистыя да на чудотворцевъ да на свою душу», самъ первый радовался поимкѣ «запазушнаго врага» государя. Нестяжатели взглянули иначе на поступокъ князя и митрополита. Они не только осуждали этотъ поступокъ въ разговорахъ между собой (впослѣдствіи послужившихъ однимъ изъ поводовъ къ обвиненію Максима Грека), но одинъ изъ нихъ, троицкій игуменъ Порфирій, «яко мужъ обычаевъ простыхъ и въ *пустынѣ* воспитанъ», рѣшился «молить» государя, «да освободитъ брата... отъ оковъ»—и былъ за это изгнанъ изъ монастыря и замученъ. Въ тотъ же самый годъ очередь дошла и до Максима Грека. Это былъ чуждый русской жизни идеалистъ; во имя евангельскихъ требованій онъ присоединился ко всей религіозной программѣ нестяжателей,—къ ихъ борьбѣ противъ монастырскаго сребролюбія, къ ихъ «печалованіямъ»,—и терпѣливо выслушивалъ жалобы своихъ новыхъ друзей на печальную политическую дѣйствительность, не только дикую и чуждую, но и малопонятную для ученика Савонаролы *). Въ этомъ была вся вина Максима: онъ былъ осужденъ за мнѣнія своей партіи гораздо больше, чѣмъ за свои собственныя. Черезъ шесть лѣтъ за нимъ послѣдовалъ въ заточеніе и самъ Вассіанъ.

Итакъ, и третье поколѣніе оппозиціонеровъ сошло со сцены безплодно для того дѣла, которое защищало. Брошенныя ими сѣмена,

*) См. о Максимѣ «Очерки», II, стр. 37—39.

однако, не заглохли сразу. Напротивъ, въ четвертомъ поколѣніи,—даже если мы оставимъ въ сторонѣ такія вершины политической мысли, какъ Курбскій и Иванъ Грозный,—оппозиціонная теорія разрабатывалась дальше, такъ же, какъ и теорія самодержавія. Точку зрѣнія Грознаго развилъ и защищалъ новыми аргументами—Ивашка Пересвѣтовъ, въ своемъ извѣстномъ памфлетѣ: «Сказаніе о Петрѣ, волошскомъ воеводѣ». Ему отвѣчалъ, развивая политическія теоріи Курбскаго,—неизвѣстный намъ авторъ такъ называемой «Бесѣды Валаамскихъ чудотворцевъ, Сергія и Германа».

Царь долженъ быть «грозенъ и самоупрямливъ и мудръ безъ воспрашиванья» (т.-е. безъ чужихъ совѣтовъ): тогда только «Богъ покоритъ недруговъ подъ ноги его и онъ будетъ обладать многими царствами». Таково основное положеніе, лежащее въ основѣ всѣхъ разсужденій Ивашки Пересвѣтова. Совѣтъ съ «пріятелями», вельможами,—можетъ, по его мнѣнію, только ослабить силу царской иниціативы. Вмѣстѣ съ самимъ Иваномъ IV, Пересвѣтовъ всѣ государственныя бѣдствія склоненъ выводить изъ одной причины: изъ того, что «вельможи своимъ чародѣйствомъ привратили къ себѣ сердце царево и научили его во всемъ волю свою творити». Отсюда «умалилась правда въ московскомъ государствѣ». Разбогатѣвшіе и облѣнившіеся вельможи «цвѣтно, конно и людно выѣзжаютъ на потѣхи», а когда выѣзжаютъ на битву, то травятъ людей и теряютъ войско, благодаря своей трусости. Держа за собой города и волости въ кормленьѣ, вельможи богатѣютъ отъ слезъ и отъ крови крестьянской. Они подбрасываютъ мертвецовъ въ домы богатыхъ людей и въ села, чтобъ потомъ разорить подсудимыхъ неправымъ судомъ. Они дѣлятся со сборщиками податей, позволяя имъ за то «собирать деньги безъ пощады, мучить крестьянъ и брать на царя десять рублей, а себѣ сто». Словомъ, творя волю вельможъ, царь «напускаетъ тѣмъ лишнюю войну на царство». Къ нему самому — доступа нѣтъ, такъ какъ тѣ же вельможи «отбиваютъ отъ него міръ съ челобитными». Необходимо устранить этихъ подозрительныхъ посредниковъ между царемъ и народомъ. Дѣйствовать мимо нихъ, обратиться прямо къ самому народу съ лобнаго мѣста—таковъ пріемъ Ивана IV; такова же и теорія его защитника. Ближайшимъ практическимъ приложеніемъ этой теоріи и была попытка — устранить «вельможъ-кормленщиковъ» отъ управленія, суда и финансовыхъ сборовъ. Объ этомъ настойчиво просилъ «міръ» въ тѣхъ самыхъ, можетъ быть, своихъ «челобитныхъ», которыя «вельможи» старались «отбить» отъ царя. Распространеніе губнаго самоуправленія и введеніе земскаго, безъ сомнѣнія, были вполнѣ сознательными продуктами этой самодержавно-демократической идеологіи.

Но борьбой противъ «вельможъ» и противъ ихъ участія въ царскомъ совѣтѣ и въ управленіи «городами и волостями» еще не исчерпывается монархическая программа Пересвѣтова. Обличеніе властели

скихъ неправдъ разростается подъ его перомъ въ широкую картину соціальныхъ золъ, отъ которыхъ страдаетъ Русь и отъ которыхъ она тоже можетъ быть освобождена только прямымъ вмѣшательствомъ царской воли и власти. Къ этой чертѣ «Сказанія» мы скоро вернемся.

Монархическая теорія автора, назвавшагося Пересвѣтовымъ, не осталась безъ отвѣта и вызвала со стороны московскихъ конституціоналистовъ XVI вѣка рѣзкое возраженіе. Это возраженіе, вмѣстѣ съ собственной программой партіи, развито въ любопытномъ памфлетѣ, написанномъ какимъ-нибудь почитателемъ Вассіана. Памфлетъ этотъ интересенъ, прежде всего, тѣмъ, что авторъ его открыто совмѣщаетъ теоріи «нестяжателей» съ теоріями оппозиціоннаго боярства. Устами святыхъ «чернцовъ» Сергія и Германа, составитель «Бесѣды», ведущейся отъ ихъ имени,—развиваетъ цѣлую теорію, въ которой самымъ своеобразнымъ образомъ соединяются и перемѣшиваются идеи религіозной оппозиціи съ идеями оппозиціи политической,—Нилъ Сорскій съ Курбскимъ.

Авторъ памфлета согласенъ, что государственная власть создана «на воздержаніе міра сего для спасенія душъ нашихъ». «Напрасно думаютъ многіе (это возраженіе направлено прямо по адресу Пересвѣтова, ср. ниже, стр. 67),—что Богъ сотворилъ человѣка на свѣтъ *самовольнымъ*. Если бы Онъ создалъ его самовластнымъ, тогда не уставилъ бы царей и прочихъ властей и не отдѣлилъ бы государство отъ государства». Но для «воздержанія міра» недостаточно, чтобы государи были «грозны»: всего они не могутъ сдѣлать личными усиліями. Они должны искать совѣта, и именно совѣта *мірскихъ* людей. На дѣлѣ же государи послѣднихъ временъ оказываются «просты»: они воздерживаютъ міръ *не съ своими пріятелями, съ князьями и съ боярами*, а съ «непогребенными мертвецами»—съ монахами. Монахи,—люди, отрекшіеся отъ міра, владѣютъ волостями съ крестьянами, судятъ мірянъ и отдаютъ ихъ на поруки; монахи кормятся крестьянскими слезами, собирая въ свою пользу всякіе царскіе доходы съ волостей, точно царскіе мірскіе приказчики. Наживая богатыя палаты, они губятъ душу; и міръ не церемонится съ духовнымъ саномъ,—съ бродящими по міру священниками, потерявшими свои мѣста. Чтобъ поднять духовный авторитетъ, необходимо, во-первыхъ, собирать всѣ доходы съ земель въ казну, а духовенству выдавать ежегодное урочное содержаніе; во-вторыхъ, отдать подъ начало въ монастыри всѣхъ безпріютныхъ духовныхъ. Тогда міръ будетъ строиться и царство утверждаться иноческимъ постомъ и молитвами, непрестанными слезами и молитвостояніемъ. Иноки будутъ заботиться о томъ, чтобы всякій человѣкъ вездѣ и повсюду ежегодно говѣлъ, чтобы царю не быть въ отвѣтѣ передъ Богомъ за души подданныхъ. Царь же правитъ самъ съ своими властями: «совѣтъ совѣщеваетъ съ совѣтниками о всякомъ дѣлѣ». Совѣтниками должны быть «князья и бояре и прочіе міряне». Въ приложеніи, которое нѣкоторые ученые—

неосновательно, какъ намъ кажется,—приписываютъ другому автору, нашъ публицистъ приводитъ обѣ свои мысли—о спасеніи душъ посредствомъ ежегоднаго покаянія и объ устройствѣ всякихъ государственныхъ дѣлъ посредствомъ совѣта мірянъ —въ весьма оригинальную связь. Царь не своей личной храбростью, а разумомъ своего славнаго воинства крѣпитъ и распространяетъ свою державу. Поэтому, духовенство должно благословить царя «на единомысленный вселенскій совѣтъ». А царь долженъ «съ радостью, безъ высокоумной гордости, съ христоподобной смиренной мудростью воздвигнуть отъ всѣхъ градовъ своихъ и отъ уѣздовъ городовъ тѣхъ и безпрестанно держать при себѣ погодно ото всякихъ мѣръ всякихъ людей и на всякъ день ихъ добрѣ разспросить царю самому о всегоднемъ посту и о каяніи всего міра и про всякое дѣло міра сего». Такимъ образомъ, «царю всегда будетъ вѣдомо про всѣ дѣла его самодержавства» и онъ сможетъ скрѣпить отъ грѣха всѣ власти и воеводъ и приказныхъ людей: отъ взятки и посула и отъ всѣхъ безчисленныхъ властелинскихъ грѣховъ, словомъ, отъ всякой неправды *). Тѣ же «всегодные постные люди» обезпечатъ царю и ежегодное всеобщее покаяніе, такъ что сохранены будутъ и души, и тѣла. Какъ видимъ конституціонная теорія «Бесѣды», подобно взглядамъ Курбскаго, не имѣетъ олигархическаго, узко-боярскаго характера.

Однимъ развитіемъ оппозиціонной *теоріи* дѣло, однако, не ограничилось. Есть всѣ основанія думать, что только-что изложенная «Бесѣда Валаамскихъ чудотворцевъ» явилась лишь литературнымъ выраженіемъ мнѣній, которыя русская оппозиція XVI вѣка пыталась осуществить и на практикѣ.

Можно было ожидать, повидимому, что такая попытка будетъ сдѣлана уже во время боярскаго правленія послѣ смерти Василія III (1533). Но регентство Елены оказалось не особенно благопріятнымъ моментомъ для осуществленія оппозиціонныхъ идеологій. Удачнѣе сложились обстоятельства послѣ смерти Елены (1538), въ концѣ этого смутнаго десятилѣтія. Въ это время принимаются первыя мѣры относительно земскаго самоуправленія т.-е. *оппозиція* выполняетъ одинъ изъ пунктовъ *монархической* программы. «Было въ 1541 г. жалованье государя нашего до всей своей русской земли, млада возрастомъ 11 лѣтъ и старѣйша умомъ»,—записываетъ псковская лѣтопись. «Показалъ милость свою и началъ жаловать грамоты давать по всѣмъ городамъ большимъ и по пригородамъ и по волостямъ: лихихъ людей обыскивати самимъ крестьянамъ межъ себя..., не водя къ намѣстникамъ... И была намѣстникамъ нелюбка велика на христіанъ... и была крестьянамъ радость и льгота великая *отъ лихихъ людей и отъ намѣстниковъ»*... Затѣмъ началось то время, которое Курбскій разрисовалъ въ такихъ розовыхъ

---

*) И здѣсь заключается косвенный отвѣтъ Пересвѣтову, предлагавшему для искорененія «неправды» другія мѣры; см. ниже, стр. 67.

краскахъ и про которое Иванъ Грозный говорилъ съ такимъ раздраженіемъ: время, когда Сильвестръ съ Адашевымъ «всѣ строенія и утвержденія по своей волѣ и своихъ совѣтниковъ хотѣнію творили», когда ему оставили только имя и честь, а всю власть государя присвоили себѣ.

Идея духовнаго и земскаго «вселенскаго совѣта» или собора была въ это время осуществлена въ дѣйствительности; и программа вопросовъ, представленныхъ царемъ на первый изъ соборовъ, во многихъ случаяхъ близко напоминала идеи автора «Валаамской бесѣды». На первомъ планѣ стоялъ здѣсь вопросъ о монастырскихъ имуществахъ, но за нимъ тотчасъ возникалъ другой, не менѣе серьезный для государства вопросъ о формѣ вознагражденія за военную службу, т.-е. о служилыхъ земляхъ. Съ монастырской собственностью связанъ былъ, какъ мы знаемъ, вопросъ о правахъ и о внутренней дисциплинѣ духовенства. Въ этомъ послѣднемъ вопросѣ авторъ «Бесѣды» далеко не раздѣлялъ широкихъ взглядовъ Курбскаго: новыя моды съ Запада и съ Востока, новый костюмъ и прическа, новое убранство комнатъ, новая манера пѣть въ церкви и писать иконы, т.-е. новыя направленія въ церковной живописи и музыкѣ *), все это приводило его въ большое смущеніе; на все это онъ обращалъ вниманіе власти и ея совѣтниковъ.

И изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что только-что очерченный, на основаніи «Валаамской бесѣды», кругъ вопросовъ сильно занималъ «избранную раду» Ивана IV накануне созыва соборовъ. Прежде всего, молодые реформаторы вспомнили своихъ старыхъ вождей: голосъ изъ тюрьмы Максима и другой голосъ друга нестяжателей, Артемія **), вскорѣ сосланнаго въ Соловки,—первые раздаются по призыву Сильвестра и Адашева. Оба, разумѣется, сочувствуютъ реформѣ: Артемій намекалъ даже на возможность радикальнаго разрѣшенія вопроса о монастырскихъ имуществахъ въ духѣ Нила Сорскаго.

Но время радикальныхъ рѣшеній прошло или, лучше сказать, не наступило: митрополитъ Макарій, несмотря на свою мягкость и привычку всѣмъ дѣлать пріятное, въ этомъ случаѣ оказался вѣренъ завѣтамъ своей alma mater, Волоколамскаго монастыря, и подалъ—по обыкновенію, чужими словами (митр. Симона на соборѣ 1503 г.)—рѣшительное мнѣніе противъ радикальной постановки вопроса на предстоявшемъ соборѣ. За нимъ высказались и еще нѣсколько лицъ не въ пользу затѣй молодой партіи; такъ что еще до созыва собора ясно было, что дѣло кончится полумѣрами. Не вызывалъ особенныхъ надеждъ и самый составъ собравшагося въ Москвѣ духовнаго собора (т. наз. Стоглава). Изъ девяти его членовъ только одинъ (Вассіанъ) извѣстенъ своими передовыми мнѣніями: зато преданіе и украсило

---

*) См. объ этомъ «Очерки», II, 3-е изданіе, стр. 223—224, 239.

**) См. о немъ «Очерки», II, 31, 33, 97.

его біографію самыми внушительными подробностями, въ родѣ того,что у него рука отнялась, голова повернулась назадъ и т. п. Трое (кромѣ Макарія) были «осифляне», т.-е. явные противники реформы.

На дѣятельности собора мы здѣсь не можемъ останавливаться. Скажемъ только, что по отношенію къ вотчиннымъ правамъ монастырей дѣло ограничилось нѣкоторыми мѣрами государственнаго контроля надъ монастырскимъ судомъ и финансовой администраціей. Зато новомодныя мурмолки («тафьи безбожнаго Магомета») подверглись жестокому гоненію, такъ же, какъ и модныя иконы и бритье бороды. Гораздо важнѣе были государственныя мѣры, принятыя въ интересахъ служилаго сословія. Наградить генераловъ за службу и обезпечить бытъ офицерства—это былъ настоящій лозунгъ времени, который такъ выдвигалъ впередъ Курбскій и на который такъ нападалъ потомъ Грозный. Можно было, однако же, расходиться въ вопросѣ о средствахъ, *какъ* обезпечить «воинство»,—землей, ея натуральными произведеніями или прямо деньгами *); но самая необходимость обезпеченія была такъ же ясна обѣимъ партіямъ, какъ и необходимость ввести «правду» въ мѣстное управленіе. Вотъ почему, при всей разницѣ теоретическихъ исходныхъ точекъ, обѣ партіи, конституціонная и монархическая, по необходимости, включили тотъ и другой пунктъ въ свою практическую программу. Первую партію при случаѣ обвиняли, что она заботится только о «кормленіяхъ» и откладываетъ земское строеніе въ дальній ящикъ. Вторая не упускала случая сдѣлать видъ, что она заботится объ интересахъ всего «хрестьянства». Въ сущности обѣ сходились на серединѣ: въ ущербъ и «кормленщикамъ» и «хрестьянству» силою вещей выдвигался господствующій классъ ближайшаго будущаго,-помѣстное дворянство: на его долю и достались всѣ выгоды борьбы.

Въ интересахъ помѣстнаго дворянства созваны были и первые русскіе земскіе соборы. Недавно стало извѣстно, что эти соборы не были ни собраніемъ настоящихъ представителей, ни выраженіемъ мнѣній всей земли,—какимъ хотѣлъ бы видѣть подобный соборъ авторъ Валаамской бесѣды. Государство созвало своихъ военныхъ слугъ—офицеровъ, занимавшихъ извѣстные посты, и потребовало отъ нихъ не столько ихъ вотума, сколько простой экспертизы—въ видѣ отвѣта на опредѣленно поставленный вопросъ о ихъ служебной годности въ данный моментъ. Такимъ образомъ, оказывается, что въ моментъ перваго появленія такого, повидимому, интереснаго учрежденія—историку русскихъ общественныхъ движеній съ нимъ уже нечего дѣлать. Оно завершаетъ собой, какъ и другой духовный соборъ, оппозиціонное движеніе цѣлаго полувѣка, сводя къ минимуму его результаты,—и именно потому съ этихъ соборовъ не приходится начинать никакого *новаго* движенія.

---

*) Ср. Очерки I, стр. 139 и ниже стр. 67.

Впрочемъ, оговоримся. Принявъ съ такой рѣшительностью подъ свою защиту интересы одного класса (и притомъ не того, который былъ въ силѣ въ данный моментъ и сила котораго вскорѣ оказалась такой непрочной, т.-е. боярства,—а того, которому принадлежало будущее, т.-е. дворянства), московское правительство этимъ самымъ готовило себѣ *новую оппозицію*, наименѣе идеологическую и наиболѣе опасную. Это была оппозиція соціальная—оппозиція *крестьянъ и холоповъ*.

Первые признаки такой оппозиціи являются еще раньше соборовъ и раньше сознательнаго и систематическаго классоваго законодательства. Собственно, во всей этой полемикѣ противъ монастырскаго владѣнія землей и людьми, рядомъ съ морально-религіозными и политическими побужденіями, все время слышится также и соціальная нотка. Разумѣется, особенно сильно она звучитъ у пустынножителей, которые не принадлежали сами къ числу рабовладѣльцевъ и нападали на «иноковъ» не какъ на опасныхъ конкурентовъ служилаго землевладѣнія, а принципіально. Максимъ Грекъ—самый умѣренный въ своихъ политическихъ взглядахъ и самый отвлеченный въ своихъ моралистическихъ сужденіяхъ—въ данномъ случаѣ выступаетъ съ самымъ рѣзкимъ и безповоротнымъ осужденіемъ. «Гдѣ писано, спрашиваетъ онъ, чтобъ (угодившіе Богу иноки) давали деньги взаймы, вопреки правиламъ закона или чтобы они вымогали у убогихъ проценты на проценты? А мы позволяемъ себѣ дѣлать это съ бѣдными селянами, трудящимися и страждущими безъ отдыха въ нашихъ селахъ и на всѣхъ нашихъ службахъ, отягчая ихъ высокимъ ростомъ и разоряя, когда они не могутъ отдать долга... Ты истязуешь человѣка и расхищаешь жалкое его стяжаньице; ты гонишь его, вмѣстѣ съ женой и дѣтьми, прочь изъ своихъ селъ съ пустыми руками или порабощаешь вѣчнымъ порабощеніемъ, какъ древній мучитель фараонъ—сыновъ израилевыхъ. Если, изнемогши отъ тягости налагаемыхъ нами безпрестанно трудовъ, онъ захочетъ переселиться куда-нибудь въ другое мѣсто, мы его не пускаемъ безъ уплаты установленнаго оброка,—забывъ о безчисленныхъ трудахъ его и страданіяхъ, и потѣ, пролитомъ для необходимыхъ намъ услугъ въ теченіе столькихъ лѣтъ, проведенныхъ въ нашемъ селѣ. Что можетъ быть мерзче этого, братъ мой, что можетъ быть безчеловѣчнѣе?»

Всякій, кто стоялъ ближе къ тогдашней русской жизни, чѣмъ Максимъ,—не могъ не чувствовать, что тяжесть этихъ обличеній падаетъ не на одно монастырское землевладѣніе и рабовладѣніе. Любой мелкій помѣщикъ и крупный бояринъ дѣлалъ въ своихъ селахъ то же самое. Поэтому, когда авторъ Валаамской бесѣды, повторяя Вассіана и Максима въ своихъ обличеніяхъ «иноковъ, кормящихся мірскими слезами»,—въ то же время тщательно выгораживаетъ изъ этихъ обличеній свѣтское землевладѣніе, это уже кажется или крайнимъ ослѣпленіемъ, или просто недобросовѣстностью; во всякомъ случаѣ, это крайне

непослѣдовательно. Конечно, не одни иноки кормились мірскими слезами; не одними ихъ притѣсненіями объяснялся тотъ пассивный протестъ населенія, на который намекалъ Максимъ въ приведенныхъ выше словахъ и который авторъ бесѣды еще ярче характеризовалъ въ формѣ пророчества: «будутъ пустѣть, никѣмъ не гонимы, въ волостяхъ и селахъ домы крестьянскіе, люди начнутъ убывать и земля начнетъ пространнѣе быть, а людей будетъ меньше,—и тѣмъ оставшимся людямъ на той пространной землѣ жить будетъ негдѣ». Конституціоналистъ-авторъ Валаамской бесѣды, какъ на единственный радикальный исходъ, могъ указать только на взятіе всѣхъ монастырскихъ земель въ казну и на уплату монастырямъ ежегодно жалованья. Вполнѣ послѣдовательно было со стороны его противниковъ-монархистовъ—предложить *распространить ту же мѣру и на служилое землевладѣніе.*

Такъ и ставитъ вопросъ о вознагражденіи служилаго сословія извѣстный намъ памфлетъ Ивашки Пересвѣтова, къ соціальной сторонѣ котораго мы теперь возвращаемся. Авторъ рѣзко подчеркиваетъ, прежде всего, именно тѣ бѣдствія низшихъ классовъ, которыя вызваны господствомъ боярской партіи. Онъ утверждаетъ, что вельможи, завладѣвъ царствомъ, «не даютъ управы на сильныхъ — бѣднымъ и безпомощнымъ. Слабому человѣку невозможно ни въ городѣ жить, ни отъ города хоть на версту отъѣхать. Поэтому, многіе, чтобы избавиться отъ бѣдъ, отдаются во дворъ къ вельможамъ. А Богъ не велѣлъ другъ друга порабощать; Богъ *сотворилъ человѣка самовластнымъ* и повелѣлъ ему быть самому себѣ владыкой, а не рабомъ. Мы же беремъ человѣка въ работу и записываемъ его навѣки». Исходъ, по мнѣнію нашего автора, можетъ быть только одинъ: «такой сильный государь, какъ царь русскій, долженъ со всего своего царства доходы брать прямо себѣ въ казну, а изъ казны платить военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ ежегодное жалованье, чѣмъ имъ можно прожить съ людьми и съ конями съ году на годъ». Все это кажется очень демократичнымъ, но задняя мысль этого демократизма тотчасъ же обнаруживается. За военныя заслуги царь долженъ награждать воиновъ, къ себѣ близко припускать, жалобы ихъ позлащать и тѣмъ сердца ихъ утѣшать. Тогда и 20.000 воиновъ будутъ сильнѣе, чѣмъ 100.000 при дѣйствующемъ порядкѣ; тогда и *вельможи перестанутъ* «неправеднымъ собираніемъ богатѣть, да родами считаться, да мѣстами мѣстничаться и тѣмъ царево воинство ослаблять». Имѣя въ своихъ рукахъ «воинство», царь уже сможетъ «вельможъ своихъ всячески искушать и *боярами своими тѣшиться, какъ младенцами;* вельможи начнутъ его бояться и ни съ какими злохитростями не дерзнутъ къ нему приблизиться».

Мы видимъ, дальше чего не идетъ демократизмъ защитника политики Грознаго въ его критикѣ соціальныхъ условій тогдашней русской жизни. Онъ на сторонѣ «бѣдныхъ и безпомощныхъ»—лишь въ очень условномъ смыслѣ слова. Онъ не на сторонѣ крестьянъ противъ ихъ

владѣльцевъ, а на сторонѣ «воинства» противъ «вельможъ». Онъ, правда, непрочь посовѣтовать правительству — вступить въ прямыя отношенія къ крестьянамъ, минуя ихъ господъ; но только съ тѣмъ условіемъ, чтобы интересы господъ не пострадали. Вѣдь интересы помѣщика суть интересы службы, слѣдовательно, они совпадаютъ съ государственными интересами и во что бы то ни стало должны быть обезпечены. И если окажется, что прямыхъ сношеній власти съ крестьянами на этихъ условіяхъ установить нельзя, то государственная власть ни на минуту не усомнится отдать «самовластнаго человѣка, владыку самого себя», своему «воинству» «въ работу навѣки».

Впрочемъ, все это выяснилось только съ теченіемъ времени, по мѣрѣ хода событій. Какова бы ни оказалась положительная сторона монархически-демократической программы, — ея главный, очередной интересъ сосредоточивался пока на отрицательной сторонѣ: на борьбѣ противъ вельможъ и приписанныхъ имъ соціальныхъ бѣдствій, на кого бы онѣ ни падали. Борисъ Годуновъ озаботился даже нагляднымъ образомъ пропагандировать эту программу, заказавши расписать Грановитую палату картинами, въ которыхъ царь изображенъ былъ то «кручинящимся» отъ «крамолы вельможъ», то вручающимъ судьѣ праведному—мечъ отмщенія. Тутъ же вдовица просила управы на обидящаго вельможу и т. д. Это было—живописнымъ отвѣтомъ на болѣе раннюю (1552) роспись сосѣдней Золотой палаты, гдѣ не была забыта ни «избранная рада», ни даже Сильвестръ,—высшій источникъ царевой мудрости, уподобленный здѣсь Варлааму извѣстной притчи (о Варлаамѣ и Іосафатѣ). Такъ и искусство приняло участіе въ полемикѣ политическихъ партій XVI вѣка.

Въ итогѣ, мы видимъ, что соціальный вопросъ разрабатывается въ XVI в. въ двухъ направленіяхъ: сперва (именно у нестяжателей и ихъ сторонниковъ) въ направленіи религіозно-моралистическомъ, потомъ (въ рукахъ такого оффиціознаго памфлетиста, какъ Пересвѣтовъ) въ направленіи политическомъ. То и другое направленіе не могло принести для его рѣшенія никакой пользы, такъ какъ пользовалось соціальнымъ вопросомъ лишь какъ средствомъ борьбы другъ противъ друга. Кто бы ни «богатѣлъ отъ крестьянскихъ слезъ и крови»,—вельможи-конституціоналисты или защищавшіе самодержавіе иноки-осифляне,—ихъ полемика между собой не могла осушить мірскихъ слезъ. Соціальная оппозиція, въ собственномъ смыслѣ, сосредоточивалась въ такихъ сферахъ, которыя не могли формулировать никакого соціальнаго «вопроса». Когда она выступила сама отъ своего имени, — это активное выступленіе получило не форму теоріи, а форму поступковъ.

Одинъ изъ такихъ поступковъ,—но болѣе пассивный, чѣмъ активный,—отмѣченъ уже авторомъ «Валаамской бесѣды», въ которой святые предсказываютъ, что «люди начнутъ убывать и земля начнетъ пространнѣе быти». Дѣйствительно, по мѣрѣ того, какъ исполнялась

мечта московскихъ публицистовъ и расширялись предѣлы государства,—особенно на востокъ и на югъ, — все многочисленнѣе начинали становиться побѣги отъ московскихъ порядковъ на привольныя окраины. Въ послѣднюю четверть вѣка эти побѣги сдѣлались массовыми и стали грозить чуть не полнымъ обезлюдѣніемъ стараго государственнаго центра. Владѣльческому хозяйству центра грозилъ полный разгромъ,—и правительственная власть, смотрѣвшая въ началѣ на бѣглецовъ, какъ на пригодный для своихъ цѣлей матеріалъ для колонизаціи, въ концѣ концовъ, принуждена была перемѣнить взглядъ на побѣги и отожествить свои интересы съ интересами хозяевъ — служилыхъ людей *). При этихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о послѣдовательномъ проведеніи намѣченной Пересвѣтовымъ идеи демократической монархіи: о защитѣ самодержавной властью «автономіи личности» отъ покушеній правящаго сословія на ея свободу. Единственное упоминавшееся раньше средство, употребленное властью для этой цѣли,—губная и земская реформа Грознаго,—не только не противополагало интересовъ крестьянства интересамъ служилыхъ людей, но, напротивъ, дѣлало служилаго человѣка выборнымъ представителемъ «земства». Такимъ образомъ, не раздѣляя интересовъ «воинства» и «мірскихъ людей», правительство свело демократическую программу къ совершенно иной задачѣ,—конечно, тоже не легкой, такъ какъ для ея осуществленія понадобилась опричина и крѣпостное право. Власть принялась энергически ограждать «воинство» отъ тяготѣнія надъ нимъ вельможъ и отъ боярской конкуренціи съ помѣщиками въ сферѣ землевладѣнія. Такова и была, въ сущности, главная идея памфлета Ивашки Пересвѣтова.

Соціальная оппозиція низшихъ классовъ должна была, конечно, очень усилиться послѣ того, какъ правительство приняло сторону помѣщиковъ. Элементы этой оппозиціи особенно быстро стали копиться на окраинѣ; при первомъ случаѣ они должны были напомнить о себѣ правительству. Случай представился въ смутное время.

Любопытно, что знаменемъ для этого перваго активнаго соціальнаго протеста послужилъ «истинный царь Дмитрій»—въ противоположность боярскому царю Василію. Законный наслѣдникъ Грознаго представлялся, очевидно, народной массѣ ея настоящимъ покровителемъ и защитникомъ—*противъ* боярскаго кружка, мечтавшаго, можетъ быть, возобновить преданія «избранной рады» Курбскаго. Идеи демократической монархіи, какъ видимъ, сознательно предпочитались въ народной массѣ тѣмъ конституціонно-боярскимъ идеямъ, во имя которыхъ Василій Шуйскій далъ свою «запись»—не казнить безъ боярскаго суда и не прибѣгать къ произвольнымъ конфискаціямъ имущества подданныхъ. Теоріи Пересвѣтова столкнулись, такимъ образомъ, въ самой

*) См. «Очерки», т. I, 4-е изданіе, стр. 71—72, 76.

жизни съ теоріями «Валаамской бесѣды», — и оказались болѣе популярными.

Въ этихъ теоріяхъ было, однако,—какъ уже замѣчено выше—два оттѣнка, не совсѣмъ ладившихъ другъ съ другомъ на бумагѣ и еще менѣе соединимыхъ въ жизни. Онѣ защищали противъ боярства, во-первыхъ, *воинство*, во-вторыхъ, порабощенное (не одними боярами, а также и тѣмъ же воинствомъ) низшее сословіе—*крестьянъ и холоповъ*. Оба эти элемента возстали теперь «на бояръ за убіеніе Дмитрія и самовольное избраніе Василія Шуйскаго». Въ рязанской землѣ возстало «воинство», т.-е. служилые люди; въ сѣверской землѣ возстали бѣглые крестьяне и холопы, прогнанные боярами во время голода, или отпущенные изъ конфискованныхъ у бояръ домовъ, или просто бѣжавшіе самовольно. Тутъ и должно было очень скоро обнаружиться, что оба эти разнородные элемента никоимъ образомъ не могутъ дѣйствовать вмѣстѣ и быть союзниками. Слишкомъ уже были различны у нихъ и цѣли борьбы, и самая ихъ тактика. Бѣглые холопы вовсе не интересовались простой смѣной династіи: вожди ихъ рисовали имъ въ перспективѣ цѣлый соціальный переворотъ. Въ своихъ прокламаціяхъ они «велѣли боярскимъ холопамъ побивать своихъ бояръ и сулили имъ женъ и вотчины, и помѣстья этихъ бояръ, а безымяннымъ бродягамъ велѣли купцовъ и всѣхъ торговыхъ людей побивать и имущество ихъ грабить; призывая къ себѣ этихъ воровъ, они обѣщали имъ и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество». И, дѣйствительно, при первыхъ же успѣхахъ движенія, сѣверскіе бунтовщики начали именемъ истиннаго царя Димитрія «разорять домы своихъ бояръ, грабить ихъ имущество и брать себѣ женъ; бояръ и воеводъ они побивали разными смертями, бросали съ башенъ, вѣшали за ноги, распинали на городовыхъ стѣнахъ»—словомъ, воспроизводили всѣ тѣ сцены, которыя такъ хорошо извѣстны изъ исторіи послѣдующихъ соціальныхъ движеній, Разина и Пугачева. Рязанскіе дворяне немедленно отступились отъ такихъ опасныхъ союзниковъ и вернулись къ союзу съ законной властью, которая затѣмъ уже не жалѣла казней противъ враговъ общественнаго порядка. Цѣлые два года правительство царя Василія вѣшало и топило «воровъ»; вся сѣверская область была объявлена на военномъ положеніи и отдана на разграбленіе инородцамъ—черемисамъ и татарамъ.

Теперь, наконецъ, правительство почувствовало необходимость законодательнаго вмѣшательства въ область соціальныхъ отношеній, но сдѣлало это отнюдь не въ интересахъ «самовластія» личности. Въ 1607 г., непосредственно послѣ возстанія, мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ мѣръ, общая цѣль которыхъ—подчинить правительственному надзору боярскихъ холоповъ и прекратить побѣги крестьянъ на окраину.

Такъ кончилось первое проявленіе соціальнаго протеста противъ новыхъ московскихъ порядковъ. Источники оппозиціи противъ этихъ

порядковъ были теперь сполна исчерпаны. Порядки оказались сильнѣе—и выставлявшихся противъ нихъ идеологій, и даже противорѣчившихъ имъ соціальныхъ интересовъ. И если, при всемъ томъ, эти идеологіи успѣли достаточно ярко заявить о себѣ, то и этимъ онѣ обязаны были, во-первыхъ, тому, что порядки не успѣли еще установиться; во-вторыхъ, тому, что нѣкоторыя изъ этихъ идеологій принялъ подъ свою защиту единственный (кромѣ царской власти) сильный тогда соціальный элементъ—боярство. Въ XVII вѣкѣ оба эти условія перестали дѣйствовать. Порядки установились окончательно, а боярство лишено было царской политикой всякаго политическаго значенія. Немудрено, что въ XVII в. мы уже не найдемъ ничего подобнаго той борьбѣ разнородныхъ политическихъ началъ, какую прослѣдили въ XVI в. Новыя политическія идеологіи развиваются, конечно, своимъ чередомъ, но онѣ развиваются, такъ сказать, извнутри установившагося общественнаго порядка.

О религіозныхъ движеніяхъ XIV и XV в. на Балканскомъ полуостровѣ и на Аѳонѣ см. указанную раньше книгу Радченко и книгу *Ѳ. И. Успенскаго*: «Очерки по исторіи византійской образованности». Одесса. 1892. О караимахъ см. *W. H. Rule*, History of the Karaite jews, и статья «Караимы» въ Энцикл. словарѣ Арсеньева. Теорія западнаго вліянія на возникновеніе ереси во Псковѣ и Новгородѣ развита *Н. С. Тихонравовымъ*, см. его «Сочиненія», т. I, «Отреченныя книги древней Россіи», очеркъ шестой. М. 189. Общій разсказъ о религіозной и политической борьбѣ XV и XVI в., поскольку она отразилась въ литературныхъ произведеніяхъ, см. въ «Исторіи русской литературы» А. Н. Пыпина, т. II, Спб. 1898 г. Здѣсь и библіографическія указанія. Подробности о борьбѣ нестяжателей съ осифлянами см. въ «Изслѣдованіи о сочиненіяхъ Іосифа Санина» И. Хрущова, Спб. 1868 г. и въ «Историческомъ очеркѣ секуляризаціи церковныхъ земель въ Россіи» А. С. Павлова, въ «Запискахъ Новороссійскаго университета», т. VII, О. 1871 г. «Бесѣда Валаамскихъ чудотворцевъ» издана В. Г. Дружининымъ и М. А. Дьяконовымъ, Спб. 1890 г. О подготовкѣ Стоглаваго Собора см. статью *И. Жданова* въ «Журналѣ Министерства Нар. Просвѣщенія», 1876, іюль и августъ. Спеціалисты замѣтятъ, что мы не совсѣмъ согласны съ освѣщеніемъ фактовъ у автора и считаемъ двѣ безымянныя записки, поданныя устроителямъ собора,—принадлежащими не партіи реформъ, а ея противникамъ. О составѣ перваго земскаго собора см. статью *В. О. Ключевскаго*: «Составъ представительства на земскихъ соборахъ древней Руси», въ «Русской Мысли» 1890 г., январь. О губныхъ и земскихъ учрежденіяхъ см. интересную статью *М. Н. Покровскаго*, въ сборникѣ «Мелкая земская единица», изд. кн. П. Д. Долгорукова и кн. Д. И. Шаховскаго. Спб. (1902). Намъ кажется, что словесныя разногласія автора съ нами идутъ нѣсколько дальше, чѣмъ реальныя. Сказанія Ивана Пересвѣтова о царѣ турскомъ Магметѣ и о Петрѣ волошскомъ воеводѣ напечатаны въ «Извѣстіяхъ и ученыхъ запискахъ Казанскаго университета», 1865 г., вып. I. Указанная мною въ текстѣ связь между обоими памфлетами должна быть принята во вниманіе при пересмотрѣ вопроса о времени ихъ написанія. Сказаніе Пересвѣтова, несомнѣнно, составлено тогда, когда вполнѣ выяснился характеръ вліянія Сильвестра на Ивана Грознаго (чародѣйство), но нѣтъ никакой необходимости думать, что всѣ совѣты Пересвѣтова даются имъ post factum, т.-е. тогда, когда Иванъ успѣлъ осуществить ихъ учрежденіемъ опричнины. Идеи «Бесѣды», во вся-

комъ случаѣ, должны были быть въ обращеніи уже ко времени реформъ 50-хъ годовъ. Московскій профессоръ *М. И. Соколовъ*, основываясь на рукописныхъ текстахъ сочиненій Пересвѣтова, различаетъ въ своихъ лекціяхъ двѣ редакціи ихъ, и относитъ *вторую* къ 1549—1550 г. «Обѣ редакціи были поданы царю.... и, повидимому, были приняты, такъ какъ нѣкоторыя мѣропріятія Грознаго соотвѣтствуютъ нѣкоторымъ проектамъ И. Пересвѣтова». См. Очеркъ десятилѣтней научной дѣятельности славянской комиссіи Имп. Моск. Археол. Общества, съ обзоромъ научныхъ трудовъ предсѣдателя комиссіи, М. И. Соколова. М. 1902. Къ сожалѣнію, самый курсъ 1898—99 гг., гдѣ доказываются упомянутыя положенія, мнѣ неизвѣстенъ. О тенденціозной росписи Золотой Палаты—въ духѣ Сильвестра—и Грановитой—въ духѣ Ивашки Пересвѣтова фактическія данныя см. у *Забѣлина*, «Домашній бытъ русскихъ царей», 3-е изд. М. 1895 г. О соціальномъ протестѣ смутнаго времени см. «Очерки по исторіи смуты въ московскомъ государствѣ XVI—XVII вв.» С. Ѳ. Платонова, Спб. 1899 г. Тамъ же и всѣ указанія на источники.

IV.

Торжество націоналистическихъ идеологій.—Побѣда націоналистическихъ идеологій во внѣшней политикѣ: принятіе царскаго титула и теорія византійскаго преемства власти; приложеніе этой теоріи во внѣшнихъ сношеніяхъ; ея распространеніе въ широкихъ кругахъ.—Побѣда націоналистической программы внутренней политики.—Роль боярства и казачества въ смутѣ: паденіе, вмѣстѣ съ ними, политической и соціальной оппозиціи и торжество служилаго класса.—Роль «послѣднихъ людей» въ смутѣ.—Роль служилаго класса.—Попытки дѣйствовать его именемъ и его собственное выступленіе.—Договоръ съ Владиславомъ, какъ первое выраженіе стремленій служилаго класса.—Значеніе правъ, данныхъ въ договорѣ боярской думѣ: взглядъ русскихъ на своихъ бояръ и польскихъ магнатовъ. — Безсиліе боярскаго временнаго правительства и подчиненіе его полякамъ; выступленіе «всей земли» въ видѣ ратнаго совѣта при земскомъ ополченіи: договоръ совѣта съ начальниками ополченія.—Его отношеніе къ договору съ Владиславомъ.—Его обязательность для новаго начальника второго ополченія, Пожарскаго.—Вопросъ о его обязательности для новаго царя: свидѣтельство Фокеродта.—Роль земскаго собора въ первые годы Михаила; соборы при Филаретѣ.—Развитіе бюрократіи и безсильный протестъ дворянства.

Мы познакомились теперь съ элементами, изъ которыхъ слагалось общественное самосознаніе Московской Руси. Мы разсмотрѣли содержаніе какъ націоналистическихъ, такъ и оппозиціонныхъ идеологій XV и XVI вв. Которыя изъ нихъ должны были побѣдить, это предрѣшалось совершенно объективными условіями политической и соціальной жизни Московской Руси. Эти условія мы старались изобразить въ первой части «Очерковъ» и теперь должны предположить ихъ извѣстными. Въ результатѣ этихъ условій—во внѣшней политикѣ московское правительство стало подъ знамя націоналистическихъ идеологій, государственныхъ и религіозныхъ, а во внутренней политикѣ оно стало проводить политическую программу Грознаго и соціальную программу Ивашки Пересвѣтова.

Націоналистическая программа внѣшней политики складывалась съ конца XV вѣка и получила свое окончательное завершеніе и формулировку во второй половинѣ XVI в. Соціально-политическая программа внутренней политики нѣсколько запоздала: во второй половинѣ XVI в. правительство еще вело за нее борьбу, а окончательная побѣда достигнута была лишь въ XVII в., послѣ испытаній смутнаго времени. Теперь мы остановимся нѣсколько подробнѣе на побѣдѣ той и другой программы.

Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ до сихъ поръ хранится живой свидѣтель того момента, когда оффиціально восторжествовала націо-

налистическая идеологія московской государственной власти. Это—царскій тронъ съ балдахиномъ въ формѣ шатровой крыши московскихъ церквей того времени и съ дверцами на три стороны: на каждой изъ этихъ дверецъ изображено по четыре сцены тонкой рѣзной работы. Тутъ же вырѣзанъ и текстъ, поясняющій смыслъ этихъ сценъ: это та самая легенда о присылкѣ Владиміру Мономаху греческимъ императоромъ Константиномъ Мономахомъ царскихъ регалій, съ которой мы познакомились раньше. Въ 1547 г. Иванъ Грозный торжественно вѣнчался на царство и принялъ оффиціально царскій титулъ; въ 1552 г. поспѣлъ и тотъ царскій тронъ, о которомъ мы только что упомянули и которымъ давалась легендѣ о византійскомъ преемствѣ власти оффиціальная санкція *). Въ 1561 г. Иванъ добился и формальнаго признанія легенды со стороны константинопольскаго патріарха. Правда, для этого пришлось немножко подскоблить греческую грамоту, содержавшую въ себѣ не совсѣмъ то, что нужно было царю отъ патріарха; какъ бы то ни было, дѣло было сдѣлано, и московское правительство могло торжественно выступить со своими претензіями передъ иностранными державами.

Эти претензіи, правда, не сразу получили признаніе. Баторій еще въ 1581 г. совѣтуетъ Ивану «не твердить басенъ своихъ бахарей» про Пруса и про Августа кесаря, какъ про своихъ «сродниковъ». Но Иванъ въ долгу не остается и побѣдоносно опровергаетъ сомнѣнія своего соперника простымъ соображеніемъ: «коли ужъ Пруса на свѣтѣ не было,—пусть Стефанъ король намъ объяснитъ, откуда-же взялась пруская земля!». Въ свою очередь и онъ самъ возбуждаетъ сомнѣніе: при такомъ важномъ происхожденіи можетъ-ли онъ, не теряя своего достоинства, сноситься, какъ равный съ равнымъ, съ человѣкомъ, не «отъ государскаго прироженья, а отъ рыцарскаго чина», каковъ Баторій? О шведскомъ королѣ Иванъ еще болѣе низкаго мнѣнія: тотъ прямо «мужичьяго рода». Получивъ грамоту «индѣйской земли государя», московскій царь былъ поставленъ въ крайнее затрудненіе: называть-ли его братомъ въ своемъ отвѣтѣ? Въ концѣ концовъ, онъ рѣшилъ «о братствѣ къ нему не писать», такъ какъ неизвѣстно—«государь-ли онъ, или простой урядникъ». На языкѣ московской политической теоріи это значило: »неограниченный онъ государь или конституціонный». Конституціонную монархію въ Москвѣ ставили чрезвычайно низко. «Мы думали,—писалъ Грозный англійской королевѣ Елизаветѣ,—что ты на своемъ государствѣ государыня и сама владѣешь, а у тебя люди владѣютъ,—и не токмо люди, а мужики торговые..., а ты пребываешь въ своемъ дѣвическомъ чинѣ, какъ есть пошлая дѣвица». Такъ-же презрительно относился Иванъ IV и къ «убогой» власти польскаго короля.

*) Тѣми же изображеніями расписана была, въ томъ же году, часть стѣнъ Золотой Палаты московскаго дворца.

«Ты посаженый государь, а не вотчинный,—писали московскіе бояре Сигизмунду-Августу,—какъ тебя захотѣли паны твои, такъ тебѣ въ жалованье государство и дали; ты въ себѣ и самъ не воленъ, какъ-же тебѣ быть вольнымъ въ своемъ государствѣ?»

Успѣхи націоналистическаго самовозвеличенія завершились провозглашеніемъ полной независимости русской церкви отъ греческой, подъ управленіемъ собственнаго патріарха (1589). Оффиціальный актъ и въ этомъ случаѣ воспользовался легендой, которая давно уже успѣла сдѣлаться популярной. Теоріи о Москвѣ-третьемъ Римѣ, о превосходствѣ русскаго православія, о религіозномъ преемствѣ отъ Византіи (наряду съ государственнымъ)—все это было цѣликомъ внесено изъ литературныхъ источниковъ начала вѣка въ государственный документъ, санкціонировавшій въ концѣ вѣка учрежденіе патріаршіи. Правда, дѣйствительность и здѣсь не совсѣмъ соотвѣтствовала гордымъ національнымъ претензіямъ: московскій патріархъ оказался послѣднимъ въ ряду вселенскихъ, несмотря на усилія московскихъ дипломатовъ добыть ему, если ужъ не первое, то хоть третье мѣсто, Пришлось довольствоваться и этимъ, такъ какъ и самое согласіе на учрежденіе патріаршіи было вырвано у грековъ чуть не насильно.

Мы имѣемъ всѣ основанія думать, что торжество націоналистическихъ теорій не ограничилось одними только правительственными кругами, но уже въ XVI в. стало признаваться и въ средѣ самого населенія. Когда извѣстная идея проникаетъ въ неграмотную массу,—она непремѣнно закрѣпляется въ народной памяти при помощи народной легенды, при помощи размѣра и риѳмы. Книжныя легенды XVI в., наряду съ оффиціальными актами, тоже нашли себѣ путь къ широкой публикѣ, воспринимавшей эти легенды не глазами, а слухомъ. Передавая другъ другу изустно живое преданіе, эта публика перепутала, конечно, имена, событія и даты, но общій смыслъ событій она запомнила твердо. И вотъ какой видъ приняла въ воспоминаніи народной массы извѣстная намъ націоналистическая легенда о пріобрѣтеніи московскимъ княземъ царскихъ регалій. Какъ въ книжномъ источникѣ, такъ и въ народной передачѣ его герой легенды отправляется въ Вавилонъ изъ Царьграда добывать регаліи для *византійскихъ* императоровъ. Но дальше народная фантазія начинаетъ работать самостоятельно. Вернувшись назадъ, въ Византію, посланецъ Ѳедоръ Барма (имя котораго, очевидно, подсказано царскими *бармами*) находитъ тамъ крушеніе царства и вѣры и прямымъ путемъ доставляетъ регаліи единому православному царю вселенной, Ивану Васильевичу. Онъ застаетъ его какъ разъ въ моментъ торжества православія надъ басурманами и въ моментъ дѣйствительнаго принятія Грознымъ царскаго титула. «Тутъ было въ Царьградѣ великое кроволитье: рушилась вѣра правовѣрная, не стало царя православнаго. И пошелъ Ѳедоръ Барма въ нашу Руссію подселенную и пришелъ онъ въ Казань градъ и вошелъ онъ въ

палаты княженецкія, въ княженецкія палаты богатырскія... И улегла тутъ порфира и корона съ града Вавилона на голову грознаго царя правовѣрнаго, Ивана царя Васильевича, который рушилъ царство Проходима, поганаго князя казанскаго».

Всего любопытнѣе то, что народная память не только удержала моментъ національнаго возвеличенія московской государственной власти, но и сохранила представленіе о связи между націоналистической политикой внѣшней и внутренней. Въ народной былинѣ новая государственная власть представляется или грознымъ орудіемъ борьбы съ внутренними врагами, или результатомъ побѣды надъ ними: монархія является на свѣтъ съ демократической программой,—какъ она нарисована была на стѣнахъ Грановитой Палаты,—и съ суровыми аттрибутами власти, согласно тогдашнему убѣжденію: «не великою угрозой угрозити,—то и правды въ землю не ввести».

Когда-жъ то возсіяло солнце красное,
Тогда-то воцарился у насъ Грозный царь,
Грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Заводилъ онъ свой хорошъ почестный пиръ;
Всѣ на почестномъ напивалися,
И всѣ на пиру порасхвастались.
Говорилъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
«Есть чѣмъ царю мнѣ похвастати:
Я повынесъ царенье изъ Царяграда.
Царскую порфиру на себя надѣлъ,
Царскій костыль себѣ въ руки взялъ,
И повыведу измѣну съ каменной Москвы».

Или въ другой формѣ:

«Вывелъ я измѣну изо Пскова,
Вывелъ я измѣну изъ каменной Москвы,
Казанское царство мимоходомъ взялъ,
Царя Симіона подъ миръ склонилъ;
Снялъ я съ царя порфиру царскую,
Привезъ порфиру въ каменну Москву,
Крестилъ я порфиру въ каменной Москвѣ,
Эту порфиру на себя наложилъ,
Послѣ этого сталъ Грозный царь».

Здѣсь какъ будто сохранилась свѣжая память о томъ, какъ живой, не легендарный царь Иванъ Васильевичъ, дѣйствительно, «порасхвастался» передъ своимъ народомъ съ лобнаго мѣста, сваливая всю вину за государственныя нестроенія на бояръ и обѣщая самъ все исправить; или какъ тотъ же Иванъ Грозный объявлялъ публично полтора десятка лѣтъ спустя свою опалу высшимъ общественнымъ слоямъ и свою милость низшимъ, прося у послѣднихъ экстренныхъ полномочій для того, чтобы расправиться съ своими и ихъ врагами, — «повывести измѣну».

Мы видѣли, однако же, что, въ дѣйствительности, программа внутренней политики Грознаго и его сторонниковъ вовсе не была такъ демократична, какъ это могло показаться съ перваго взгляда. «Возсіявшее» надъ Россіей «красное солнце» скоро должно было оказаться кровавымъ заревомъ соціальнаго пожара. Согласно теоріи Пересвѣтова, «воинство»—рядовое дворянство все болѣе и болѣе становилось исключительнымъ предметомъ правительственныхъ заботъ: въ немъ видѣли какъ необходимый элементъ для существованія и независимости государства, такъ и опору противъ притязаній «вельможъ». Его надѣляли землями; ему облегчали тяжесть податей; съ нимъ даже начали совѣщаться о государственныхъ дѣлахъ. Напротивъ, противъ верхняго общественнаго слоя Грозный «сталъ за себя», т.-е. въ интересахъ личнаго самосохраненія. Онъ «губилъ» его «всеродно» и такъ удачно дѣйствовалъ въ этомъ направленіи, что къ концу вѣка боярскій классъ представлялъ изъ себя только одни жалкіе остатки того, чѣмъ онъ былъ въ началѣ вѣка. Что касается низшаго общественнаго слоя, онъ просто выходилъ изъ кругозора московскаго правительства. Оно занялось имъ лишь тогда, когда это понадобилось для того же «воинства»; и, конечно, оно взглянуло на него глазами «воинства». Такимъ образомъ, недовольны положеніемъ должны были быть верхъ и низъ русскаго общества: верхъ, въ которомъ едва теплилась искра старой, почти совершенно сломленной политической оппозиціи, и низъ, въ которомъ быстро копился горючій матеріалъ, грозившій вспыхнуть соціальнымъ протестомъ. Оба элемента въ послѣднемъ счетѣ должны были оказаться несравненно слабѣе общественной середины, представлявшейся служилымъ классомъ московскаго государства. Однако, политическія обстоятельства сложились такъ, что на короткій промежутокъ дали перевѣсъ именно этимъ крайнимъ элементамъ надъ среднимъ.

Внѣшней причиной, совершенно случайнаго свойства, послужило при этомъ прекращеніе династіи. Внутренней причиной, въ которой не было ничего случайнаго, была та степень легкости, съ которой различныя общественныя группы могли мобилизовать свои силы, чтобы воспользоваться представившимися обстоятельствами. Наиболѣе близко къ власти, выпавшей изъ привычныхъ рукъ, стоялъ классъ, только что переставшій быть правящимъ, — боярство. Оно и попробовало первое—эксплуатировать наступившую смуту въ своихъ выгодахъ. Но оно было слишкомъ мало дисциплинировано и слишкомъ заинтересовано, въ лицѣ отдѣльныхъ своихъ представителей, въ разрѣшеніи династическаго вопроса въ пользу того или другого кандидата, чтобы имѣть возможность выиграть въ начавшейся борьбѣ, какъ классъ. Оно, притомъ, слишкомъ было разбито политикой Грознаго и, въ оставшихся своихъ обломкахъ, слишкомъ занято родословными счетами, чтобы представлять какую-нибудь дѣйствительную силу. Его единственнымъ орудіемъ была придворная интрига,—орудіе превосходное въ

болѣе спокойное время, но совершенно непригодное въ тѣхъ трудныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ очутилось государство, благодаря вмѣшательству въ смуту иностранныхъ враговъ и другихъ сословій. Разсчеты боярства не разъ путала уже московская уличная толпа, совсѣмъ не организованная—и сильная лишь, пока стояла на площади. Немудрено, что толпа, организованная въ постоянное военное сообщество, какою были казаки съ присоединившимися къ нимъ бѣглыми крестьянами и холопами, имѣла полную возможность овладѣть положеніемъ на болѣе или менѣе продолжительное время. Несчастіе этой группы состояло лишь въ томъ, что на другой день послѣ побѣды она не знала бы, что ей съ этой побѣдой дѣлать. Она годилась на роль кондотьеровъ; но воспользоваться ею такимъ образомъ было некому, а для самостоятельной политической роли она не годилась. Союзъ ея съ бѣглыми окончательно оттолкнулъ отъ нея всѣ имущіе классы и былъ главнымъ стимуломъ, заставившимъ ихъ принять мѣры самообороны. Вѣрно или невѣрно, но тогдашняя буржуазія была убѣждена, что казаки до самаго конца смуты остались при своемъ «первомъ зломъ совѣтѣ», обнаружившемся еще въ возстаніи Болотникова: что они хотятъ «бояръ и дворянъ и всякихъ чиновъ людей и земскихъ, и уѣздныхъ *лучшихъ* людей побить и имущества ихъ разграбить и завладѣть ими по своему воровскому казацкому обычаю». Этотъ призракъ соціальнаго переворота въ самыхъ нерѣшительныхъ долженъ былъ пробудить охоту дѣйствовать. Съорганизоваться для какого бы то ни было дѣйствія среднему классу было всѣхъ труднѣе: только крайняя нужда могла заставить его подняться, и только очень медленно онъ могъ сговориться и выступить на арену. Но разъ явившись въ роли активнаго элемента, онъ долженъ былъ поставить своей задачей возстановить тотъ прежній порядокъ, при которомъ ему жилось лучше, чѣмъ другимъ общественнымъ группамъ. По существу дѣла, это былъ, стало быть, элементъ консервативный. Его побѣда надъ послѣдней вспышкой политической оппозиціи (боярства) и надъ первымъ взрывомъ соціальнаго протеста (казачества)—должна была очистить путь къ торжеству національной программы во внутренней политикѣ.

Очень часто говорятъ, слѣдуя реторическому выраженію лѣтописца, что московское государство спасли «послѣдніе люди». Конечно, если разумѣть подъ «послѣдними людьми» зажиточное купечество, — какъ это дѣлали привычные къ родословнымъ счетамъ служилые москвичи, то въ эту категорію попадетъ и Кузьма Мининъ. Но тогда не надо забывать, что такимъ же «торговымъ мужикомъ», какъ Мининъ, былъ и его антиподъ, Ѳедька Андроновъ, сторонникъ Владислава и Сигизмунда. Характерно, конечно, для того момента, что люди этого слоя вообще могли получить голосъ въ общественныхъ дѣлахъ; несомнѣнно также, что *и они* нужны были всякому правительству, какъ плательщики и какъ сборщики податей,—и сильное правительство нужно было

имъ для ихъ промышленныхъ предпріятій и торговыхъ оборотовъ. *Послѣ* служилыхъ людей они, дѣйствительно, были самымъ нужнымъ элементомъ: немудрено, что претенденты на власть старались имѣть на своей сторонѣ и тѣхъ и другихъ. Тѣ и другіе—и раскололись между разными претендентами, прежде чѣмъ время рѣшило, кто изъ нихъ окажется «прямымъ», а кто «кривымъ». «Вы бы безъ всякаго сомнѣнья собрались со всѣми людьми и шли къ намъ къ Москвѣ,—уговариваетъ царь Василій отпавшія отъ него области,—и службу бы свою и радѣнье совершили, а мы васъ пожалуемъ нашимъ великимъ жалованьемъ: васъ, помѣщиковъ и дѣтей боярскихъ, пожалуемъ большой денежной и помѣстной придачей, велимъ васъ испомѣстить и наше жалованье дать. А васъ, посадскихъ и уѣздныхъ людей, пожалуемъ льготой на многіе годы: велимъ вамъ торговать безпошлинно и во всемъ васъ отарханимъ, да и сверхъ того пожалуемъ нашимъ великимъ жалованьемъ, чего у васъ и въ разумѣ нѣтъ». Эта грамота чрезвычайно ярко показываетъ, на какіе элементы могло опереться правительство и чѣмъ оно могло вознаградить ихъ за ихъ «службу». Былъ моментъ, когда «посадскіе и уѣздные люди», дѣйствительно, сослужили службу тому же Василію Шуйскому, и *одни, безъ* помощи служилыхъ, «помѣщиковъ и дѣтей боярскихъ». Это было въ тотъ моментъ, когда рядовое дворянство уѣхало отъ «боярскаго» царя— по домамъ или въ Тушино, — а за него сталъ организованный Скопинымъ изъ Новгорода дальній московскій сѣверъ. Тамъ, на этомъ сѣверѣ, никакихъ служилыхъ людей вовсе не было, а только и были посадскіе въ городахъ и черные крестьяне въ уѣздахъ. Когда эти «мужики» явились изъ своихъ сѣверныхъ палестинъ въ центральную Россію,—населеніе тутъ сильно «смутилось». Это были вѣдь настоящіе «послѣдніе люди» государства,—а въ центрѣ привыкли представлять себѣ такихъ послѣднихъ людей не иначе, какъ въ видѣ казаковъ и ихъ бѣглыхъ товарищей. Но ополченцы поспѣшили разсѣять эти страхи. «Вы смущаетесь потому,—писали они жителямъ города Романова,—что будто бы черные люди дворянъ и дѣтей боярскихъ побиваютъ и дома ихъ разоряютъ; а *здѣсь* господа, *черные люди дворянъ и дѣтей боярскихъ чтятъ* и позора имъ никакого нѣтъ». Дѣйствительно, у этихъ поморовъ ничего не было общаго съ южно-русскимъ казачествомъ. Это были просто рекруты, поставленные своими волостями по приказу уѣздныхъ властей и содержавшіеся на счетъ мѣстныхъ государственныхъ сборовъ, отчасти спеціально для этого назначенныхъ. Посылая на помощь правительству этихъ рекрутъ, посадскіе люди исполняли обычную государственную повинность—не такъ охотно какъ всегда, такъ какъ они рисковали теперь попасть на службу не къ тому правительству, которое окажется законнымъ. Въ то самое время, какъ набирались мужицкія ополченія на сѣверѣ, устюжане писали, наприм., сольвычегодцамъ: «пожалуйста, помыслите съ міромъ крѣпко и не спѣшите креста цѣловать:

не угадать, на чемъ совершится...; а если услышимъ, что Богъ пошлетъ гнѣвъ свой праведный на русскую землю, такъ еще до насъ далеко; успѣемъ съ повинной послать». И разсчетъ оказался совершенно правильнымъ. Естественно, что къ концу смуты черносошныя волости русскаго сѣвера, въ лицѣ своихъ посадскихъ руководителей, еще меньше обнаруживали охоты «спѣшить». Такимъ образомъ, *настоящіе* «послѣдніе люди» русской земли приняли самое незначительное участіе въ развязкѣ смутнаго времени.

Главная роль принадлежала здѣсь, безъ сомнѣнія, служилому сословію. Если бы оно успѣло своевременно организоваться и во-время нашло бы себѣ кандидата, достаточно обезпечивающаго его интересы, то смута могла бы кончиться гораздо раньше, чѣмъ это случилось въ дѣйствительности. Задолго до того времени, когда служилое сословіе выработало себѣ, среди смуты, свой собственный представительный органъ, его общественная сила была понята, на него старались опереться, какъ на самый надежный элементъ, его именемъ начали дѣйствовать. Рядомъ съ нимъ ставилось, правда, имя посадскихъ людей, когда рѣчь заходила о голосѣ *всей* земли, но всѣ понимали при этомъ, что фактическимъ представителемъ «всей земли» явится, именно, служилое сословіе,—ратные люди. Когда города сносились съ городами,—это значило, что переписываются между собой ихъ оффиціальные представители, т.-е., за исключеніемъ черносошнаго сѣвера, «большіе дворяне». Когда шла рѣчь о «единомысленномъ земскомъ совѣтѣ», всякій зналъ, что и количественный, и качественный перевѣсъ будетъ имѣть на этомъ совѣтѣ голосъ служилаго сословія. Правда, въ идеѣ это былъ совѣтъ «всѣхъ чиновъ московскаго государства», но въ ряду этихъ «*всѣхъ* чиновъ» всевозможныя, даже самыя мелкія служилыя группы перечислялись самымъ точнымъ образомъ, тогда какъ тяглое населеніе уѣздовъ лишь глухо упоминалось для стилистической полноты въ концѣ обычной формулы и фактически обыкновенно вовсе отсутствовало.

Это не значитъ, конечно, чтобы въ событіяхъ смуты не было мѣста болѣе горячимъ элементамъ и болѣе идеальнымъ побужденіямъ. То и другое, несомнѣнно, было и даже имѣло значительное вліяніе на то, какъ сложилась индивидуальная физіономія событій. Но общій смыслъ ихъ былъ именно таковъ, какъ мы говорили,—и это очень хорошо чувствовали сами дѣйствующія лица громкихъ событій. Василія Шуйскаго свела съ престола народная сходка за Арбатскими воротами; а формулировала она свое дѣло въ слѣдующихъ корректныхъ выраженіяхъ: «дворяне и дѣти боярскія всѣхъ городовъ и гости, и торговые, и всякіе люди, и стрѣльцы, и казаки, и посадскіе и всѣхъ чиновъ люди всего московскаго государства, поговоря межъ себя... били челомъ ему, государю, всякіе люди, чтобы государь государство оставилъ». И дѣйствительно, если бы «дворяне» и т. д. не стояли за спиной пестрой московской толпы, то сверженіе Василія было бы не-

мыслимо. Точно также и Козьма Мининъ могъ быть правъ, вложивъ въ уста преп. Сергія слова: «старѣйшіе на такое дѣло не пойдутъ, если не начнутъ юнѣйшіе»; и все-таки было бы странно объяснять успѣхъ ополченія Пожарскаго подъ Москвой тѣми чувствами, которыя Мининъ вдохнулъ въ нижегородскую молодежь.

Чѣмъ болѣе идея земскаго совѣта «всей земли» становилась реальностью, тѣмъ отчетливѣе вырисовывалась та партійная програма, которую должно было принять будущее правительство изъ рукъ своихъ избирателей. Совершенно ясно сдѣлалось для выступившей на сцену общественной группы, еще въ періодъ, пока шла переписка между городами, что безусловно должны быть отброшены въ сторону интересы двухъ другихъ группъ: боярства и казачества. Раньше чѣмъ сойтись въ Ярославлѣ, городскія ополченія уже дали другъ другу письменныя обязательства—стоять заодно и противъ бояръ, и противъ казаковъ. Отстранивъ формально оба эти активные элемента смуты, служилыя городскія дружины просто игнорировали остальные «чины». Слово «вся рать» было для нихъ совершенно тожественно съ выраженіемъ: «вся земля».

Какъ такое положеніе отразилось на общественной программѣ служилаго сословія, видно изъ обязательствъ, продиктованныхъ имъ своимъ избранникамъ: Владиславу въ договорѣ 17 августа 1610 г.; тріумвирату Трубецкого, Ляпунова и Заруцкаго—въ «приговорѣ» 30 іюня 1611 г.;—вѣроятно, также и Пожарскому и, наконецъ, самому Михаилу Ѳеодоровичу. Первыя два обязательства извѣстны; о послѣднихъ двухъ мы можемъ догадываться.

При каждой новой перемѣнѣ власти програма ратныхъ людей развивалась все полнѣе и послѣдовательнѣе. Основной принципъ ея,—именно тотъ, что голосъ служилыхъ людей изъ городовъ есть голосъ «всей земли» и что онъ долженъ быть выслушанъ во всѣхъ важнѣйшихъ государственныхъ вопросахъ,—этотъ принципъ былъ признанъ давно самими представителями власти. Не говоримъ уже о Борисѣ Годуновѣ, первомъ государственномъ человѣкѣ, который повелъ сознательную и систематическую политику покровительства служилому сословію. Но даже и боярскій избранникъ, Василій Шуйскій, пробовалъ опереться на всю служилую землю—и противъ боярской интриги, и противъ народной «крамолы». Вмѣсто присяги боярамъ, онъ попробовалъ всенародно присягнуть «всей землѣ»,—и вызвалъ этимъ сильнѣйшее раздраженіе своихъ избирателей. Зато, когда въ царскій дворецъ явилась взбунтовавшаяся толпа народа, тотъ же царь Василій сказалъ ей въ лицо, по словамъ лѣтописи: «если хотите убить меня, я готовъ на смерть; но если желаете свергнуть меня съ престола—это невозможно вамъ сдѣлать безъ большихъ бояръ и дворянъ, *безъ совѣта всей россійской земли*». И мы видѣли, что явившіеся, годъ спустя, низложить Василія ратные люди сдѣлали это отъ имени всѣхъ чиновъ

московскаго государства. Низложивъ царя, побѣдители присягнули сами и заставили присягнуть русскую землю и назначенное ими временное правительство кн. Мстиславскаго въ томъ, что «выбрать государя на московское государство имъ боярамъ и всякимъ людямъ *всею землею... сославшись съ городами*». Что подъ «всякими людьми» и подъ «всею землею» ратные люди разумѣли, главнымъ образомъ, себя самихъ, это они тотчасъ же и показали, не дождавшись, пока соберется полный соборъ, и вступивъ, безъ дальнихъ сношеній съ «землей», въ предварительные переговоры съ намѣченнымъ ими кандидатомъ, королевичемъ Владиславомъ. На свое временное правительство дворяне наложили единственное обязательство: «насъ всѣхъ праведнымъ судомъ судити». Вступая въ постоянное соглашеніе съ чужеземнымъ избранникомъ, они, напротивъ, сочли нужнымъ развить это обязательство въ цѣлую программу, послужившую предметомъ формальнаго договора. Вчернѣ этотъ договоръ былъ написанъ подъ Смоленскомъ депутатами отъ дворянства, явившимися туда изъ Тушинскаго лагеря. Окончательно онъ былъ закрѣпленъ подъ Москвой и подписанъ Жолкѣвскимъ и *боярскимъ* правительствомъ. Послѣднее обстоятельство заставило изслѣдователей обратить особенное—и по нашему мнѣнію преувеличенное—вниманіе на тѣ немногія измѣненія, какія были въ немъ сдѣланы при окончательной редакціи. Предполагалось, что въ этихъ измѣненіяхъ особенно проявились *боярскія* тенденціи договора. Въ дѣйствительности, и въ этой редакціи вліяніе дворянства имѣло рѣшающее значеніе. Не даромъ дворяне такъ ревниво слѣдили за переговорами временнаго правительства съ Жолкѣвскимъ и самолично являлись къ послѣднему цѣлыми толпами—до пятисотъ человѣкъ.

Если исключить тѣ пункты договора, которые касаются простаго возстановленія стараго правительственнаго порядка, а также тѣхъ, которые регулируютъ отношенія земли къ кандидату-иностранцу, его землякамъ и его государству,—т.-е. пункты, вытекавшіе изъ особенныхъ условій момента и изъ личности кандидата въ цари—все остальное содержаніе договора съ Владиславомъ имѣетъ главною цѣлью охрану интересовъ служилаго сословія и боярства, *какъ его составной части*. Представители «всей земли» прежде всего заботятся о томъ, чтобы сохранить «жалованье денежное, оброки и помѣстья и вотчины, кто что имѣлъ до сѣхъ мѣстъ», за служилымъ сословіемъ. Затѣмъ они хлопочутъ объ облегченіи своего податного бремени и диктуютъ Владиславу мѣру, впослѣдствіи принятую въ интересахъ служилаго сословія Михаиломъ. Въ запустѣвшіе отъ войны уѣзды они требуютъ «послать описати и дозирати, много-ль чего убыло и доходы велѣть имати съ *живущаго* по описи и дозору, а на запустошенныя вотчины и помѣстья дать льготы, поговоря съ бояры» (см. «Очерки», ч. 1, 4-е изд., стр. 144). Наконецъ, они пользуются случаемъ закрѣпить за собой рабочій трудъ и проектируютъ мѣру, опять-таки осуществленную новою династіей. «Промежъ себя

крестьянамъ выходу не быть; боярамъ и дворянамъ и всѣмъ чинамъ держать крѣпостныхъ людей по прежнему обычаю, по крѣпостямъ (ср. объ этомъ «Очерки», ч. 1, стр. 212—213). Всѣ существенные интересы служилыхъ людей были, такимъ образомъ, ограждены; имъ оставалось позаботиться лишь о томъ, чтобы и впредь, при нормальномъ теченіи государственной жизни, ихъ голосъ былъ выслушанъ при всякой касающейся ихъ государственной реформѣ. Этого они не столько не съумѣли, сколько просто не сочли нужнымъ сдѣлать въ договорѣ съ Владиславомъ. Только относительно «праведнаго суда» они на этотъ разъ приняли болѣе опредѣленное и обязательное для правительства рѣшеніе. «Суду быть и совершаться по прежнему обычаю и по судебнику; а если захотятъ въ чемъ пополнить для укрѣпленія судовъ, государю на то согласиться съ думою бояръ и *всей земли*, чтобъ было все праведно». Это единственный случай, когда предусмотрѣна въ договорѣ необходимость созыва земскаго собора. Надо прибавить, что это также— единственный случай, въ которомъ и новая династія все еще считала необходимымъ прибѣгать къ собору, когда вообще обращеніе ко «всей землѣ» давно уже вышло изъ моды. Очевидно, праведный судъ былъ слишкомъ насущной потребностью, неудовлетвореніе которой черезчуръ тяжело чувствовалось «всѣми чинами» московскаго государства. Всѣ остальныя текущія дѣла служилое сословіе спокойно предоставило правительству, выговоривъ только для болѣе важныхъ дѣлъ необходимость совѣщаться съ «думными людьми». Сюда введено было и правило, установленное при выборѣ Шуйскаго: «не сыскавъ вины и не осудивши судомъ—*всѣми бояры*—никого не казнити и чести ни у кого не отнимати и въ заточенье не засылати, помѣстій и вотчинъ и дворовъ не отнимати», а также не распространять вины на родственниковъ преступника. Это было форменное отнятіе права, формально признаннаго всей землей за Иваномъ Грознымъ, когда тотъ принялся «выводить измѣну изъ каменной Москвы». Сюда же отнесено и еще одно важное правило, тоже фигурировавшее, по сообщенію одного иностранца, въ договорѣ Шуйскаго съ боярами: «доходы государскіе сбирати по прежнему, а сверхъ прежнихъ обычаевъ, *не поговоря съ бояры*, ни въ чемъ не прибавливати». Въ томъ и другомъ случаѣ, отдавая извѣстную категорію дѣлъ въ вѣдѣніе боярской думы, служилое сословіе просто руководилось своей любимой мыслью, что такимъ образомъ оно возвращается къ «прежнему обычаю» и нисколько не думало, чтобы этимъ могло быть усилено боярство, какъ классъ. Единственная мѣра, принятая въ договорѣ прямо въ пользу боярства, была вызвана тѣмъ, что царемъ дѣлался иноземецъ: онъ обязывался, именно, «московскихъ княженецкихъ и боярскихъ родовъ пріѣзжими иноземцами въ отечествѣ и въ чести не тѣснить и не понижать». Но это обязательство вытекало само собой изъ того принятаго въ договорѣ принципа, по которому вообще рѣшено было «польскимъ и литовскимъ

людямъ на Москвѣ ни у какихъ земскихъ расправныхъ дѣлъ и по городамъ въ воеводахъ не быть и городовъ въ намѣстничество польскимъ и литовскимъ людямъ не давать». Только путемъ такой раздачи высшихъ государственныхъ должностей и могли родовитые чужеземцы затѣснить московскіе боярскіе роды. Итакъ, единственная льгота, выговоренная договоромъ въ пользу боярства, вполнѣ совпадала съ интересами самого служилаго сословія, больше всего боявшагося за свои помѣстья и вотчины, «если въ городахъ будутъ распоряжаться чужеземцы». Дворянство, очевидно, имѣло нѣкоторое представленіе о томъ, что происходило по этой части въ самой Польшѣ. Въ Москвѣ по этому поводу происходили интересные политическіе разговоры между поляками и русскими. «Соединитесь съ нами,—говорили поляки,—и у васъ тоже будетъ свобода». «Вамъ дорога ваша свобода,—отвѣчали имъ на это русскіе,—а намъ наша неволя. У васъ не вольность, а своеволіе: сильный грабитъ слабаго, можетъ у него отнять имѣніе и самую жизнь, а найти на него судъ, по вашимъ законамъ, трудно: дѣло можетъ затянуться на цѣлые годы. Съ иного и ничего не возьмешь. *У насъ, напротивъ, самый знатный бояринъ не властенъ обидѣть послѣдняго простолюдина; по первой жалобѣ царь творитъ судъ и расправу.* А если самъ царь поступитъ неправосудно—его воля: отъ царя легче снести обиду, чѣмъ отъ своего брата; на то онъ нашъ общій владыка».

Можно спросить себя, слыша такія рѣчи: ужъ не осуществился ли въ самомъ дѣлѣ демократическо-монархическій идеалъ Ивашки Пересвѣтова? Или, можетъ быть, москвичи изъ патріотизма противопоставляли этотъ русскій идеалъ польской дѣйствительности, забывая упомянуть о русской? Какъ бы то ни было, очевидно, идеалъ проникъ таки въ сознаніе общества: это мы видѣли и раньше; это подтверждается и теперь хотя бы тѣмъ равнодушіемъ, съ которымъ дворянство предоставляло боярамъ—*при царѣ*—заботу о новыхъ налогахъ, о высшемъ уголовномъ судѣ и даже о провѣркѣ правъ самихъ служилыхъ людей на землю: «что кому прибавлено не по достоинству или убавлено безъ вины».

Безъ царя или, точнѣе, въ ожиданіи царя, разсчетъ дворянъ оказался, однако же, совершенно невѣрнымъ. Не то, чтобы временное боярское правительство злоупотребило своей властью: напротивъ, все зло было въ томъ, что этой власти у него, въ отсутствіи «всей земли», оказалось слишкомъ мало, чтобы съ авторитетомъ противустать дальнѣйшимъ польскимъ притязаніямъ на Россію. Для Сигизмунда боярское правительство оказалось такимъ же неопаснымъ, какимъ считали его для самихъ себя московскіе служилые люди. Онъ скоро фальсифицировалъ его составъ, введя въ него своихъ доброхотовъ; въ этомъ видѣ боярское правительство сдѣлалось игрушкой въ рукахъ Гонсѣвскаго. «Къ боярамъ ты ходилъ,—говорили послѣднему потомъ о его

тогдашней дѣятельности въ думѣ,—челобитныя приносилъ; пришедши, сядешь, а возлѣ себя посадишь своихъ совѣтниковъ, а намъ и не слыхать, что ты съ своими совѣтниками говоришь и переговариваешь; и что по которой челобитной велишь сдѣлать, такъ и сдѣлаютъ, а подписываютъ челобитныя твои же совѣтники дьяки». Проигрывала отъ этихъ порядковъ, дѣйствительно, служилая масса, такъ какъ «челобитными», на которыя диктовалъ свои резолюціи Гонсѣвскій—были, главнымъ образомъ, прошенія о пожалованіи земель—въ незаконномъ количествѣ, или людямъ, вовсе не имѣвшимъ на то права. Кромѣ того, руководимое поляками московское временное правительство собиралось нарушить наложенное на него обязательство «выбрать государя всей землей». А вмѣстѣ съ этимъ подвергались вопросу и условія, на которыхъ служилое сословіе приглашало кандидата,—и даже самая личность кандидата.

Такимъ образомъ, служилому сословію—въ интересахъ своихъ и «всей земли» (что, въ данномъ случаѣ, было одно и то же)—пришлось создавать новое правительство. И если ратные люди на этотъ разъ постарались созданное ими правительство отдать *подъ постоянный уже контроль всей земли*, то не потому, чтобы они боялись силы сословія, только-что обнаружившаго свое полное безсиліе, а потому, что обстоятельства требовали правительства дѣйствительно сильнаго. Такъ мы объясняемъ разницу въ содержаніи новаго договора ратныхъ людей съ Ляпуновымъ, Трубецкимъ и Заруцкимъ—въ сравненіи съ только-что разобраннымъ договоромъ съ Владиславомъ. Эти два договора не есть выраженіе политическихъ стремленій двухъ различныхъ общественныхъ слоевъ, а просто двѣ формулировки одной и той же политической программы, разница которыхъ вызвана необходимостью осуществлять старую программу при измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ.

Болѣе активное участіе служилыхъ людей въ новомъ правительствѣ Трубецкого съ товарищами выразилось, прежде всего, тѣмъ, что формальный договоръ съ ними (30 іюня 1611 г.) заключенъ былъ по прямому требованію дворянства и по настоянію представителя служилыхъ людей, Прокопія Ляпунова. Въ концѣ этого договора ратные люди, наученные опытомъ, выговорили себѣ право перемѣнить своихъ избранниковъ, въ случаѣ, если ихъ дѣятельность перестанетъ удовлетворять требованіямъ «всей земли». Что рѣшеніе дворянства равносильно рѣшенію всей земли, въ этомъ ни у кого не возникало никакихъ сомнѣній. Никакихъ принципіальныхъ вопросовъ государственнаго права, уже порѣшенныхъ договоромъ съ Владиславомъ, новый договоръ вновь не возбуждаетъ: «вся земля» продолжаетъ, очевидно, держаться разъ выработанныхъ ею условій; она пока не отказывается еще формально и отъ разъ намѣченнаго ею кандидата. Но одинъ изъ капитальныхъ пунктовъ договора съ Владиславомъ получаетъ въ приговорѣ 30 іюня новую редакцію: избранные землей воеводы обязуются, «не объявя

всей землѣ (не однимъ боярамъ), смертной казни никому не дѣлать и по городамъ не ссылать». Затѣмъ, все остальное содержаніе договора относится къ прекращенію того хищническаго разграбленія служилыхъ земель, которое санкціонировалось московскимъ временнымъ правительствомъ и при помощи котораго Сигизмундъ старался навербовать себѣ свою партію среди московскихъ служилыхъ людей. Любопытно, что, кассируя всѣ такія распоряженія московскаго правительства, ратные люди крайне снисходительно относятся къ своимъ собратьямъ, попользовавшимся отъ польскихъ щедротъ. Такъ какъ для нихъ государство—это они, то имъ не приходится различать между собой «прямыхъ и кривыхъ». И тѣ, что были въ Тушинѣ, и тѣ, что были въ Калугѣ (со вторымъ самозванцемъ), и служившіе царю Василью, и присягнувшіе Владиславу, и даже подслуживающіеся Сигизмунду,— въ случаѣ, если во время отстанутъ отъ своего покровителя, всѣ они члены одного сословія, всѣ имѣютъ право на свою долю въ служилой землѣ. Все дѣло лишь въ томъ, чтобъ однихъ не обдѣлить, другимъ не дать лишняго: въ этомъ главная забота и главный интересъ класса, диктовавшаго приговоръ 30 іюня. Не касаясь, какъ мы уже сказали, принципіальныхъ вопросовъ будущаго государственнаго устройства, не повторяя даже и разъ даннаго обязательства—добиваться избранія государя всей землей, приговоръ всецѣло погруженъ въ детальнѣйшія мѣропріятія по регулированію служилаго землевладѣнія. Наблюденіе за службой и за вознагражденіемъ ея будетъ сосредоточено въ центральныхъ вѣдомствахъ, въ главныхъ изъ нихъ будетъ посаженъ выбранный всей землею «дворянинъ изъ большихъ дворянъ». Всѣ захваченные служилыми людьми лишки будутъ возвращены въ казну, всѣ нуждающіеся и разоренные дворяне надѣлены. Бѣглые въ городъ и къ другимъ помѣщикамъ крестьяне будутъ возвращены старымъ владѣльцамъ (объ этомъ больномъ мѣстѣ тогдашняго хозяйства дворяне не могутъ забыть и въ критическій моментъ). Таковы всѣ существенныя постановленія приговора. То, чего въ немъ не оказалось, должно, очевидно, было считаться регулированнымъ предыдущими постановленіями.

Только ставъ на эту точку зрѣнія,—что приговоръ 30 іюня не *отмѣняетъ, а дополняетъ* прежнія обязательства, взятыя на себя «всей землей», мы составимъ себѣ правильное понятіе о его значеніи. Ново въ немъ то, что «вся земля» съ этихъ поръ считаетъ необходимымъ оставаться en permanence при ратномъ ополченіи, въ качествѣ постояннаго «земскаго совѣта». Цѣли остаются старыя; но старое средство, боярское представительство земли, оказалось недостаточнымъ: оно и замѣняется съ этихъ поръ новымъ непосредственнымъ представительствомъ самого служилаго сословія. Силою обстоятельствъ на мѣсто боярской думы выдвигается земскій соборъ.

Мы имѣемъ основанія думать, что договоръ перваго земскаго опол-

ченія съ Трубецкимъ сохранилъ свою обязательность и для преемниковъ обѣихъ сторонъ: для второго земскаго ополченія съ Пожарскимъ. Если даже онъ и не былъ возобновленъ формально *), то вѣдь и надобности въ такомъ возобновленіи не было. «Вся земля», разошедшаяся изъ-подъ Москвы послѣ убійства Ляпунова—,это была та же самая земля, которая вновь пришла подъ Москву съ Пожарскимъ. А «перемѣнить» своихъ бояръ и воеводъ «вся земля» предоставила себѣ право еще въ договорѣ 30 іюня. Новый представитель земли началъ съ того, что возобновилъ въ памяти всей земли старую, данную ею присягу: «совѣтовать со всякими людьми общимъ совѣтомъ, чтобъ по совѣту всего государства выбрать общимъ совѣтомъ государя». Онъ распорядился также и о созывѣ «всякихъ чиновъ людей для земскаго совѣта вскорѣ». Собравшійся такимъ образомъ—впервые въ такомъ полномъ составѣ—земскій соборъ вступилъ во всѣ функціи, предусмотрѣнныя договоромъ ратныхъ людей съ Трубецкимъ. Онъ, напримѣръ, принялся отбирать дворцовыя земли, расхватанныя служилыми людьми при помощи временнаго московскаго правительства: это прямо было предусмотрѣно договоромъ съ Трубецкимъ. Когда произошло покушеніе на жизнь Пожарскаго, преступниковъ пытала «*вся рать и посадскіе люди*», и «разослали ихъ по городамъ и темницамъ *землею*», т.-е. было исполнено указанное выше условіе договора: «не объявя всей землѣ, смертной казни никому не дѣлать и по городамъ не ссылать».

Какъ долго дѣйствовалъ новый «земскій совѣтъ» съ правами, предоставленными ему договоромъ съ Трубецкимъ или перешедшими къ нему отъ временнаго боярскаго правительства, роль котораго онъ поневолѣ долженъ былъ на себя взять? Былъ ли такой моментъ, когда эти функціи сняты были съ него формально и когда онъ вошелъ въ скромныя рамки дѣятельности обыкновеннаго земскаго собора? Эти вопросы прямо приводятъ насъ къ разъясненію одного пункта, до сихъ поръ остающагося спорнымъ. Рѣчь идетъ о взаимныхъ отношеніяхъ, какія установились между этимъ самымъ земскимъ соборомъ—и первымъ царемъ новой династіи.

Отвѣтъ, который мы даемъ на этотъ вопросъ, прямо вытекаетъ изъ всего нашего взгляда на значеніе предыдущихъ соглашеній «всей земли» съ мѣнявшимися представителями власти и кандидатами на престолъ. Изслѣдователи напрасно, какъ намъ кажется, разсматривали каждое изъ этихъ соглашеній совершенно отдѣльно отъ другихъ или, когда приводили ихъ въ связь, то старались отыскать въ каж-

*) На формальный актъ «выбора», необходимо сопровождавшійся и письменнымъ документомъ, «приговоромъ», указываетъ торжественный титулъ Пожарскаго; «по избранью всѣхъ чиновъ людей россійскаго государства—у ратныхъ и у земскихъ дѣлъ стольникъ и воевода Дмитрій Пожарскій съ товарищи». Это—буквальное повтореніе вступительныхъ выраженій договора съ Трубецкимъ.

домъ выраженіе интересовъ какого-нибудь *особаго* общественнаго слоя. Если разсматривать всѣ эти заявленія въ связи, какъ рядъ постоянно приспособлявшихся къ обстоятельствамъ заявленій отъ имени «всей земли»,—заявленій *одного и того же* сословія, все болѣе сильнаго, по мѣрѣ того какъ оно все болѣе оказывалось организованнымъ,—тогда отвѣтъ на поставленный вопросъ станетъ ясенъ самъ собой.

Уже по тому количеству свѣдѣній о соглашеніи Михаила Θеодоровича со всей землей, какое дошло до насъ, и по разнообразію источниковъ, изъ которыхъ идутъ однородныя показанія, — мы можемъ заключить, что фактъ этотъ не выдуманъ. Еще больше убѣдимся въ этомъ, если разберемъ содержаніе этихъ показаній.

Самое обстоятельное изъ нихъ принадлежитъ современнику Петра Великаго, Фокеродту — наблюдателю, которому нельзя отказать ни въ умѣ, ни въ освѣдомленности. По его словамъ, «вельможи составили изъ себя родъ сената, который они назвали соборомъ и въ которомъ засѣдали и имѣли голосъ не только бояре, но также и всѣ другія лица, занимавшія высокія государственныя должности (welche in hohen Reichsbedienungen standen). Они приняли единодушное рѣшеніе — не выбирать въ цари никого, кто не обѣщаетъ имъ клятвенно: предоставить полный ходъ правосудію по старымъ законамъ страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; безъ согласія собора не вводить никакихъ новыхъ законовъ, не отягчать подданныхъ новыми налогами и не принимать самомалѣйшихъ рѣшеній въ ратныхъ и земскихъ дѣлахъ (in Kriegs—und Friedensgeschäften). Чтобы крѣпче связать новаго царя этими условіями, они рѣшили не избирать своимъ властелиномъ никого, кто принадлежалъ бы къ вліятельной фамиліи и имѣлъ бы много приверженцевъ, съ помощью которыхъ могъ бы нарушить предписанные ему законы и вернуть себѣ снова верховную власть... Царь Михаилъ подписалъ эти условія безъ колебаній, и въ теченіе нѣкотораго времени правленіе велось предписаннымъ образомъ».

За исключеніемъ извѣстія о выборѣ «фамиліи», къ которой долженъ былъ принадлежать избираемый государь, — въ сообщеніи Фокеродта нѣтъ ничего для насъ новаго. Изложенныя имъ условія—тѣ же самыя, какія предлагались Владиславу, только съ замѣной боярской думы соборомъ, съ участіемъ «не однихъ бояръ», но также и другихъ лицъ. Такая перемѣна, дѣйствительно, была сдѣлана въ условіяхъ, какъ намъ извѣстно изъ договора дворянства съ Трубецкимъ. Мы не знаемъ, возобновленъ ли былъ этотъ договоръ формально съ Пожарскимъ, но если даже не было новаго соглашенія, то намъ остается только принять, что оставалось въ силѣ старое, такъ какъ мы видѣли выше, что Пожарскій считалъ себя связаннымъ нѣкоторыми и притомъ важнѣйшими постановленіями стараго договора. Фокеродтъ нѣсколько смутно изобразилъ то учрежденіе, въ пользу котораго вводились ограниченія власти: не то это—дума, не то—земскій соборъ. Но даже и въ этомъ

отношеніи его показаніе очень близко къ истинѣ. Мы знаемъ, что «ратный совѣтъ» при ополченіяхъ, договаривавшійся съ вождями этихъ ополченій, дѣйствительно, пересталъ походить на думу, не пріобрѣтя еще, между тѣмъ, характера полнаго земскаго собора. Въ этомъ совѣтѣ, въ самомъ дѣлѣ, были «не одни бояре»; но и «всѣ чины» присутствовали пока лишь на бумагѣ. Не менѣе вѣрно и очень важно въ разсказѣ Фокеродта—то, что онъ представляетъ условія выработанными *заранѣе*, до опредѣленія личности кандидата. Такъ и должно было быть, если условія, предложенныя Михаилу, были тѣ же самыя, какія предложены раньше Владиславу и измѣнены потомъ тѣмъ фактомъ, что вмѣсто московскаго боярскаго правительства событія выдвинули органъ «всей земли», замѣнившій бояръ въ ихъ правахъ и обязанностяхъ. Такимъ образомъ, свидѣтельство Фокеродта во всѣхъ своихъ оттѣнкахъ соотвѣтствуетъ исторической обстановкѣ того момента, къ которому относится. Напротивъ, въ русскихъ историческихъ записяхъ—уже въ XVII столѣтіи—событіе приняло одностороннюю и невѣрную окраску, вызвавшую совершенно справедливыя сомнѣнія изслѣдователей. Напрасно только, вмѣсто того, чтобы усомниться въ *оцѣнкѣ* факта русскими источниками, эти изслѣдователи усумнились въ *самомъ фактѣ*. Такъ, какъ передаютъ фактъ псковская лѣтопись и Котошихинъ,—это выходитъ повтореніе исторіи съ царемъ Шуйскимъ: *бояре* обязали царя безъ суда и вины никого не казнить и безъ *боярскаго совѣта* ничего не дѣлать. Конечно, какъ стояли дѣла въ моментъ избранія новаго царя,—*бояре* были безсильны и не могли наложить никакихъ обязательствъ: они сами, наравнѣ съ казаками, сдѣлались, какъ мы видѣли, предметомъ вражды всей земли, всемогущей тогда въ лицѣ своей рати и своихъ представителей на земскомъ соборѣ.

Роль земскаго собора въ послѣдніе мѣсяцы смуты и въ первыя девять лѣтъ царствованія Михаила Θеодоровича окончательно убѣждаютъ насъ въ правильности нашего пониманія дѣла. Какъ извѣстно, роль эта была совершенно исключительная. Соборъ превратился на это время изъ учрежденія, созывавшагося въ *исключительныхъ* случаяхъ для подачи *совѣщательнаго* голоса по *тѣмъ только* вопросамъ, съ которыми обращалась къ нему власть,—въ постоянное учрежденіе, засѣдавшее непрерывно, съ постояннымъ составомъ депутатовъ, перемѣнявшихся по трехлѣтіямъ, съ широкимъ кругомъ дѣлъ не только законодательнаго и учредительнаго, но и чисто распорядительнаго характера. Это учрежденіе непосредственно отъ своего имени сносилось съ областной администраціей. Словомъ, въ тогдашнихъ экстренныхъ обстоятельствахъ, оно, дѣйствительно, вѣдало «самомалѣйшія (die allergeringsten) дѣла войны и мира». Обычная московская формула закона и указа: «государь указалъ, а бояре приговорили», смѣнилась на время другою: «мы, великій государь, говорили и совѣтовали на соборѣ, а всѣхъ великихъ россійскихъ государствъ (или «городовъ») ратные

и выборные и всякіе люди приговорили». Въ особенно важныхъ случаяхъ, «чтобы вамъ (землѣ) наше (депутатское) обѣщаніе было вѣдомо», всякихъ чиновъ люди даже прикладывали свои руки къ такимъ «государевымъ указамъ и всей земли приговорамъ».

И въ другомъ своемъ сообщеніи Фокеродтъ оказывается совершенно правъ: дѣйствительно, только-что описанный порядокъ дѣйствовалъ очень недолго, — только «до тѣхъ поръ, пока не вернулся изъ польскаго плѣна отецъ государевъ Филаретъ». Въ 1619 г. онъ пріѣхалъ въ Москву, въ 1622 г. кончилась очередная (третья) сессія постояннаго земскаго собора, та самая, при участіи которой Филаретъ выполнилъ одно изъ важнѣйшихъ обязательствъ, возлагавшихся на Владислава,—привесть въ извѣстность потери служилыхъ людей въ разоренныхъ смутой мѣстностяхъ и дать имъ податныя льготы. Послѣ того Филаретъ пересталъ созывать новыхъ депутатовъ. Даже польскую войну онъ началъ, десять лѣтъ спустя, не спросившись «всей земли». Но война затянулась и потребовала дополнительныхъ военныхъ расходовъ, не предусмотрѣнныхъ раньше: необходимо было обязать всю землю обложить себя новымъ налогомъ,—и земскій соборъ опять появился на сцену (въ 1633 и 1634). Та же исторія повторилась черезъ три-четыре года. Опять правительство попробовало обойтись безъ помощи собора, опять это не удалось, и пришлось созвать соборъ для назначенія всей землей новаго налога и новаго набора. Но даже изъ формально обѣщанныхъ депутатами денегъ удалось собрать немногимъ больше половины оклада; можно себѣ представить, къ чему приводило взиманіе денегъ и рекрутъ собственными силами правительства и для чего, слѣдовательно, необходимъ еще былъ правительству соборъ. Наученная горькимъ опытомъ, власть уже серьезнѣе отнеслась къ вопросу, воевать или не воевать, когда этотъ вопросъ вновь представился по поводу взятія казаками Азова (1642). «Чины» всей земли были на этотъ разъ собраны въ особенной полнотѣ и ихъ мнѣнія отбирались особенно тщательно и детально, «на письмѣ». Правительство спрашивало: разрывать ли съ турецкимъ и крымскимъ царемъ, и если разрывать, откуда взять средства для войны, которая можетъ оказаться очень продолжительной? Депутаты—преимущественно тѣхъ слоевъ общества, отъ которыхъ и зависѣла исправность платежей, отвѣчали, что они платить не могутъ, и Азовъ былъ очищенъ. Въ послѣдній разъ «вся земля» рѣшила вопросъ о войнѣ и мирѣ, и въ первый разъ въ голосѣ всей земли послышалась новая нота. «Пуще турецкихъ и крымскихъ бусурманъ мы разорены отъ московской волокиты и отъ неправедныхъ судовъ«, говорили представители городского дворянства. «Наша братья», городовые дворяне идутъ въ Москву въ чиновники («къ государевымъ дѣламъ»); служа въ приказахъ и по областному управленію, они наживаются, а военная служба страдаетъ. Дворовые люди государя тоже занимаютъ выгодныя должности по упра-

вленію дворцовыми имуществами, а полковой службы не служатъ. Дьяки и подьячіе, находясь постоянно «у государевыхъ дѣлъ», берутъ взятки и наживаютъ себѣ такія «неудобьсказаемыя палаты», какихъ при прежнихъ государяхъ не было и у «великородныхъ» людей. Торговые люди прибавляли къ этому, что они страдаютъ отъ воеводъ: «при прежнихъ государяхъ въ городахъ вѣдали губные старосты, а посадскіе люди судились сами промежъ себя, а воеводъ въ городахъ не было; посылались они только въ окраинные города съ ратными людьми для береженья отъ тѣхъ же турецкихъ и крымскихъ и нагайскихъ людей». Наконецъ, и мелкіе тяглецы московскихъ черныхъ слободъ жаловались, что государство запрягло ихъ на службы,—въ цѣловальники по приказамъ, въ «ярыжные», въ пожарный обозъ при московской полиціи. Смыслъ всѣхъ этихъ крупныхъ и мелкихъ неудовольствій былъ одинъ и тотъ же. Въ тотъ моментъ, когда «вся земля» непосредственнымъ личнымъ усиліемъ отдѣлалась отъ бояръ и отъ казаковъ, когда она думала подъ наблюденіемъ своихъ депутатовъ возстановить «прежніе обычаи» московскаго государства, передъ ней обрисовалось не новое по существу, но новое по размѣрамъ зло, которое, притомъ, слишкомъ тѣсно было связано съ тѣмъ самымъ благомъ, къ которому земля стремилась,—съ упорядоченіемъ государства. Противъ этого неожиданнаго врага «земля», въ свою очередь, оказывалась безсильной.

Дѣло въ томъ, что необходимость въ постоянномъ земскомъ соборѣ вызывалась полнымъ разрушеніемъ управленія и отсутствіемъ правильной администраціи. Естественно, что реорганизація управленія была первой мѣрой, которую долженъ былъ принять государевъ отецъ, начавши «вновь строить государство». Онъ принялся за выполненіе этой задачи со свойственной ему энергіей и умѣніемъ. Результатомъ его усилій былъ тотъ строго-бюрократическій строй, который, безъ сомнѣнія, приводилъ въ порядокъ государственныя дѣла, но въ то же время избавлялъ власть отъ необходимости справляться при всякомъ важномъ случаѣ съ настроеніемъ «всѣхъ чиновъ». Вновь налаженный порядокъ управленія отдавалъ государство въ руки всемогущей бюрократіи, надъ злоупотребленіями которой никакой дѣйствительный контроль былъ невозможенъ.

Такимъ образомъ и произошло, что то же самое сословіе, которое за нѣсколько лѣтъ раньше законодательствовало и распоряжалось отъ своего собственнаго имени, въ ближайшій слѣдующій моментъ поставлено было въ необходимость изливать передъ властью свои безсильныя жалобы. Но какъ же могло оно само допустить такую невыгодную для себя перемѣну?

Отвѣтъ мы найдемъ въ извѣстныхъ намъ уже отчасти взглядахъ самого служилаго сословія на ту роль, которая выпала ему на долю въ событіяхъ смутнаго времени. Оно представляло себѣ эту роль вре-

менной и чрезвычайной. Оно вовсе не сознавало, что своимъ договоромъ съ избиравшимися имъ представителями власти устанавливаетъ новый государственный порядокъ. Оно видѣло въ этомъ только кратчайшій путь къ возстановленію «прежняго обычая». Его единственной цѣлью было, «чтобы россійское государство послѣ московскаго разоренія впредь безгосударно не было». Оно боялось, такимъ образомъ, не излишества власти, а недостаточности власти, и противъ *этого* принимало свои мѣры. Вотъ почему, вмѣсто того, чтобы организовать надъ властью правильный *контроль* и позаботиться о дѣйствительности такого контроля, оно не побоялось *само стать правительствомъ*, чтобы помочь минутной слабости власти; а когда эта минута прошла, оно сразу — и безъ всякаго протеста — потеряло и участіе въ правительствѣ, и возможность контроля. Съ своей точки зрѣнія, оно даже еще слишкомъ долго засидѣлось въ правительствѣ: на свои депутатскія полномочія оно всегда смотрѣло, какъ на непріятную повинность, къ отбыванію которой надо приступать какъ можно позже и отбывать ее какъ можно скорѣй. Ни вкуса, ни потребности во власти не развили въ служиломъ сословіи эти нѣсколько лѣтъ постоянныхъ мытарствъ по ополченіямъ и соборамъ. Болѣе ловкіе члены сословія воспользовались близостью ко двору и правительству, чтобы устроиться «у государевыхъ дѣлъ». Масса стремилась использовать плоды своего короткаго участія во власти у себя дома, въ деревнѣ. Обезпечить за своимъ сословіемъ, какъ цѣлымъ, политическую власть въ будущемъ не приходило въ голову ни тѣмъ, ни другимъ. Для этого въ сословіи было слишкомъ мало организованности и политическаго смысла. Его политическіе взгляды, въ огромномъ большинствѣ, совпадали съ тѣми, которые намъ извѣстны изъ разговора поляка съ русскимъ въ Москвѣ (стр. 84).

Все это приводитъ насъ къ заключенію, что въ сознаніи господствовавшаго сословія того времени мы не найдемъ элементовъ оппозиціи и критики. Содержаніе этого сознанія исчерпывается извѣстными намъ націоналистическими идеологіями. Чтобы найти элементы критики въ XVII ст., надо обращаться не къ классовой борьбѣ, какъ это мы дѣлали по поводу XV и XVI ст. Мы найдемъ эти элементы въ самой бюрократіи, въ вызванномъ ея дѣятельностью приливѣ иноземныхъ идей.

Данныя о побѣдѣ націоналистическихъ идеологій см. въ цитированныхъ раньше книгахъ М. А. Дьяконова и И. Жданова, а также въ «Главныхъ теченіяхъ русской исторической мысли» автора «Очерковъ». Новѣйшее изложеніе событій смутнаго времени съ точки зрѣнія классовой борьбы принадлежитъ С. Ѳ. Платонову: см. его «Очерки по исторіи смуты», Спб. 1899. Въ предыдущей литературѣ идея постепеннаго выступленія различныхъ общественныхъ слоевъ, какъ причины продолжительности смуты, съ особенной яркостью развита В. О. Ключевскимъ въ его «Боярской думѣ», гл. XVIII, изд. 3-е, пересмотрѣнное, М. 1902. Ср. также его «Краткое посо-

біе по русской исторіи». М. 1899. Въ текстѣ мы старались мотивировать наши собственныя отклоненія отъ взглядовъ обоихъ изслѣдователей (въ новомъ изданіи «Боярской Думы» подчеркнуты единство и ростъ идеи земскаго собора среди пестрыхъ явленій смуты. Это сближаетъ изображеніе автора съ нашимъ собственнымъ остается только признать преобладающую роль служилаго класса въ соборѣ и связь между смѣнявшими другъ друга конституціями смуты, включая и «запись Михаила Θеодоровича). Текстъ договора съ Владиславомъ напечатанъ въ «Собраніи государственныхъ грамотъ и договоровъ», т. II, № 200. Текстъ приговора 30-го іюня см. въ «Исторіи» Карамзина, т. XII, примѣчаніе 793. Сочиненіе Фокеродта издано *Ф. Германномъ* въ книжкѣ: «Russland unter Peter dem Grossen». Lpz. 1872; русскій переводъ см. въ «Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей», 1874 г., кн. II. Политическій разговоръ поляка съ русскимъ въ Москвѣ разсказанъ въ дневникѣ *Маскѣвича*, см. «Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ», изд. 3-е, ч. II. Спб. 1859. Фактическія данныя о земскихъ соборахъ подобраны въ сочиненіи *В. Н. Латкина*: «Земскіе соборы древней Руси», Спб. 1885. Показанія разныхъ чиновъ людей на соборѣ 1642 г. см. въ «Собраніи грамотъ и договоровъ», т. III, № 113.

V.

Происхожденіе націоналистической традиціи, какъ первый продуктъ дѣйствія иноземныхъ факторовъ. — Вторженіе иноземныхъ элементовъ въ обстановку домашней жизни, во времяпрепровожденіе. — Болѣе глубокое вліяніе—при помощи непосредственнаго сближенія съ иностранцами.—Русскіе за границей: стипендіаты и послы.—Иностранная колонія въ Москвѣ.—Внѣшняя исторія Нѣмецкой слободы.—Ея составъ по профессіямъ и вѣроисповѣданіямъ.—Перекресты.—Вліяніе иноземной литературы: учителя языковъ, библіотеки, переводы.—Національная реакція противъ иностранцевъ и иностраннаго вліянія.—Стихійная реакція народной массы.—Планомѣрная реакція правительства: принятыя имъ мѣры противъ иностранцевъ. — Первая систематическая теорія русскаго націонализма, представленная Юріемъ Крижаничемъ.—Его резюме культурнаго положенія Россіи во второй половинѣ XVII вѣка.—Средства борьбы противъ иностраннаго вліянія въ торговлѣ, въ войскахъ. Контрастъ въ области быта и золотая середина. — Преимущества монархическаго строя, необходимость смягченія «крутого владѣнія».—Взглядъ на обязанности государя.—Поднятіе производительныхъ силъ, какъ главная черта положительной программы.—Проектъ сословныхъ вольностей.—Отношеніе положительной программы націонализма къ программѣ реформы.

Русскіе націоналисты всегда считали XVII в. эпохой самаго полнаго расцвѣта національныхъ идеаловъ. Русскіе западники видѣли въ томъ же самомъ столѣтіи періодъ подготовки петровской реформы, т.-е. европеизаціи Россіи. То и другое—одинаково вѣрно. Мы видимъ въ этихъ двухъ утвержденіяхъ не два противорѣчивыхъ положенія, исключающія другъ друга, а двѣ стороны одной и той же истины, тѣснѣйшимъ образомъ связанныя другъ съ другомъ. Въ XVII в., дѣйствительно, первые косые лучи европейскаго просвѣщенія начали золотить верхушки русскаго общества. Голые, сѣрые стволы, на которыхъ пышно распускались эти верхушки, дали длинныя тѣни. Эти тѣни—неразлучныя со свѣтомъ—и есть отраженіе въ общественномъ сознаніи національной своеобразности.

Сравненіе, взятое изъ практики любителя-фотографа, можетъ быть, еще лучше пояснитъ нашу мысль. Фотографическая пластинка, уже воспринявшая изображеніе, полная фигуръ и образовъ, тѣней и свѣта, на видъ остается такой же чистой и гладкой, какою была раньше. Но стоитъ погрузить ее въ извѣстный химическій растворъ, чтобы ея внутреннее содержаніе тотчасъ начало проявляться. Прежде всего, покрывается густой черной тѣнью небо и даль. На этомъ фонѣ рѣзко вы-

ступаютъ бѣлые силуэты перваго плана, пока ничѣмъ не наполненные. Но вотъ тамъ и сямъ на бѣлыхъ мѣстахъ начинаютъ выступать рѣзкіе черные штрихи; за ними появляются полутоны и, наконецъ, все сливается въ одну цѣлую картину. Картина была, собственно, готова до своего «проявленія» въ растворѣ. Но всякій фотографъ знаетъ, что не только необходимъ «проявитель» для обнаруженія картины, но что, до извѣстной степени, можно повліять на распредѣленіе свѣта и тѣней въ картинѣ, видоизмѣняя составъ раствора.

Иностранное вліяніе обыкновенно играетъ роль такого «проявителя» созданной исторіей картины—даннаго національнаго типа. Раньше чѣмъ началъ дѣйствовать этотъ реактивъ, нація такъ же мало сознаетъ свою національность, какъ герой Мольера сознавалъ, что онъ говоритъ прозой. Въ общественной, какъ и въ индивидуальной психикѣ, сознаніе является результатомъ контраста. Тамъ гдѣ контрастъ можетъ скорѣе и легче обнаружиться (напр., въ небольшихъ племенныхъ группахъ, среди смѣшаннаго населенія, въ пограничныхъ мѣстностяхъ и т. п.), тамъ и сознаніе національныхъ отличій является скорѣе и принимаетъ болѣе острыя формы. Напротивъ, въ такой странѣ, какъ Россія, національное самосознаніе должно было развиться поздно и медленно и, даже развившись, часто имѣло характеръ не инстинкта, а отвлеченной идеи—у руководителей массы, характеръ пароксизма, а не постоянно дѣйствующаго фактора,—у самой этой массы.

И въ самой послѣдовательности развитія національнаго сознанія можно найти нѣкоторую параллель съ приведеннымъ нами фотографическимъ примѣромъ. Тутъ тоже есть своя рѣзкая разница между чернымъ фономъ чужой національности и бѣлымъ контуромъ собственной,—разница, которая отмѣчается въ сознаніи прежде всего. Такой разграничительной чертой для національнаго сознанія является обыкновенно вѣроисповѣдная форма. Вѣра въ соціологіи—совсѣмъ не то, что въ богословіи: не совокупность откровенныхъ истинъ, обыкновенно мало извѣстныхъ и даже мало доступныхъ массамъ, а всѣмъ извѣстное, доступное и понятное знамя, вокругъ котораго сосредоточивается борьба за національныя особенности. Естественно, что при такомъ пониманіи—вѣра и національность становились понятіями тожественными, нераздѣльными другъ отъ друга. Тотъ, кто стоялъ «за вѣру», тѣмъ самымъ стоялъ за національность, замѣняя только первымъ, болѣе нагляднымъ понятіемъ, второе, болѣе отвлеченное. Безъ сомнѣнія, такой именно смыслъ имѣли всѣ подобныя заявленія людей смутнаго времени—этого перваго пароксизма національнаго самосознанія, первой широкой популяризаціи контраста между своимъ и чужимъ. Перемѣнить вѣру—это было такъ же физически невозможно, какъ перемѣнить «натуру». Русскій человѣкъ становился втупикъ передъ такимъ, напр., явленіемъ, какъ превращеніе русскаго молодца, посланнаго Годуновымъ за границу учиться языкамъ, въ англиканскаго пастора. Онъ просто не хо-

тѣлъ повѣрить въ самую возможность подобнаго превращенія. Онъ допускалъ, что англичане силой принудили русскаго стипендіата перемѣнить вѣру, готовъ былъ даже допустить, что тотъ «съ молодости попрельстился»; но чтобы онъ добровольно отказался вернуться на родину,—нѣтъ: «нестаточное то дѣло—православныя вѣры отбыть и природнаго государства и государя своего и отцовъ и матерей своихъ и роду и племяни забыть». «*А своей природы какъ забыть*», спрашивали русскіе послы англійское правительство—и лѣтъ двадцать настаивали на возвращеніи въ Россію ея блуднаго сына.

Но какое же національное содержаніе скрывалось подъ этимъ вѣроисповѣднымъ символомъ? Какія отдѣльныя черты соединены были этой общей скобкой — бѣлаго вѣроисповѣднаго контура? И когда начали «проявляться» въ сознаніи отдѣльныя черты, заполнявшія контуръ?

Чтобы привести въ сознаніе содержимое символа, нужно было дальнѣйшее дѣйствіе нашего «проявителя». Нравы, бытъ, тѣ или другія черты жизни, обстановки, характера—только тогда могли быть поняты какъ специфически-національныя, когда рядомъ съ ними стали параллельныя и въ то же время контрастирующія черты чуждыхъ нравовъ, чужого быта. А это случилось—въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ—только въ XVII столѣтіи. Вотъ почему наполненіе голыхъ вѣроисповѣдныхъ контуровъ національнаго самосознанія живыми чертами быта и могло быть дѣломъ только XVII столѣтія. Естественно, что бытъ и запечатлѣлся въ національномъ сознаніи именно въ той самой формѣ, въ которую онъ сложился въ моментъ своего «проявленія», въ XVII вѣкѣ. Не все, конечно, въ этомъ бытѣ, только что достигшемъ тогда высшей точки своего развитія и только что начинавшемъ отживать свое время, — не все въ немъ было безусловно самобытно и національно. Напротивъ, за все предыдущее время, когда еще не сложилось, по контрасту понятіе о національномъ типѣ быта,—не мало отдѣльныхъ чертъ чужого быта успѣли контрабандой проскользнуть въ составъ національнаго типа и получили въ немъ теперь національную санкцію. За «свое» пошло не мало чужого, но заимствованнаго раньше, въ періодъ безсознательнаго развитія національности. Отдѣляя это чужое, принятое за свое, отъ чужого, сохранившаго на себѣ въ общемъ сознаніи свое привозное клеймо, мы въ каждой отдѣльной области жизни могли бы точно опредѣлить, гдѣ прошла граница между безсознательной и сознательной порою національнаго развитія.

Могутъ возразить, однако, что здѣсь дѣло просто во времени. Пройдетъ время,—и недавно усвоенное станетъ давно усвоеннымъ, и сознаніе о его чуждомъ происхожденіи тоже будетъ потеряно, какъ потерялось сознаніе о происхожденіи бытового инвентаря XVII вѣка. Это совершенно вѣрно, но это нисколько не мѣшаетъ намъ утверждать, что въ разныя эпохи національной исторіи, какъ въ разные возрасты

отдѣльнаго человѣка, способность помнить о прошедшемъ бываетъ разная. Соціальная память, подобно индивидуальной, формируется и крѣпнетъ въ извѣстную пору исторической жизни народа. Все, что предшествуетъ этой порѣ, не оставляетъ по себѣ никакой памяти или оставляетъ весьма смутную. Все, что совершается по сю сторону этой черты, образуетъ болѣе или менѣе непрерывную нить болѣе или менѣе связныхъ воспоминаній, техническіе пріемы сохраненія которыхъ все болѣе и болѣе совершенствуются. Наслѣдство, переданное отъ первой, безсознательной поры исторической жизни — второй, сознательной, составляетъ обыкновенно *націоналистическую традицію.* Этимъ происхожденіемъ націоналистической традиціи объясняется то, что содержимое такой традиціи представляется исконнымъ, неразложимымъ. Оно дѣйствительно исконно и неразложимо въ предѣлахъ исторической памяти народа, гораздо болѣе короткой, чѣмъ его историческое существованіе. Исторія, которая исправляетъ и дополняетъ эту память, находитъ способъ — разложить націоналистическую традицію и отыскать ея источники. Вотъ почему, если еще можно видѣть въ исторіи, въ извѣстномъ смыслѣ, «народное самосознаніе», то уже ни въ какомъ случаѣ это народное самосознаніе не можетъ оказаться тожественнымъ съ тѣмъ, которое считается живымъ хранителемъ націоналистической традиціи. Можно было бы даже сказать, что нѣтъ болѣе сильнаго врага для націоналистической традиціи, чѣмъ именно исторія.

Въ предыдущихъ главахъ мы занялись такимъ историческимъ анализомъ происхожденія русской націоналистической традиціи. Анализъ этотъ привелъ насъ къ выводу, что уже при первой формулировкѣ націоналистическихъ идеаловъ чужеземное вліяніе играло главную, даже рѣшающую роль. Такимъ образомъ, элементы національной традиціи при самомъ своемъ возникновеніи находились въ ближайшемъ и непосредственномъ сосѣдствѣ съ элементами критики. Тотъ самый Иванъ Грозный, который далъ національнымъ идеаламъ такую эффектную санкцію, въ разговорѣ съ однимъ иностранцемъ не находилъ словъ достаточно рѣзкихъ, чтобы характеризовать низкій нравственный уровень своихъ подданныхъ. А когда его собесѣдникъ съ недоумѣніемъ напомнилъ царю, что вѣдь и самъ онъ русскій, то Иванъ рѣшительно отвѣчалъ, что онъ вовсе не русскій, а нѣмецъ, такъ какъ происходитъ отъ Пруса. Немудрено, что послѣдовательные націоналисты уже въ XVII в. порицали Ивана IV за его западничество, вмѣсто того, чтобы преклоняться передъ нимъ, какъ передъ національнымъ героемъ народной легенды (см. ниже, стр. 127).

Элементамъ критики и дальше суждено было развиваться, прежде всего, въ той же самой средѣ, т. е. среди представителей двора и правительства. Къ этому одинаково приводили какъ положительныя, такъ и отрицательныя причины. Отрицательной причиною было то, что ника-

кой другой соціальный элементъ тогдашней Россіи не былъ способенъ явиться носителемъ оппозиціонно-критическихъ идеологій. Въ этомъ должны были убѣдить насъ событія смутнаго времени. Положительной же причиной надо считать ту, что непосредственный источникъ всякой критики, иностранное вліяніе, былъ всего ближе и доступнѣе именно для этихъ общественныхъ слоевъ, для двора и высшей бюрократіи. Въ тѣхъ же слояхъ, слѣдовательно, должна была получить теперь, по контрасту, свою окончательную формулировку и націоналистическая идеологія.

Итакъ, нашей ближайшей задачей въ этомъ отдѣлѣ является опредѣлить силу иноземнаго реактива и охарактеризовать произведенную имъ реакцію. Другими словами, мы должны, съ одной стороны, прослѣдить распространеніе иностранныхъ идей и быта въ XVII вѣкѣ; съ другой стороны, опредѣлить то значеніе, которое имѣли эти элементы критики — не для разрушенія націоналистическихъ идеаловъ, такъ какъ для этого время еще не пришло тогда, а, на первый разъ, для болѣе полнаго и точнаго опредѣленія націоналистическаго идеала.

Вліяніе иноземной культуры должно было, на первыхъ порахъ, носить болѣе матеріальный, чѣмъ идейный характеръ. Прежде чѣмъ началось вліяніе западныхъ *идей*, въ русской жизни сказалось вліяніе *быта*, вліяніе обстановки высшей культуры, а затѣмъ (или, вѣрнѣе, рядомъ съ этимъ) и вліяніе европейскихъ прикладныхъ, техническихъ знаній. Первое казалось безвреднымъ; второе было вызвано прямой необходимостью; такимъ образомъ, въ обоихъ случаяхъ европейское вліяніе проходило въ жизнь само собою, постепенно и малозамѣтно, возбуждая лишь сравнительно слабый и безсильный протестъ. Между тѣмъ, то и другое—бытъ и техника—безсознательно для русскаго человѣка втягивали его и въ кругъ европейскихъ идей и понятій. И когда онъ очнулся передъ неожиданно большимъ итогомъ чуждыхъ привычекъ, усвоенныхъ по мелочамъ,—идти назадъ было уже поздно. Старый бытъ былъ уже фактически разрушенъ. Только и оставалось—сдѣлать его предметомъ націоналистическаго культа и отвлеченной идеализаціи.

Въ XVII в. этотъ стихійный процессъ только еще начался. Даже въ сферѣ собственно-бытовой успѣхи иноземныхъ вліяній были очень ограничены, достигались медленно и распространялись на очень узкій соціальный кругъ. Въ царскомъ дворцѣ, въ нѣсколькихъ наиболѣе аристократическихъ московскихъ домахъ явилось нѣсколько предметовъ европейской обстановки, правда, нисколько не упразднявшихъ старую, а только ее дополнявшихъ. Рядомъ съ простыми гладкими, липоваго или дубоваго дерева столами появились «на польскій образецъ» или «нѣмецкой работы» столы «эбеноваго» или «индѣйскаго» дерева, съ кривыми или точеными фигурными ножками. Рядомъ съ традиціонными скамьями по стѣнамъ — явились кресла съ замысловатой обивкою и

стулья «золотные нѣмецкіе», которые въ концѣ вѣка можно было покупать въ Москвѣ, въ Овощномъ ряду, цѣлыми дюжинами, по рублю (тогдашнему) за штуку. Появились, — на первыхъ порахъ, впрочемъ, лишь во внутреннихъ, жилыхъ покояхъ, — и зеркала на стѣнахъ; ихъ, однако, завѣшивали тафтой или закрывали, на маперъ кіота, затворами, чтобы подчеркнуть ихъ утилитарную, а не эстетическую роль. Часы, столовые и карманные, имѣли то же значеніе и уже съ начала XVII вѣка составляли довольно обычный предметъ обихода, какъ можно судить по сравнительно значительному количеству вольно-практиковавшихъ часовыхъ мастеровъ-иностранцевъ, находившихъ себѣ, очевидно, достаточное пропитаніе въ тогдашней Москвѣ. Несомнѣнно-эстетическое значеніе имѣли картины, постепенно вытѣснявшія къ концу вѣка стѣнную роспись. Къ картинамъ перешло и традиціонное содержаніе стѣнной росписи, по преимуществу церковно-историческое, рѣже просто историческое или аллегорическое. Новостью было изображеніе «персонъ съ живства», т. е. портретной живописи. Конечно, всѣ эти роды картинъ были роскошью, доступной не многимъ. Для болѣе широкаго круга картины замѣнялись дешевыми гравюрами—«фряжскими листами» заграничной работы или даже ихъ русскими воспроизведеніями, такъ какъ печатаніе гравюръ успѣло къ концу вѣка сдѣлаться предметомъ мѣстной индустріи, процвѣтавшей въ Москвѣ и въ Кіевѣ и снабжавшей своими издѣліями торговцевъ московскаго Овощного ряда и Спасскихъ воротъ. Дешевизна (отъ 1/2 коп. до 2 тогдашнихъ коп.) и разнообразіе содержанія, подчасъ очень серьезнаго, чаще моральнаго и религіознаго, нерѣдко и смѣхотворнаго, распространяли вкусъ къ фряжскимъ листамъ — этимъ предшественникамъ лубочныхъ картинокъ—все въ болѣе и болѣе широкихъ кругахъ. Въ богатыхъ домахъ эти листы насчитывались сотнями, а во дворцѣ ими замѣняли иногда обои.

Такъ традиціонная русская изба превращалась мало-по-малу въ европейскія «палаты». Но палатами и ограничилось на первый разъ это превращеніе.

Значительно быстрѣе, чѣмъ въ обстановкѣ, прививалось польское и нѣмецкое вліяніе въ костюмѣ. Въ области костюма особенно много можно было бы указать чертъ, несомнѣнно заимствованныхъ, но превратившихся въ «свое», національное достояніе къ тому времени, когда начались массовыя заимствованія XVII вѣка. Въ пограничномъ Псковѣ мѣстный пастырь уже въ концѣ XV вѣка увѣщеваетъ свою паству «не носить нѣмецкаго платья». Въ срединѣ XVI вѣка извѣстный намъ памфлетъ, бесѣда Сергія и Германа, снова обличаетъ грѣховодниковъ, «позавидовавшихъ ризамъ невѣрныхъ, съ головы и до ногъ», и даже грозитъ «горемъ» всему «роду христіанскому, прельстившемуся на порты и шлыки невѣрныхъ, имущему ихъ на себѣ». Черезъ весь XVII вѣкъ идетъ опять рядъ обличеній и запрещеній, очевидно, столь же без-

сильныхъ, какъ и предыдущія. Царскія дѣти уже при Михаилѣ Θеодоровичѣ носятъ нѣмецкое платье, шитое имъ ихъ воспитателемъ Морозовымъ; а въ 1675 г. специальный указъ запрещаетъ употребленіе этого платья служилымъ чинамъ, толпившимся во дворцѣ. Одного изъ придворной молодежи царь разжаловалъ въ низшій чинъ за ношеніе модной прически,—и затѣмъ было сдѣлано только что упомянутое распоряженіе, чтобы придворные чины (стольники, стряпчіе, дворяне и жильцы): «иноземныхъ нѣмецкихъ и иныхъ извычаевъ не перенимали, волосъ у себя на головѣ не подстригали, а также платья, кафтановъ и шапокъ у себя не носили и людямъ своимъ тоже носить не велѣли». Однако же, въ московскихъ рядахъ въ то же время и позднѣе свободно занимались своимъ ремесломъ портные поляки и нѣмцы, очевидно, находившіе себѣ кліентовъ. Царскій указъ, самое большее, доженъ былъ заставить только московскихъ щеголей—нѣкоторое время—не мозолить глаза при дворѣ своими новыми модами.

Гораздо труднѣе, чѣмъ въ обстановку и костюмъ, было проникнуть новымъ вѣяніямъ въ традиціонное препровожденіе времени. Строгій чинъ русской жизни, детально регламентированный, превращалъ жизнь въ обрядъ, соблюденіе котораго было не менѣе обязательно, по крайней мѣрѣ въ высшемъ кругу, чѣмъ соблюденіе обрядовъ религіи. И здѣсь, однако, нашлась лазейка, отыскалось такое слабо защищенное мѣсто, черезъ которое новыя вѣянія пробили себѣ путь къ уму и сердцу русскаго человѣка. Единственный моментъ дня, когда онъ былъ предоставленъ самому себѣ, когда ни вѣра, ни общество, ни даже домашній порядокъ ничего отъ него не требовали, это были часы,—достаточно долгіе, правда,—посвященные отдохновенію. Русскій человѣкъ уже и воспользовался этимъ промежуткомъ отдыха, чтобы распуститься въ волю и систематически нарушить тутъ все то, что его такъ строго заставляли соблюдать въ остальное время дня. Тамъ онъ былъ уменъ; здѣсь онъ позволялъ себѣ дурачиться. Тамъ его унижали; здѣсь онъ самъ унижалъ другихъ, куражился надъ ними. Тамъ онъ былъ вѣрный сынъ церкви; здѣсь онъ возвращался къ языческой старинѣ, упорно игнорируя всѣ предписанія церкви. Здѣсь нашла себѣ убѣжище гонимая церковью народная литература, или, по крайней мѣрѣ, ея уцѣлѣвшіе отъ крушенія обломки. Здѣсь сбрасывалась личина смиренія и постничества, и раздавался безпрепятственно тотъ самый смѣхъ, на который строгіе церковные моралисты смотрѣли какъ на начало душевной погибели. Если среди всего этого разгула самъ хозяинъ не пускался въ пѣніе и плясъ, то только потому, что все еще долженъ былъ соблюдать свое достоинство передъ дворней. Зато онъ вдоволь заставлялъ другихъ и пѣть, и плясать, и выкидывать всякія штуки,—чѣмъ замысловатѣе, чѣмъ забористѣе, чѣмъ циничнѣе, тѣмъ лучше. Это было, словомъ, то царство дураковъ и дуръ, «бахарей» (сказочниковъ) и «домрачеевъ» (сказителей былинъ подъ звуки домры), которое водво-

рялось во всякомъ богатомъ русскомъ домѣ въ часы послѣобѣденнаго отдохновенія или передъ отходомъ ко сну. Къ этому-то наименѣе защищенному пункту и могли легче и незамѣтнѣе всего привиться заносныя «польскія» или «нѣмецкія» забавы.

Первыми піонерами этого иностраннаго нашествія явились заѣзжіе акробаты, фокусники, клоуны. Одинъ изъ нихъ, «нѣмчинъ» Иванъ Семеновъ, цѣлыя десять лѣтъ подрядъ увеселялъ въ «Потѣшной палатѣ» семью царя Михаила Ѳеодоровича и оставилъ послѣ себя цѣлую школу учениковъ: «выучилъ по канатамъ ходить и танцовать и всякимъ потѣхамъ, чему самъ умѣетъ, пять человѣкъ, да по барабанамъ выучилъ бить 24 человѣка». Музыканты-нѣмцы тоже не переводились при московскомъ дворѣ съ самаго начала XVII столѣтія. Органы и цимбалы (родъ фортепьянъ) еще съ XVI в. фигурировали въ дворцовомъ инвентарѣ. Со вступленіемъ Алексѣя Михайловича развитіе всѣхъ этихъ придворныхъ забавъ круто обрывается. Вмѣсто былинъ и сказокъ «бахарей» и «домрачеевъ», у государя «наверху» распѣваютъ духовные стихи его «нищіе богомольцы». Мѣсто органной игры занимаетъ стройный церковный хоръ. Музыкальные инструменты и маски преданы были торжественному ауто-да-фе за Москвой, на Болотѣ. Царь бросилъ «Потѣшную палату» для медвѣжьей потѣхи или для любимаго своего спорта—соколиной и псовой охоты. Воздержаніе отъ заграничныхъ и языческихъ забавъ продолжалось, однако, лишь до тѣхъ поръ, пока жива была первая жена царя Алексѣя. Съ женитьбой на второй женѣ, эмансипированной Матвѣевымъ Натальѣ Кирилловнѣ,—дворъ какъ будто спѣшитъ наверстать потерянное время и сразу переходитъ къ самой сложной формѣ иноземной забавы: къ театральному спектаклю (1672—1675). Форма была нова, но всѣ ея составные элементы стары, такъ что переходъ къ этой формѣ не вызвалъ особаго протеста. Театральный спектакль проходилъ подъ флагомъ «дѣйства изъ Библіи», т. е. воспроизведенія въ лицахъ общеизвѣстнаго библейскаго сюжета: Есоири, Товіи, Юдиѳи, Іосифа. Только одно «Темиръ-Аксаково дѣйство» было робкой попыткою выйти изъ круга библейскихъ темъ въ область историческихъ. Но и тутъ авторъ ухитрился изобразить героя (Тамерлана) въ видѣ христіанскаго подвижника за вѣру. Конечно, флагъ прикрывалъ контрабанду: романическій и смѣхотворный элементы, строго запрещенные церковью. Но и это запрещеніе было слишкомъ часто нарушаемо раньше: передъ зрителемъ являлись на подмосткахъ въ сущности тѣ же дураки и дуры, съ ихъ плоскими шутками и откровеннымъ цинизмомъ. Безцеремонный реализмъ любовныхъ объясненій Олоферна съ Юдиѳью или жены Пентефрія съ Іосифомъ тоже не шокировалъ тогдашняго вкуса. Въ этомъ отношеніи очень хорошо было для успѣха первыхъ театральныхъ попытокъ то обстоятельство, что устроители заимствовали для русской сцены не новый репертуаръ только что обновленнаго тогда нѣмецкаго театра, а старую ветошь, затрепанную

бродячими артистами Германіи по ярмаркамъ и приспособленную ими же для самаго низменнаго уровня. Остроуміе голландскаго Пикельгеринга и чувственность «англійской комедіи» были какъ разъ по плечу московской придворной публикѣ. Военныхъ сценъ, треска и грома, дракъ и убійствъ на сценѣ было совершенно достаточно въ этихъ комедіяхъ, чтобы удовлетворить самаго взыскательнаго любителя балагана. Словомъ, новинка должна была придтись по вкусу. Пригодились и придворные художники-иностранцы: живописецъ нарисовалъ до трехъ дюжинъ декорацій «преоспективнымъ письмомъ»; органистъ составилъ оркестръ при помощи дворовыхъ музыкантовъ Матвѣева. Нѣмецкій пасторъ изъ «слободы» режисерствовалъ и обучалъ актеровъ; онъ же выбиралъ и пьесы, а переводить ихъ пришлось, повидимому, подьячимъ посольскаго приказа. Такимъ образомъ, для осуществленія новой затѣи пущены были въ ходъ всѣ наличные рессурсы тогдашней московской цивилизаціи. Результатъ превзошелъ ожиданія. Три года подрядъ представленія не прекращались ни зимой, ни лѣтомъ: актеры, оркестръ, декораціи переѣзжали вслѣдъ за царемъ и его дворомъ изъ кремлевскаго дворца въ Преображенское и обратно.

Мы знаемъ, однако, что чужеземныя вліянія въ XVII в. не ограничились перемѣнами во внѣшнемъ бытѣ, обстановкѣ и времяпрепровожденіи знатныхъ людей. Мы видѣли («Очерки», II, 39—41), что уже въ серединѣ вѣка, подъ вліяніемъ отчасти польскимъ, отчастя греческимъ, московское правительство стало критически относиться къ религіознымъ идеологіямъ націоналистовъ XVI столѣтія. Послѣдствіемъ такой критики была ссора представителей оффиціальной церкви съ защитниками національной идеологіи, передавшими скоро свое оппозиціонное настроеніе народной массѣ. Но, возвысившись надъ національномъ религіознымъ, московскія власти остановились на полупути. Скоро имъ самимъ пришлось защищать только-что освобожденную ими отъ націоналистическаго содержанія религію противъ новыхъ вѣяній — польско-европейскихъ. (См. «Очерки», II, стр. 165, 261 — 65). Мы знаемъ, что борьба съ этими новыми вѣяніями оказалась, однако, такой же непосильной, какъ и борьба съ религіознымъ національномъ. Точка зрѣнія чистаго формализма не могла удовлетворить ни тѣхъ, которые хотѣли жить старыми упованіями на всемірноисторическую миссію русскаго народа, ни тѣхъ, кто искалъ, увлекаясь европейскими вѣяніями или запросами собственнаго сердца, новыхъ формъ религіозной мысли и чувства. Въ результатѣ и мысль, и чувство ускользнули изъ-подъ вліянія оффиціальныхъ руководителей. Старая вѣра, съ одной стороны,—раціонализмъ и мистицизмъ, съ другой—нашли къ концу вѣка готовую почву для распространенія. Еще меньше препятствій встрѣтила европейская свѣтская наука—сперва въ видѣ обрывковъ средневѣковыхъ устарѣлыхъ знаній, переданныхъ черезъ посредство Польши, а потомъ и въ подлинномъ своемъ видѣ. (См. о смѣнѣ тѣхъ и другихъ

родовъ знаній въ «Очеркахъ», II, 268—294). Ко всѣмъ этимъ послѣдствіямъ чужеземныхъ вліяній мы теперь уже не будемъ возвращаться. Насъ интересуетъ въ данный моментъ не столько положительное содержаніе переданнаго Россіи запаса новыхъ мыслей и чувствъ, сколько самый процессъ ихъ передачи и вызванное имъ сознаніе контраста между націонализмомъ и европеизмомъ. Къ этому, т.-е. къ путямъ и способамъ европейскаго идейнаго вліянія и къ его послѣдствіямъ для національнаго самосознанія—мы теперь и возвращаемся.

Главнѣйшимъ способомъ, какимъ проникало вліяніе европейскихъ идей въ Россію, было, конечно, непосредственное соприкосновеніе русскихъ съ иностранцами: за границей или у себя дома. Поѣздки русскихъ людей за границу были, впрочемъ, до конца XVII в. рѣдкимъ и исключительнымъ явленіемъ. Первый опытъ командировки русскихъ за границу для обученія, сдѣланный Годуновымъ, кончился, какъ мы видѣли, полной неудачей. Молодежь оказалась болѣе воспріимчивой къ благамъ европейской культуры, чѣмъ это было нужно московскому правительству. Съ тѣхъ поръ въ Москвѣ относились крайне осторожно къ заграничнымъ поѣздкамъ, отпускали только акклиматизировавшихся уже въ Россіи иностранцевъ и ихъ сыновей, а на русскихъ наложенъ былъ безусловный запретъ. Одинъ изъ немногихъ, нарушившихъ этотъ запретъ русскихъ эмигрантовъ, Котошихинъ, совершенно правильно передаетъ соображенія, руководившія при этомъ правительствомъ. «Для науки и обученія въ иныя государства дѣтей своихъ не посылаютъ», говоритъ онъ, «страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычаи и вольность благую, начали бы свою вѣру отмѣнять и приставать къ другимъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не имѣли и не мыслили». Такимъ образомъ, за границу не могли попасть какъ разъ тѣ, кому такое путешествіе могло бы принести больше всего пользы. Изрѣдка появлялось въ Европѣ русское посольство,—но московскіе чиновники, волей правительства ставшіеся импровизированными дипломатами, меньше всего были подготовлены къ роли наблюдателей европейской жизни. Незнакомые съ языками, кое-какъ вычитывавшіе по тетрадкѣ, слово за словомъ, свои оффиціальныя рѣчи, они озабочены были однимъ: какъ бы не сдѣлать лишняго шага, или не сказать лишняго слова, которое бы умалило честь государя и подвело ихъ подъ служебное взысканіе. Они не прочь были иной разъ попользоваться непривычной свободою жизни, но то, какъ они понимали эту свободу, вызывало отвращеніе въ невольныхъ свидѣтеляхъ ихъ разгула. Это было, въ глазахъ европейскихъ наблюдателей, даже не «варварство», а просто «скотство» и «свинство». Отъ удовольствій европейскаго стиля, такъ же какъ отъ наслажденія путешествіемъ—картинами природы, памятниками искусства, пріобрѣтеніями культуры—отдѣляла ихъ китайская стѣна, созданная ихъ собственной умственной и нравственной грубостью. Куда бы они ни явля-

лись, они несли съ собой всюду, въ буквальномъ и въ переносномъ смыслѣ, свою собственную атмосферу. Помѣщенія, въ которыхъ они останавливались, приходилось провѣтривать и чистить чуть не цѣлую недѣлю. Ихъ появленіе на улицѣ, въ парчахъ и въ шелку краснаго, желтаго или зеленаго цвѣта, въ длиннополыхъ халатахъ съ высочайшими воротниками и длиннѣйшими рукавами, въ мѣховыхъ шапкахъ азіатскаго покроя, собирало около нихъ толпу зѣвакъ: не то это былъ маскарадъ, не то религіозная процессія, не то просто этнографическій курьезъ, вывезенный какимъ-нибудь предпріимчивымъ антрепренеромъ изъ заморскихъ странъ, вмѣстѣ съ нильскими крокодилами и африканскими львами. Когда въ Москвѣ поняли, наконецъ, къ концу XVII в., какое несуразное впечатлѣніе производятъ за границей эти доморощенные дипломаты, всего больше хлопотавшіе о томъ, какъ бы не уронить достоинства своего государя, то ихъ стали замѣнять обжившимися въ Россіи иностранцами. Житейская опытность и свѣтская развязность послѣднихъ теперь, въ свою очередь, вызывали изумленіе въ европейской дипломатіи, привыкшей считаться съ grobianità Moscovitica.

Итакъ, поѣздки за границу ничего, или почти ничего не могли дать для усиленія иноземнаго вліянія въ Россіи. Совсѣмъ иное значеніе имѣли въ этомъ дѣлѣ непосредственныя столкновенія русскихъ съ иностранцами у себя дома.

Исторія этихъ столкновеній начинается очень давно. Но намъ нѣтъ никакой надобности слѣдить за ней съ самаго начала. Пока иностранный элементъ лишь отдѣльными струями просачивался въ русскую жизнь, его уносило теченіемъ, или онъ опускался на дно, ассимилируясь съ окружающей средою и исчезая безслѣдно съ поверхности жизни. Тогда когда иммиграція иностранцевъ приняла количественно большіе размѣры, отдѣльныя единицы стали задерживаться все долѣе на поверхности, цѣпляясь и поддерживая другъ друга, такъ что къ концу XVII в. въ Москвѣ сложилась уже большая благоустроенная колонія,—маленькій оазисъ Европы среди культурной пустыни.

О первой завязи этой колоніи намъ сообщаютъ источники еще изъ первой половины XVI столѣтія. Герберштейнъ разсказываетъ, что Василій III отвелъ своимъ тѣлохранителямъ (набраннымъ изъ литовцевъ и поляковъ) для поселенія особую слободу Нали(вки), имя которой до сихъ поръ сохранилось въ названіи одной церкви между Полянкой и Якиманкой. Изслѣдователи объясняли исчезновеніе этой первой иноземной слободы набѣгомъ Девлетъ-Гирея (1571 г.). Вѣроятнѣе предположить, что корпусъ тѣлохранителей просто постепенно обрусѣлъ, оставшись на томъ же мѣстѣ, но получивъ новую организацію и новое имя стрѣльцовъ, данное имъ Иваномъ Грознымъ въ 60-хъ годахъ. Въ то же десятилѣтіе встрѣчаемся съ новымъ массовымъ наплывомъ иностранцевъ. Это—плѣнные, цѣлыми тысячами приведенные изъ ливонскихъ походовъ. Часть ихъ была разсѣяна по разнымъ провинціальнымъ го-

родамъ, гдѣ большинство, вѣроятно, опять-таки зажилось и обрусѣло. Другая часть—поселена въ столицѣ. Для послѣднихъ отведено было новое мѣсто—близь устья Яузы, на ея правомъ берегу. Подобно старой, новая слобода («Нѣмецкая») освобождена была отъ питейнаго акциза; ея жители скоро разбогатѣли продажей вина. Въ 1578 г. эта Нѣмецкая слобода сдѣлалась жертвой одной изъ вспышекъ гнѣва Ивана Грознаго. По его приказу, она подверглась форменному штурму и была разграблена. Но скоро яузская колонія оправилась отъ погрома и къ концу вѣка, вѣроятно, достигла высшей точки своего процвѣтанія, благодаря внимательному отношенію Годунова къ иностранцамъ. Въ смутное время, однако, яузская колонія была сожжена и опустѣла на цѣлые полвѣка. Ея населеніе разбѣжалось по уѣздамъ и значительная часть тамъ навсегда осталась. Роста иноземцевъ въ Москвѣ это, однако, не остановило. Напротивъ, лишившись осѣдлости въ яузскомъ предмѣстьѣ, иностранцы перенесли свои поселенія въ самый городъ и оставались тамъ до середины вѣка, постоянно прибывая въ численности. Вмѣсто прежней одной церкви (лютеранской), у нихъ явилось двѣ и одна реформатская. Главнымъ ихъ центромъ была Покровка и Чистые Пруды; но ихъ дома, перекупленные у москвичей, явились также и на Тверской, на Арбатѣ, на Сивцевомъ Вражкѣ. Разбросанные среди русскихъ, иностранцы невольно начали втягиваться мало-по-малу въ русскую жизнь. Они вели русскія знакомства, держали русскую прислугу, усвоивали языкъ, стали, наконецъ, даже носить русское платье, чтобы меньше обращать на себя вниманія въ городѣ. Все это возбудило опасенія и въ средѣ торговцевъ, которымъ иностранцы сбивали цѣны на товары, и среди домовладѣльцевъ, которымъ они набивали цѣны на земли, и среди духовенства, которое начало бояться вліянія иностранцевъ на нравы. Посыпался рядъ жалобъ, которыя правительство сочло нужнымъ удовлетворить. Въ числѣ мѣръ, о которыхъ упомянемъ ниже, противъ иностранцевъ принята была одна радикальная, составившая эру въ исторіи ихъ общины. Имъ велѣно было продать свои дома русскимъ владѣльцамъ, и церкви ихъ, стоявшія внутри города, были снесены. Для новыхъ поселеній иностранной колоніи мѣсто было отведено, «гдѣ были напередъ сего нѣмецкіе дворы», т.-е. на Яузѣ, только нѣсколько выше по ея теченію. Такимъ образомъ, опредѣлилось (въ 1652 г.) окончательное мѣсто «Ново-нѣмецкой» слободы, въ районѣ теперешней Нѣмецкой улицы. Непосредственной своей цѣли выселеніе иностранцевъ изъ городской черты достигло: сліяніе съ русскимъ населеніемъ пріостановилось. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, сила иностраннаго вліянія возросла, такъ какъ теперь подъ самыми стѣнами столицы сформировался иностранный городокъ, съ совершенно особымъ строемъ жизни и быта. До сихъ поръ иностранцамъ грозила ассимиляція съ русскимъ элементомъ въ гораздо большей степени, чѣмъ русскимъ усвоеніе иностранной культуры. Теперь эта культура стояла рядомъ,

во всей своей неприкосновенности, какъ вѣчно готовый образецъ для подражанія. Представители русской власти не хотѣли допустить амальгамы русскаго быта съ иностраннымъ. Теперь имъ предстояло пережить періодъ культурнаго завоеванія Москвы Нѣмецкой слободою.

Не нужно, впрочемъ, быть особенно высокаго мнѣнія о культурности элементовъ, собравшихся въ Нѣмецкой слободѣ. Девизъ этого населенія былъ тотъ самый, который одинъ изъ его пасторовъ (Беръ) формулировалъ латинскимъ стихомъ

Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor,

то-есть:

«Всякій край для смѣлаго—родина, какъ рыбѣ—море».

Въ авантюристахъ, любителяхъ легкой наживы, среди этого населенія не было недостатка. Не мало было тутъ и шарлатановъ, искусно эксплуатировавшихъ русское невѣжество, чтобы дорогой цѣною продать дешевыя услуги. Этотъ всегдашній элементъ добровольцевъ-цивилизаторовъ, обязательно являющійся во всѣхъ малокультурныхъ странахъ, по обыкновенію больше всѣхъ шумѣлъ и скандалилъ, навлекая на всю колонію ненависть мѣстнаго населенія, у котораго онъ перебивалъ хлѣбъ, и создавая колоніи за границей самую дурную репутацію. Но, конечно, такими людьми не исчерпывался составъ населенія Нѣмецкой слободы. Не мало было здѣсь, особенно на второстепенныхъ и третьестепенныхъ должностяхъ, такихъ людей, какъ, напр., пушечныхъ дѣлъ мастеръ Фалькъ, давшій въ одномъ изъ скандальныхъ процессовъ слободы угрюмое показаніе, что «онъ съ кляузниками не водится, такъ какъ онъ—человѣкъ недосужный». Не гонясь за многимъ, эти люди несли въ чужую имъ страну свой трудъ и знаніе и честно дѣлали свое маленькое дѣло. Для русской культуры, впрочемъ, на первыхъ порахъ всякіе элементы—шарлатаны и честные труженики—были полезны.

Профессіональный составъ иноземнаго населенія вполнѣ опредѣлялся государевыми и государственными потребностями. Въ началѣ первыя преобладали. Лейбъ-медикъ—иностранецъ давно уже появился при московскомъ дворѣ. За нимъ слѣдовали мастера золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ, «органные игрецы», живописцы и т. д. Государственнымъ нуждамъ удовлетворяли переводчики посольскаго приказа, явившіеся также и первыми переводчиками серьезной иностранной литературы; полковые лекаря, очень, впрочемъ, немногочисленные; квалифицированные мастера военнаго дѣла и пр. Если прибавимъ сюда довольно значительный элементъ торговыхъ людей, для собственныхъ интересовъ поселившихся въ Москвѣ, то этимъ и исчерпаемъ составъ древнѣйшей иноземной общины, такъ какъ рядовыхъ солдатъ въ этотъ составъ иноземной интеллигенціи вводить нельзя. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше военный элементъ усиливается, занимая, наконецъ, первое мѣсто въ рядахъ иноземческой аристократіи. Уже въ тридцатыхъ годахъ является съ

своими офицерами полковникъ Лесли, реорганизовавшій русское войско для (неудачной, впрочемъ) борьбы съ Польшей. Подъ его начальствомъ собралось въ Москвѣ, въ началѣ этого десятилѣтія, до 3.000 иноземныхъ солдатъ; потомъ эта масса частію схлынула, разбрелась по Россіи,— но офицерство осталось въ Москвѣ и положило тамъ начало «новой» иноземской общинѣ, такъ называемой «офицерской», вступившей вскорѣ въ безконечную распрю со старой, «купеческой». Когда въ 1653 г. было запрещено иностранцамъ владѣть помѣстьями, то и жившее въ деревняхъ офицерство должно было частью съѣхаться въ Москву. Наконецъ, въ началѣ 60-хъ годовъ, вызванъ былъ для военной реорганизаціи цѣлый рядъ новыхъ иностранныхъ офицеровъ, ставшихъ во главѣ преобразованныхъ полковъ. Съ этого момента перевѣсъ военныхъ въ составѣ Нѣмецкой слободы становится безспорнымъ. Перепись 1665 г. показала слѣдующій составъ населенія Ново-нѣмецкой слободы (по дворамъ):

	Дворовъ.
Военныхъ иноземцевъ (отъ полковника до прапорщика)	142
Военныхъ дѣлъ мастеровъ (пушечнаго, ружейнаго)	4
Придворныхъ мастеровъ (золотаго и серебрянаго дѣла, часовщиковъ, сѣдельника, портныхъ, живописца)	20
Лекарей и аптекарей	4
Переводчиковъ	3
Торговыхъ иноземцевъ	23
Стряпчаго торговыхъ людей	1
Еврея	1
Пасторовъ	3
Неизвѣстнаго званія	3
Итого	204

Здѣсь, конечно, сочтены только домовладѣльцы; квартиранты въ этотъ счетъ не входятъ. Общую цифру населенія слободы надо считать не меньше 1.500 (въ двадцатыхъ годахъ можно предположить около 500, въ срединѣ вѣка около 1.000 чел.).

Господствующимъ вѣроисповѣданіемъ въ слободѣ давно уже было лютеранское. Католицизмъ преобладалъ среди московскаго иноземческаго населенія только до второй половины XVI вѣка; населеніе первой Яузской слободы уже было по преимуществу лютеранское. Дѣло въ томъ, что католицизмъ былъ въ Москвѣ извѣстенъ и подозрителенъ, какъ вѣра сосѣдняго Польско-литовскаго государства. Церковь съ давнихъ поръ воспитывала русское населеніе въ ненависти къ «латинству». Опытъ смутнаго времени могъ только усилить это враждебное отношеніе. И, дѣйствительно, правительство, призывая со всѣхъ сторонъ иностранцевъ, внимательно слѣдило за тѣмъ, чтобы какъ-нибудь не проникъ въ Московское государство латынникъ. Когда въ числѣ солдатъ, навер-

бованныхъ Лесли въ Европѣ, оказываются католики, правительство немедленно выпроваживаетъ ихъ за границу на казенный счетъ. Въ теченіе всего столѣтія католикамъ такъ и не удается, несмотря на всѣ старанія, добиться разрѣшенія имѣть въ Москвѣ свою церковь, по примѣру давно разрѣшенныхъ лютеранской и реформатской. Къ протестантскимъ исповѣданіямъ правительство относится, напротивъ, очень терпимо,—во-первыхъ, потому, что относительно нихъ оно не связано никакой традиціей, никакими историческими прецедентами, во-вторыхъ, потому что, какъ болѣе далекое отъ православія, — какъ еретическое, а не только схизматическое,—протестантство кажется ему менѣе опаснымъ для русскаго населенія. Только къ концу вѣка группируется въ Нѣмецкой слободѣ, около Гордона, небольшой католическій кружокъ, но онъ уже не можетъ измѣнить общаго тона религіозной жизни въ слободѣ. Ученикъ Нѣмецкой слободы, Петръ Великій, выноситъ изъ нея протестантскіе взгляды (см. «Очерки», II, стр. 157, 168).

Несмотря на переселеніе въ новую слободу, для иностранцевъ всегда оставался открытымъ одинъ законный путь перехода въ русскую среду. Это, именно, принятіе православія, часто сопровождавшееся, или даже вызывавшееся, женитьбою иностранцевъ на русскихъ. Въ старое время, въ XVI вѣкѣ, обрусѣніе иностранцевъ происходило такъ постепенно и регулярно, что переходъ совершался зачастую какъ бы самъ собою. Просто начиналъ человѣкъ ходить въ русскую церковь и исправлять русскіе обряды; крестилъ его дѣтей поневолѣ православный попъ, и второе поколѣніе выростало настолько уже обрусѣвшее, что едва помнило иностранное происхожденіе и національность отца. Только когда правительство, послѣ смуты, усилило контроль надъ иностранцами, а московскій помѣстный соборъ 1620 г. постановилъ, что ихъ (собственно католиковъ, такъ какъ о протестантахъ и вопроса не возникало) надо вновь крестить, какъ еретиковъ,—только тогда власти принялись за этихъ полу-иностранцевъ, отцы которыхъ выѣхали въ Россію при Грозномъ или даже при Василіи III, — и заставили ихъ перекрещиваться на старости лѣтъ. Рѣшеніе собора 1620 г. было, правда, отмѣнено соборомъ 1667 г. Возможно, что въ провинціи обрусѣніе совершалось и теперь попрежнему, т.-е. путемъ постепеннаго слiянія, но въ столицѣ это было уже трудно. Тутъ оно, впрочемъ, было бы и невыгодно, такъ какъ, рѣшившись принять православіе, иностранцы, обыкновенно, старались извлечь побольше выгодъ изъ этого перехода. Они выбирали себѣ крестнаго отца познатнѣе и побогаче и осаждали правительство челобитьями о своихъ нуждахъ,—просили и получали и деньги, и помѣстья, и должности съ окладами, и даже награды натурой: платьемъ, съѣстными припасами и питьемъ, разнымъ домашнимъ скарбомъ. Процесса обрусѣнія этотъ формальный переходъ въ православіе ничуть не ускорилъ. Напротивъ, прежде, затериваясь въ русской массѣ, единицы скорѣе ассимилировались факти-

чески, чѣмъ это могло быть теперь, когда «перекрестовъ» окружали свои же земляки, поддерживавшіе въ нихъ сознаніе національной и культурной особности. Теперь «перекрестами» заселялись въ Москвѣ цѣлыя слободы, одна изъ которыхъ и географически составляла переходъ отъ Нѣмецкой слободы къ Москвѣ (Басманная; другая, Панская, была расположена по другую сторону города). Такимъ образомъ и «перекресты» являлись теперь проводниками западнаго вліянія въ русскую среду.

Менѣе общедоступно, но зато болѣе серьезно, чѣмъ личное вліяніе иностранцевъ, было вліяніе иноземной литературы на русскую интеллигенцію. Проводниками этого вліянія были тѣ же поселенцы Нѣмецкой слободы,—конечно, болѣе культурные изъ нихъ. Уже въ смутную эпоху бояринъ Ѳедоръ Головинъ разсказывалъ по секрету поляку Маскѣвичу, что у него былъ братъ, который «имѣлъ большую охоту къ языкамъ, но не могъ открыто учиться имъ; для этого онъ держалъ у себя тайно одного изъ нѣмцевъ, жившихъ въ Москвѣ; нашелъ также поляка, разумѣвшаго языкъ латинскій. Оба они приходили къ нему тайно, переодѣвшись въ русское платье, запирались съ нимъ въ комнатѣ и читали вмѣстѣ латинскія и нѣмецкія книги, которыя онъ успѣлъ пріобрѣсти и уже понималъ недурно». «Множество» этихъ книгъ, доставшихся Головину отъ брата, Маскѣвичъ самъ видѣлъ, такъ же какъ и опыты переводовъ вельможнаго ученика съ латинскаго на польскій. Мало-по-малу, иностранныя книги стали появляться и въ провинціи. Въ 1672 г. изданъ былъ интересный указъ, которымъ такое распространеніе было строго запрещено: «въ городахъ, на посадахъ и слободахъ, и въ уѣздахъ, въ селахъ и деревняхъ, во всѣхъ мѣстахъ, всякихъ чиновъ людямъ учинить заказъ крѣпкій съ большимъ подкрѣпленіемъ, чтобъ тѣ люди польской и латинской печати книгъ никто у себя въ домахъ тайно и явно не держали, а приносили бы и отдавали бы воеводѣ». Едва ли такое распоряженіе оказалось дѣйствительнымъ. Въ столицѣ, во всякомъ случаѣ, подобная мѣра уже въ то время была анахронизмомъ. Здѣсь чѣмъ дальше, тѣмъ становились обыкновеннѣе домашніе учителя и библіотеки иностранныхъ книгъ, и самое обученіе велось открытѣе. Этимъ путемъ обучались и обучали своихъ дѣтей знаменитые западники XVII столѣтія, Ординъ-Нащокинъ, Матвѣевъ, Борисъ Голицынъ. Въ письмѣ къ царю, въ 1671 г., извѣстный малороссійскій проповѣдникъ и политическій дѣятель Барановичъ замѣчалъ, что «синклитъ царскаго пресвѣтлаго величества польскаго языка не гнушается, но чтутъ книги ляцкія въ сладость». Что это былъ не простой комплиментъ по адресу московскихъ бояръ, доказываетъ попытка, сдѣланная въ слѣдующемъ 1672 году типографіей кіевской лавры,—открыть въ Москвѣ спеціальную книжную лавку, въ которой польскія книги занимали видное мѣсто. До тѣхъ поръ книги продавались въ Москвѣ изъ казенной лавки при Печатномъ дворѣ;

вольная же продажа книгъ производилась на ряду съ другими товарами, въ лавкахъ овощнаго ряда. Только-что упомянутая попытка кіевлянъ открыть спеціальный книжный магазинъ кончилась, однако, неудачей. Съ одной стороны, она грозила конкуренціей московской казенной и вольной продажѣ, а съ другой—вызывала опасенія, какъ бы не распространились подозрительныя москвичамъ богословскія и богослужебныя изданія западно- и южно-русской печати. Назначенъ былъ цензоръ,—онъ же и управитель московскаго Печатнаго двора—митрополитъ Павелъ, который выполнилъ свою обязанность весьма просто. Тѣ изъ кіевскихъ книгъ, которыя существовали и въ московскихъ изданіяхъ, онъ сличилъ съ послѣдними и отмѣтилъ разнорѣчія. Остальныя же книги онъ раздѣлилъ на двѣ категоріи: однѣ, которыя и прежде продавались въ Москвѣ и «спору о нихъ не бывало»; другія, новыя, въ Москвѣ неизвѣстныя. Продажа «несходныхъ» и неизвѣстныхъ книгъ была затѣмъ запрещена, а продавать книги, имѣвшіяся и въ Москвѣ, значило дозволять конкуренцію. Естественно, что правительство, въ концѣ концовъ, рѣшило (1675): «книгъ никакихъ въ Москву на продажу не присылать, потому что въ Москвѣ устроенъ на то Печатный дворъ, и *книгами изобильно*». «Изобильно» было въ Москвѣ, очевидно, одними богослужебными книгами, которыя почти исключительно и издавала казенная типографія. Но такъ какъ такими книгами только и могъ держаться тогда книжный магазинъ, то отъ своихъ попытокъ устроить въ Москвѣ спеціальную книжную торговлю малороссійскимъ предпринимателямъ пришлось отказаться. Потребность въ иного рода книгахъ этимъ, конечно, не уничтожалась. Любопытно, что и самъ вышеупомянутый цензоръ одобрилъ къ продажѣ латинскія и польскія книги, привезенныя въ 1672 году коммиссіонерами кіевской лавры. Тогдашняя партія старины судила, конечно, о нихъ иначе. Представители этой греческой партіи (Евфимій) прямо обвиняли русскую знать въ томъ, что при посредствѣ домашнихъ учителей она ввела въ моду латинскія (т.-е. неправославныя) мнѣнія. При устройствѣ академіи та же партія хотѣла, какъ мы знаемъ, положить предѣлъ этому вторженію западной литературы путемъ введенія строгаго наблюденія за учителями иностранныхъ языковъ и путемъ безусловнаго запрещенія держать у себя иностранныя книги лицамъ, не прошедшимъ курса высшихъ наукъ (см. «Очерки», II, стр. 264). Самая условность этихъ мѣропріятій (независимо отъ ихъ полнаго безсилія на практикѣ) показываетъ, что преградить иностранному вліянію этотъ путь—литературный—было уже поздно и невозможно.

Вліяніе, однако, шло еще дальше простаго привоза и чтенія иностранныхъ сочиненій. Иностранныя библіотеки и учителя доступны были, дѣйствительно, только знати. Теперь же, чѣмъ дальше, тѣмъ больше—иностранная литература и наука популяризировались посредствомъ русскихъ переводовъ. Правда, огромная часть этихъ перево-

довъ оставалась въ единственномъ экземплярѣ, представлявшемъ автографъ переводчика; притомъ многія изъ такихъ рукописей составляли достояніе правительственныхъ учрежденій или вельможныхъ библіотекъ. Но, какъ бы то ни было,—начало было положено. Можно даже составить, очень неполную, правда, но все же поучительную, статистику этихъ древнѣйшихъ русскихъ переводовъ, характеризующую отчасти вкусы и потребности тогдашняго читателя. Вотъ табличка, показывающая, сколько было сдѣлано (извѣстныхъ намъ) переводовъ за три пятидесятилѣтія (съ середины XVI до конца XVII столѣтія), съ распредѣленіемъ этихъ переводовъ по отраслямъ знанія.

ОТДѢЛЪ.	Число переводовъ.		
	1550—1599	1600—1649	1650—1699
Религіозно-нравственный	3	6	28
Литературный	1	2	12
Историческій	3	1	14
Космографія и географія	4	4	7
Медицинскій	1	2	5
Энциклопедіи, словари и справочныя книги	1	4	3
Астрономія	—	—	9
Военныя науки	—	3	2
Естественныя	3	1	—
Математическія	—	—	3
Юридическія и политическія	—	1	5
Разныя	—	—	6
Итого	16	24	94

Наиболѣе послѣдовательнымъ и систематическимъ было бы иностранное вліяніе, если бы проводникомъ его сдѣлалась школа. Но мы знаемъ («Оч.» II, 262), что школа высшихъ наукъ явилась въ Россіи только въ самые послѣдніе годы XVII столѣтія. Однако, и за это время она успѣла сдѣлать свое дѣло и сыграть довольно видную роль въ подготовкѣ реформы. Первые шаги свободной религіозной критики, какъ мы видѣли («Оч.» II, 103), связаны со школой. Въ тетрадяхъ учениковъ славяно-греко-латинской академіи новѣйшіе изслѣдователи находятъ и первые отголоски новыхъ литературныхъ вѣяній, напр., любовную лирику (Ср. «Очерки» II, стр. 192 и III, стр. 229).

Впрочемъ, одинокія ласточки еще не дѣлали весны. Какъ ни разнообразны были пути и формы иноземнаго вліянія, какъ ни возросла сила этого вліянія къ концу XVII вѣка,—тѣмъ не менѣе, его побѣда была дѣломъ будущаго, дѣломъ слѣдующаго періода развитія нашего національнаго самосознанія. Въ настоящемъ же періодѣ, какъ сказано выше, элементы критики приводили не къ разрушенію націоналистическихъ идеологій, а, наоборотъ, къ ихъ болѣе точной и полной фор-

мулировкѣ. На этомъ отрицательномъ вліяніи западныхъ вѣяній намъ и нужно остановиться, прежде чѣмъ мы перейдемъ къ положительному. Итакъ, посмотримъ, прежде всего, какъ реагировалъ туземный національнымъ на западное вліяніе.

Реакція была въ началѣ безсознательная, очень энергичная по своимъ проявленіямъ, но очень слабая по своимъ конечнымъ результатамъ, такъ какъ она исходила изъ мало-вліятельныхъ общественныхъ слоевъ. Напротивъ, къ концу вѣка націоналистическая реакція становилась все болѣе планомѣрной и сознательной, захватывала все болѣе вліятельные слои, по мѣрѣ того какъ выяснялась степень и размѣръ опасности, которою грозили націоналистической традиціи элементы критики. Если, несмотря на свою планомѣрность, сознательность и вліятельную поддержку, націоналистическая реакція оказалась, въ концѣ концовъ, безсильной, то это отчасти потому, что она слишкомъ поздно сознала грозившую національнму опасность, отчасти же потому, что ей нечего было и потомъ противопоставить этой опасности, нечѣмъ съ нею бороться. Тамъ, гдѣ этихъ причинъ не было, націоналистическая реакція обыкновенно оказывалась болѣе способной—не побѣдить, конечно, критическія тенденціи, но, по крайней мѣрѣ, противопоставить имъ болѣе сильное и продолжительное сопротивленіе и этимъ отсрочить моментъ ихъ побѣды. У насъ сопротивленіе національма оказалось ничтожнымъ, и потому побѣда критическихъ тенденцій вышла необычайно быстрой и полной (см. объ этомъ также «Очерки», II, стр. 185—186, 219, 230, 240, 265—266, 397—402).

Стихійная, стадная ненависть къ чужеземцамъ есть одно изъ тѣхъ элементарныхъ соціальныхъ чувствъ, которыя сопровождаютъ народное развитіе съ низшихъ ступеней до высшихъ. Оно слабо проявляется только тамъ, гдѣ вообще слабо развито сознаніе національной особности. Деруледъ, тщетно проповѣдующій національную вражду русскому мужику въ имѣніи Льва Толстого—вотъ самая наглядная иллюстрація этихъ двухъ ступеней, можно бы сказать, двухъ полюсовъ развитія—національнаго самосознанія. Смягчается это выраженіе національной вражды лишь на высокихъ ступеняхъ культуры, подъ вліяніемъ болѣе частыхъ международныхъ сношеній и идей общечеловѣческаго единства и равенства. Но какъ тонокъ и непроченъ этотъ культурный слой космополитическихъ чувствъ и идей, мы можемъ заключить изъ оживленія націонализма въ самыхъ передовыхъ націяхъ міра, въ связи съ борьбой за колоніальное могущество.

Національное самосознаніе массы въ старой Москвѣ до конца XVI в. стояло, повидимому, на уровнѣ толстовскаго мужика, т.-е. на уровнѣ полнѣйшаго примитивнаго безразличія. Было бы ошибочно принимать это безразличіе за философскую терпимость или христіанскую гуманность, такъ какъ единственнымъ основаніемъ его служитъ полное отсутствіе тѣхъ впечатлѣній, которыя обыкновенно возбуждаютъ

и создаютъ національное чувство. Положеніе дѣла должно было измѣниться, по мѣрѣ того какъ такія впечатлѣнія стали накопляться и перестали быть случайными и одиночными. Смутное время было своего рода эрой въ этомъ отношеніи. Ежеминутныя насилія надъ привычками и формами народнаго быта воспитали и обострили національную вражду въ жителяхъ столицы, а грабежи польскихъ шаекъ по всей Руси популяризировали то же чувство въ провинціи. Отъ недоумѣнія, вызваннаго дѣйствіями перваго самозванца, Москва скоро перешла къ самой горячей ненависти. Какъ быстро совершилась эта перемѣна настроенія, видно, напр., изъ того, что тотъ самый греческій архіерей, Арсеній Элассонскій, большой хитрецъ, который въ началѣ смуты присоединялся къ мнѣнію московскихъ оппортюнистовъ,—что смута могла бы быть прекращена женитьбою Василія Шуйскаго на Маринѣ, вдовѣ самозванца, — въ концѣ, выдержавши тяжелую осаду съ запертыми въ Москвѣ поляками, счелъ удобнымъ и своевременнымъ разгласить повсюду, что освобожденіе Москвы отъ поляковъ было ему предсказано во снѣ національнымъ патрономъ, препод. Сергіемъ.

Съ тѣхъ поръ освобожденная и очищенная формально Москва свято хранила свою ненависть къ «поганству». Недаромъ московская протестантская община пѣла, по окончаніи богослуженія, вмѣсто церковнаго гимна, элегическій «плачъ», сочиненный пасторомъ Беромъ въ 1610 году:

Простри, о Боже, свой покровъ
Надъ нами въ дни печали,
Чтобъ отъ злокозненныхъ враговъ
Въ конецъ мы не пропали.
Они всѣмъ сердцемъ, всей душой
Мечтаютъ изъ страны родной
Насъ истребить безслѣдно.
Не сговориться намъ никакъ:
То скажутъ такъ, то эдакъ,
И насъ же, бѣдныхъ, въ дуракахъ
Оставятъ напослѣдокъ.
Какъ ни старайся, ни трудись,
Хоть ты для нихъ изъ кожи лѣзь:
Ничѣмъ не угодишь имъ.
Вездѣ, куда ни кинешь взоръ,
Твой взглядъ врага лишь видитъ.
Самъ царь, и съ нимъ весь царскій дворъ
Насъ просто ненавидитъ.
Простой народъ не терпитъ насъ:
Кто не по немъ, такъ съ тѣмъ тотчасъ—
Короткая расправа.
. . . .
Отъ ихъ окровавленныхъ рукъ,
О Боже, ты спаси насъ!
Не медли же, явися вдругъ,
Отсюда изведи насъ.
Будь намъ Ты истинный Навинъ:
Среди смѣющихся равнинъ
Поставь земли нѣмецкой.
Здѣсь дольше жить для новыхъ мукъ
Твое не въ силахъ стадо:
Тяжелъ намъ варварскій Молохъ—
Признаться въ томъ ужъ надо.
Веди жъ насъ прочь, иль, внявъ мольбѣ,
Несчастныхъ призови къ себѣ—
Въ небесные чертоги.

Острый моментъ прошелъ, и разбѣжавшаяся было община понемногу опять собралась. Но враждебное къ ней отношеніе населенія не измѣнилось. Оно, напротивъ, усиливалось по мѣрѣ того, какъ община росла въ числѣ и старалась ближе стать къ столичному населенію. При каждомъ удобномъ случаѣ вражда эта проявлялась самымъ недвусмысленнымъ образомъ. Въ догонку иностранцамъ уличные мальчишки и

взрослые посылали самыя отборныя ругательства, какъ это теперь можно услыхать и увидѣть на глухихъ улицахъ Стамбула. Заглянувшаго въ церковь иностранца — выталкивали въ шею и подметали за нимъ полъ: въ этомъ случаѣ турки обращаются либеральнѣе съ гяурами. Олеарій разсказалъ намъ нѣсколько болѣе серьезныхъ случаевъ, — вѣроятно, не единственныхъ въ этомъ родѣ. Нѣсколько прохожихъ шли мимо лавки цирюльника и замѣтили, что у него въ квартирѣ виситъ человѣческій скелетъ, который, показалось имъ, шевелится въ то время, какъ хозяинъ играетъ на лютнѣ. Несмотря на вліятельную протекцію, злополучнаго цирюльника пришлось выслать изъ Москвы, а скелетъ былъ преданъ торжественному сожженію. Едва спасся отъ народной расправы и живописецъ, при пожарѣ дома котораго найденъ былъ черепъ. Въ виду такого отношенія толпы, и иностранцамъ, и русскимъ во взаимныхъ сношеніяхъ приходилось соблюдать величайшую осторожность. Мы видѣли раньше, что бояринъ, желавшій принимать у себя въ домѣ учителя-иноземца, долженъ былъ дѣлать это потихоньку отъ людей и переодѣвать своего учителя въ русское платье. Въ срединѣ столѣтія положеніе мало перемѣнилось, какъ видно изъ наблюденій Павла Алеппскаго. По его словамъ, москвичи «считаютъ чуждаго по вѣрѣ въ высшей степени нечистымъ: никто изъ народа не смѣетъ войти въ жилище кого-нибудь изъ франкскихъ (европейскихъ) купцовъ, чтобы купить у него что-нибудь, но долженъ идти къ нему въ лавку на рынкѣ; а то его сейчасъ же хватаютъ со словами: ты пошелъ, чтобы сдѣлаться франкомъ». Органомъ этого раздраженія противъ иностранцевъ сдѣлалось уже въ концѣ царствованія Михаила (1643) московское духовенство. Оно жаловалось царю формально на то, что иностранцы строятъ свои церкви близко отъ русскихъ, что они «русскихъ людей у себя въ дворѣхъ держатъ и всякое оскверненіе русскимъ людямъ отъ тѣхъ нѣмецъ бываетъ». Эта челобитная послужила сигналомъ къ извѣстному уже намъ правительственному гоненію противъ иностранцевъ. Немедленно были снесены двѣ протестантскія церкви — на Покровкѣ и у Чистыхъ прудовъ; та же судьба постигла затѣмъ и третью. Далѣе послѣдовалъ рядъ указовъ о неношеніи русскаго платья, недержаніи православной прислуги иноземцами, о наказаніи ихъ смертной казнью за богохульство, объ изгнаніи изъ всѣхъ городовъ Россіи, кромѣ Архангельска, англійскихъ коммерсантовъ, наконецъ, о выселеніи всѣхъ иностранцевъ за городскую черту, во вновь отведенную имъ слободу (1652). Все это не только не утишило національной вражды къ иностранцамъ, но на первое время придало смѣлости буянамъ. Не успѣла обстроиться Ново-Нѣмецкая слобода, какъ мы встрѣчаемся съ попыткой уличной толпы разгромить ее. Взволнованная слухами о томъ, что жена только-что пожалованнаго помѣстьемъ генерала Лесли мучитъ крестьянъ и жжетъ въ огнѣ иконы, толпа бросилась на Ново-Нѣмецкую слободу, разнесла крыши

на только-что перенесенныхъ туда церквахъ и разрушила въ нихъ каѳедры проповѣдниковъ и алтари. Послѣ того и владѣніе помѣстьями запрещено иноземцамъ спеціальнымъ указомъ. Всѣ эти распоряженія создали для иноземцевъ то новое, болѣе спокойное и, въ сущности, болѣе опасное для націонализма положеніе, о которомъ мы говорили выше. Сами иностранцы справедливо сравнивали его съ положеніемъ рака, котораго за наказаніе рѣшено утопить въ водѣ.

Выгнать иностранцевъ изъ Москвы, не умѣя все-таки обойтись безъ нихъ, значило, въ сущности, придти къ нимъ самимъ, но уже въ ихъ собственную среду, въ ихъ обстановку, за наукой. Необходимость такого обращенія не замедлила обнаружиться. Лишивъ иностранцевъ русской прислуги, правительство не затруднилось прислать русскихъ дѣтей въ нѣмецкую школу, когда это понадобилось для придворнаго спектакля. Мѣщанскія дѣти показали путь царскому сыну.

Изъ русскихъ едва ли кто тогда понималъ невозможность побѣдить европеизмъ путемъ однихъ только чисто отрицательныхъ мѣропріятій, вродѣ только-что перечисленныхъ. Злѣйшимъ врагомъ надвигавшейся европеизаціи, понявшимъ опасность во всемъ ея размѣрѣ и пытавшимся указать не одни только палліативы для борьбы съ нею, оказался на первый разъ не русскій, а славянинъ. Обстановка славянской жизни, съ ея несравненно большей опасностью иноземнаго порабощенія, съ наглядными примѣрами такого порабощенія въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ и періодахъ развитія, начиная съ экономической зависимости, продолжая культурной и кончая политической,— такая обстановка гораздо болѣе изощряла глазъ и настораживала воображеніе противъ всѣхъ возможныхъ опасностей, дѣйствительныхъ и мнимыхъ, иноземнаго вліянія. Только тамъ, на западѣ, и можно было, къ тому же, получить подготовку, необходимую для сознательнаго сужденія о политическихъ и соціальныхъ вопросахъ. Всѣ эти условія соединялъ въ себѣ первый теоретикъ русскаго (точнѣе, славянскаго) націонализма, хорватъ Юрій Крижаничъ *). Отъ себя онъ прибавилъ къ этому горячее сердце и недюжинный умъ, силу котораго мы должны будемъ признать за знаменитымъ славяниномъ и тогда,

*) Родившись въ 1617 году въ Хорватіи, Крижаничъ окончилъ курсъ въ католической духовной семинаріи въ Вѣнѣ, готовился къ миссіонерской дѣятельности въ Римѣ, въ 1642—1646 г. дѣйствовалъ какъ уніатскій миссіонеръ среди православныхъ сербовъ (въ Хорватіи), въ 1646—1650 жилъ въ Россіи, съ цѣлью соединенія церквей. Вѣроятно, въ 1660, — онъ опять пріѣхалъ въ Москву, а въ 1661,—надо думать, за нежеланіе принять второе крещеніе при переходѣ въ православіе (что должно было быть понято, какъ доказательство католическихъ тенденцій), — высланъ въ Тобольскъ, гдѣ и оставался до смерти царя Алексѣя, до 1676 г. Тамъ написана имъ „Политика“, о которой говорится въ текстѣ. 1676 — 1680 г. — провелъ въ Польшѣ; дальше слѣды Крижанича теряются.

*

когда точнѣе изучимъ его пособія и источники, и выдѣлимъ въ его разсужденіяхъ все то, чѣмъ онъ обязанъ западной публицистикѣ своего времени. Съ своимъ политическимъ развитіемъ, съ своими знаніями, Крижаничъ для тогдашней Россіи былъ слишкомъ крупной фигурой и, конечно, не могъ быть ни оцѣненъ, ни даже понятъ вполнѣ. Но мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы повторили вслѣдъ за покойнымъ историкомъ Брикнеромъ, что это былъ въ Россіи «ораторъ безъ аудиторіи, проповѣдникъ безъ каѳедры». Сочиненія Крижанича имѣлись налицо и у царя на Верху, и въ Посольскомъ приказѣ, и въ частной библіотекѣ В. В. Голицына. Это все были какъ разъ тѣ читатели, къ которымъ и обращался хорватскій патріотъ съ своими политическими утопіями. Но даже и независимо отъ степени распространенности и выполнимости, идеи и наблюденія Крижанича имѣютъ для насъ огромное значеніе, какъ болѣе сознательное выраженіе того, что многими смутно думалось и чувствовалось на тогдашней Руси, а также какъ самое яркое описаніе готовившагося въ русской жизни культурнаго перелома. Не имѣй мы сочиненій Крижанича, намъ пришлось бы клеить изъ случайно дошедшихъ до насъ, очень скудныхъ обрывковъ ту идейную формулировку націоналистической реакціи, которая, несомнѣнно, должна была явиться ближайшимъ результатомъ усилившагося теперь натиска европейской культуры. На наше счастье, мы можемъ замѣнить эту мозаику цѣльной картиной первостепеннаго мастера, въ которой все типичное и существенное подчеркнуто, проведено чрезъ сознаніе художника, изображено, благодаря этому, можетъ быть, черезчуръ выпукло и преувеличенно рѣзко; но мы предпочтемъ эту выпуклость и рѣзкость тусклому лепету туземныхъ политиковъ, какъ предпочитаемъ изучать бытъ Японіи и Китая по европейскимъ фотографіямъ, а не по силуэтамъ безъ тѣней и перспективы, нацарапаннымъ рукой мѣстныхъ художниковъ.

Россія представляется Крижаничу, уже въ 60-хъ годахъ XVII в., стоящей на распутьѣ двухъ культурныхъ дорогъ, изъ которыхъ одна манитъ впередъ, въ опасную даль, а другая уводитъ назадъ, въ густыя потемки. Программы обоихъ противоположныхъ между собой культурныхъ направленій онъ формулируетъ въ цѣломъ рядѣ яркихъ сопоставленій. При каждомъ отдѣльномъ случаѣ Крижаничъ указываетъ и исходъ изъ опасной дилеммы—въ видѣ средняго пути между крайностями радикализма и реакціи: такой исходъ диктуетъ ему «разумъ».

«Есть два народа, искушающихъ Россію приманками противоположнаго характера, влекущихъ и разрывающихъ ее въ противоположныя стороны. Это—нѣмцы и греки. При всемъ различіи между собой, оба народа вполнѣ сходятся въ одномъ, именно въ основной цѣли своихъ искушеній, и сходятся настолько хорошо, что можно было бы предположить между ними взаимный заговоръ для нашей погибели.

«1. Нѣмцы намъ рекомендуютъ всяческія нововведенія. Они хотятъ,

чтобы мы бросили всѣ наши похвальныя древнія учрежденія и нравы и сообразовались съ ихъ собственными извращенными нравами и законами. Греки, напротивъ, безусловно осуждаютъ всякую новизну; безъ дальнихъ разсужденій они вопятъ и твердятъ, что всякая новизна есть зло. *А разумъ говоритъ:* ничто не можетъ быть дурно или хорошо только потому, что оно ново. Все хорошее и дурное было вначалѣ ново. Когда-нибудь было ново и то, что теперь является стариной. Нельзя принимать новизну безъ разсужденія, легкомысленно,—такъ какъ при этомъ можно ошибиться. Но нельзя и отказываться отъ хорошаго изъ-за одной его новизны, такъ какъ и тутъ возможна ошибка. Будемъ ли мы принимать или отвергать нововведеніе, во всякомъ случаѣ надо при этомъ серьезно разобрать дѣло.

«2. Греки научили насъ когда-то православной вѣрѣ. Нѣмцы намъ проповѣдуютъ нечестивыя и душепагубныя ереси. *Разумъ* совѣтуетъ въ данномъ случаѣ: грекамъ быть весьма благодарными, а нѣмцевъ избѣгать и ненавидѣть ихъ, какъ дьяволовъ и драконовъ.

«3. Нѣмцы стараются завербовать насъ въ свою школу. Подъ видомъ наукъ, они намъ подсовываютъ дьявольскія кудесничества: Астрологію, Алхимію, Магію. Они совѣтуютъ свободныя, т.-е. философскія знанія выбросить на общее употребленіе и сдѣлать доступными каждому мужику. Греки, напротивъ, осуждаютъ всякое знаніе, всякую науку и рекомендуютъ намъ невѣжество. *А разумъ говоритъ*: избѣгай дьявольскихъ кудесничествъ, какъ самого дьявола, но вѣрь, что и невѣжество не приводитъ къ добру. Что касается философіи, съ ея изученіемъ не надо такъ шумѣть и вольничать, какъ это дѣлаютъ нѣмцы, но слѣдуетъ дѣлать это съ той скромностью, съ какой изучали и преподавали философію Святые Отцы. Какъ все хорошее, употребляясь въ излишествѣ, становится дурнымъ, такъ и философія, сдѣлавшись извѣстной всему народу, ведетъ за собой много сомнѣній и смутъ и многихъ отъ труда отвлекаетъ къ праздности, какъ и видимъ теперь у нѣмцевъ. Тамъ всѣ безъ различія, ученый и неученый, честный и не честный, хорошо или худо—пользуются общимъ добромъ, кто для того, чтобъ найти истину, кто чтобъ доказать свое невѣрное мнѣніе, кто чтобъ оправдать свои пороки. Нельзя всякое блюдо приправлять медомъ; иначе будетъ тошно. Нельзя и философію дѣлать доступной народу, но только благородному сословію и немногимъ изъ простолюдиновъ, спеціально для того назначеннымъ, сколько ихъ потребуется для государственной службы. Иначе—достойнѣйшая вещь профанируется и пошлѣетъ: бисеръ мечется передъ свиньями.

«4. Нѣмцы выше всего ставятъ проповѣдь или чтеніе Евангелія: этимъ однимъ они надѣются спастись, безъ всякаго покаянія и добрыхъ дѣлъ. При этомъ они вызываютъ насъ на диспуты. Греки же совсѣмъ упразднили и осудили проповѣдь Слова Божія. И диспуты или соборы они осудили, запретили. *А разумъ* совѣтуетъ: во-первыхъ, по-

ревновать о покаяніи и добрыхъ дѣлахъ, а во-вторыхъ, и проповѣди не отвергать. Но нельзя поручать или дозволять проповѣдь первому попавшемуся, неопытному или не твердому въ нравственныхъ правилахъ, священнику или монаху. Проповѣдовать можетъ одинъ епископъ или старѣйшіе, наиболѣе испытанные жизнью и распростившіеся съ мірскими соблазнами монахи. Простымъ священникамъ достаточно читать проповѣди по книгѣ, да и это не всѣмъ можно дозволить, а то въ Германіи и въ Польшѣ всякій пьяный попъ можетъ проповѣдовать Слово Божіе.

«5. Нѣмцы совѣтуютъ намъ предаваться всякой тѣлесной распущенности, а монашескую жизнь, посты, ночныя бдѣнія и всяческое умерщвленіе плоти учатъ презирать. Греки требуютъ, чтобы мы соблюдали не только истинное и похвальное христіанское воздержаніе, но вводятъ особые виды ложнаго благочестія и фарисейскаго суевѣрія. Они хотятъ тѣлесными омовеніями смыть душевныя пятна, а священническими молитвами думаютъ очистить тѣлесную нечистоту и т. п. *А разумъ* внушаетъ: никоимъ образомъ не допускать тѣлесной распущенности и не пренебрегать дѣлами покаянія и умерщвленія плоти. Новые же, подозрительные и неизвѣстные отцамъ виды благочестія предварительно хорошенько изслѣдовать.

«6. Въ политическихъ дѣлахъ греки совѣтуютъ намъ во всемъ поступать по образцу турецкаго двора. Будучи сами неучены и неопытны въ этомъ вопросѣ, они ничего другого и не могутъ намъ сказать объ этомъ, кромѣ того, что видятъ въ Турецкой Портѣ. Нѣмцы же порицаютъ всѣ турецкіе нравы, законы и учрежденія. Все, что носитъ имя турецкаго—тѣмъ самымъ слыветъ у нихъ за варварское, не гуманное, скотское. *А разумъ* говоритъ, что и у турокъ есть кое-какія отличныя и достойныя подражанія учрежденія,—разумѣется, не всѣ.

«7. Нѣмцы утверждаютъ, что въ вопросахъ вѣры нельзя никого осуждать и ссылаются при этомъ на Писаніе, гдѣ сказано: «не судите, да не судимы будете». А греки приводятъ другой текстъ: «Кто будетъ вамъ проповѣдовать что-либо сверхъ того, что вы пріяли,—да будетъ анаѳема». И они выводятъ изъ этого и другихъ подобныхъ мѣстъ, что мы должны ихъ однихъ слушать и имъ безъ разсужденій вѣрить. *А разумъ* совѣтуетъ: нѣмецкія и всякія другія ереси, осужденныя уже отцами и соборами, отвергать безъ всякаго новаго разсмотрѣнія, а если возникнетъ новый спорный вопросъ, отцами и соборами не разсмотрѣнный и не рѣшенный,—сперва выслушать и разобрать, какъ слѣдуетъ, а безъ разбора не осуждать. (Напр., вопросы о числѣ таинствъ, о чистилищѣ).

«8. Греки намъ льстятъ и подслуживаются баснями, стараясь возвеличить старину этого государства, а въ дѣйствительности только позорятъ его и ставятъ въ невыгодное положеніе. Они назвали Москву третьимъ Римомъ и сочинили смѣшную сказку, будто русское царство

есть римское и ему приличествуютъ знаки достоинства римской имперіи. Нѣмцы же на насъ клевещутъ и всячески стараются доказать міру, что русское государство есть простое княжество, а государи—великіе князья. Тѣ и другіе отказываютъ здѣшнему государству въ имени и чести «королевства» (regnum); тѣ и другіе сходятся въ лживой передержкѣ, будто римское государство—не простое королевство, а нѣчто высшее, и будто здѣшнее государство не можетъ сравняться съ нимъ въ достоинствѣ, если не получитъ этого достоинства отъ римскаго государства. *А разумъ* говоритъ, что государей можетъ ставить одинъ Богъ, а не римскій императоръ; что дать корону и титулъ—не значитъ сдѣлать кого-либо государемъ, а просто значитъ — уступить ему свое мѣсто. Русское царство такъ же велико и славно, какъ римское, никогда ему не подчинялось и равно ему по власти.

«9. Изъ вышесказаннаго ясно видно, какимъ разнообразнымъ и гибельнымъ искушеніямъ подвергаютъ насъ нѣмцы и греки, давая намъ притомъ совѣты прямо противоположные. Въ самомъ дѣлѣ. 1)Первые хотятъ заразить насъ своими новизнами, вторы еогульно осуждаютъ всякую новость и подъ фальшивымъ именемъ древности навязываютъ намъ свои нелѣпости. 2) Одни сѣютъ ереси; другіе хотя и научили насъ истинной вѣрѣ, но примѣшали къ ней схизму. 3) Одни предлагаютъ намъ смѣсь истинныхъ наукъ съ дьявольскими; другіе восхваляютъ невѣжество и всѣ науки считаютъ ересью. 4) Одни питаютъ тщетную надежду спастись одною проповѣдью; другіе пренебрегаютъ проповѣдью и предпочитаютъ полное молчаніе. 5) Одни, допуская всяческую распущенность въ жизни, влекутъ насъ на широкій и просторный путь погибели; другіе, призывая къ фарисейскому суевѣрію и ханжеству, указываютъ тѣмъ путь—болѣе узкій, чѣмъ даже тѣсный и истинный путь спасенія. 6) Одни—всѣ турецкіе государственные порядки считаютъ варварскими, тиранническими и негуманными, другіе все находятъ прекраснымъ и похвальнымъ. 7) Одни находятъ, что нельзя никого судить; другіе утверждаютъ, что надо осуждать, не выслушавъ. 8) Одни не отдаютъ должной чести этому государству; другіе приписываютъ ему честь вымышленную, суетную, нелѣпую и невозможную. 9) Расходясь, такимъ образомъ, почти во всемъ, отлично сходятся въ томъ, что одинаково ненавидятъ нашъ народъ, презираютъ его, злословятъ и осыпаютъ злѣйшими клеветами и нареканіями».

Эта длинная цитата не только резюмируетъ взгляды автора на занимающій насъ вопросъ, но она рисуетъ и его самого во весь ростъ. Такъ отнестись къ борьбѣ греческаго и нѣмецкаго культурнаго вліянія могъ только человѣкъ, чуждый тому и другому: человѣкъ, который смотрѣлъ на протестантизмъ и на православіе глазами католика, который ненавидѣлъ грека и нѣмца, какъ балканскій славянинъ, притомъ славянинъ той пограничной области, гдѣ высокомѣрное господство грека соприкасалось съ предпріимчивой эксплуатаціей нѣмца. Кри-

жаничъ хорошо понялъ, притомъ, что за грекомъ стоятъ лишь традиціи прошлаго, которыя не устоятъ передъ славянскимъ возрожденіемъ, тогда какъ нѣмцу принадлежитъ будущее, и бороться съ нимъ можно только его же оружіемъ,—дальнѣйшимъ развитіемъ собственной культуры. Естественно, что уже и по этой причинѣ,—а не только по одному тому, что нападать на грековъ въ православной Москвѣ было не особенно ловко,—всѣ усилія Крижанича направлены на борьбу не съ греками, а съ главнымъ, по его мнѣнію, врагомъ славянства, съ нѣмцами. Сила его ненависти къ этому врагу равняется только тому невольному уваженію, которымъ онъ былъ проникнутъ по отношенію къ европейской культурѣ.

Мы видимъ, что этотъ теоретикъ націонализма выступаетъ на литературную борьбу съ багажомъ, рѣзко различнымъ отъ того, какой находился въ распоряженіи у доморощенныхъ противниковъ иноземнаго вліянія. Его публицистическая проповѣдь представляетъ, сообразно съ этимъ, двѣ очень несходныя стороны. Когда онъ проклинаетъ русскую любовь къ иностранцамъ, мы воображаемъ, съ какимъ удовольствіемъ поддакивали въ тактъ его рѣчамъ самые закоренѣлые московскіе старовѣры. Но стоило ему перейти къ средствамъ для излѣченія лютаго недуга, и можно себѣ легко представить, какъ вытягивались ихъ лица: самъ Петръ Великій говорилъ съ ними устами патріота-славянина.

«Народы даровитые и мудрые обыкновенно эксплуатируютъ другіе, менѣе культурные народы (populos rudiores)». Такова исходная точка зрѣнія Крижанича. «Такимъ образомъ прежде греки завлекали въ обманъ другіе народы; теперь ихъ совращаютъ германцы». Больше всѣхъ пострадали отъ нѣмцевъ славяне. Главная причина этого—слабость собственнаго культурнаго развитія. «Нашъ народъ занимаетъ середину между дикими и цивилизованными (людскими) народами». Съ цивилизованными народами славяне не выдерживаютъ никакого сравненія. «Мы по наружности-посредственны, а иностранцы красивы и потому надменны и горды. Мы неразговорчивы, а они бойки на языкъ, говорливы и полны насмѣшливыхъ, ругательныхъ, язвительныхъ рѣчей. Мы медленны умомъ и просты сердцемъ, они исполнены всякихъ хитростей. Мы—гуляки и расточители, приходу и расходу счета не держимъ; богатство свое раздариваемъ и разбрасываемъ; они скупы, жадны, всецѣло преданы корысти. День и ночь они только и смотрятъ, какъ бы наполнить свои мѣшки, а надъ нашими пирами и угощеніями смѣются. Мы лѣнивы къ работѣ и къ наукамъ, они трудолюбивы и не проспятъ ни одного удобнаго часа. Мы довольствуемся убогой одеждой и умѣреннымъ образомъ жизни; они требовательны, утопаютъ въ роскоши и изнѣженности, никогда ничѣмъ не насытятся, но постоянно алчутъ и хотятъ имѣть все больше и больше. Мы живемъ въ убогой землѣ, они рождены въ богатыхъ роскошныхъ странахъ и привозятъ

къ намъ всякіе, къ роскоши и наслажденіямъ служащіе товары: бисеръ, шелкъ, драгоцѣнные камни, вино, сахаръ, фрукты, и этими приманками дурачатъ насъ, какъ ловцы звѣрей. Мы просто говоримъ и думаемъ и просто въ нашихъ дѣйствіяхъ поступаемъ: если поссоримся, то и опять помиримся; у нихъ—сердце скрытное, неискреннее, злопамятное, наружность притворная; обиднаго слова они не забудутъ до смерти, и если разъ съ тобою поссорятся, то уже во вѣки истиннаго мира не учинятъ, но и послѣ примиренія всегда ищутъ случая къ отместкѣ».

Преимущества иностранцевъ ослѣпляютъ насъ и отдаютъ имъ въ руки. «Обладая языкомъ самымъ несовершеннымъ, чуть не нѣмымъ, некрѣпкіе разумомъ и почти вовсе лишенные красоты, мы дивимся чужому краснорѣчію, мудрости, разуму, искусству въ играхъ и льстивымъ шуткамъ; и подобно птицамъ, которыя тѣмъ легче попадаютъ въ силки охотника, чѣмъ больше любопытствуютъ и дивятся на охотничьи затѣи, и мы, зазѣвавшись на иноземческую красоту, бываемъ ими одурачены и сведены съ ума: они накинутъ намъ узду, сядутъ на шею и ѣздятъ, сколько хотятъ». Очаровавъ насъ своею красотой и обманувъ своимъ умомъ и хитростью, иностранцы затѣмъ «берутъ съ насъ дань, обдираютъ и доводятъ до нищеты своею алчностью и ненасытностью, побиваютъ, вредятъ и приводятъ въ отчаяніе своей скрытностью, тайнымъ, вѣчнымъ, неутишнымъ ядомъ и коварствомъ, срамятъ, осмѣиваютъ и выставляютъ на позоръ всѣмъ народамъ своей бѣсовской надменностью».

Но неужели славянамъ суждено навсегда остаться несовершеннолѣтними въ семьѣ цивилизованныхъ народовъ? Можетъ ли быть измѣнено только-что описанное отношеніе между ними и германцами?

По смыслу мнѣній Крижанича, оно отчасти не можетъ, отчасти не должно, но отчасти необходимо должно измѣниться.

Отношеніе *не можетъ* измѣниться, если изображенныя національныя свойства считать неотъемлемыми, прирожденными чертами національнаго характера. Крижаничъ такъ именно и склоненъ смотрѣть на нѣкоторыя изъ упомянутыхъ національныхъ свойствъ. «Неразговорчивость, лѣность, пированіе и расточительность—говоритъ онъ, суть наши урожденныя примѣты или четыре первозданныя свойства, съ которыми мы, кажется, родились». Рядомъ съ этими природными недостатками онъ отмѣчаетъ и природныя достоинства,—которыя *не должны* измѣняться. «Первое наше счастье отъ рожденія состоитъ, кажется, въ томъ, что мы не честолюбивы... и довольствуемся простымъ образомъ жизни». Переводя эти наблюденія на современный языкъ, можно заключить, что коренными славянскими особенностями Крижаничъ считаетъ слабое развитіе индивидуальности (недостатокъ личной энергіи и предусмотрительности) и демократизмъ.

Оставляя въ сторонѣ эти неизмѣнныя національныя особенности,

Крижаничъ сводитъ остальныя различія между славянами и иностранцами, повидимому, къ одному—къ *степени знанія и умѣнія.* Незнаніе—есть такой порокъ, который неизбѣжно излѣчивается временемъ. Прогрессъ всегда и вездѣ заключается въ ростѣ сознательности и въ накопленіи знаній. «Всякій человѣкъ родится простъ и во всемъ неискусенъ. Медленно онъ растетъ тѣломъ, еще медленнѣе совершенствуется разумомъ. Несмѣтное множество людей едва на четырнадцатомъ году возраста, или еще позднѣе осматриваются кругомъ себя и начинаютъ разумѣть, что такое свѣтъ и что въ немъ происходитъ... Но не только отдѣльный человѣкъ, а и цѣлые народы медленно учатся и совершенствуются разумомъ. Проходитъ много времени, пока народы узнаютъ истину, и оставятъ древнія свои дурныя (вредныя) идеи и законы. Только тогда они, что непригодно, научаются дѣлать пригоднымъ, что было неудобно, превращаютъ въ удобное, что было хорошо, перемѣняютъ на лучшее; что было мерзко, превращаютъ въ приличное и почетное... Очень удачно Флоръ, римскій историкъ, приравниваетъ исторію своего народа къ четыремъ возрастамъ человѣческимъ (дѣтству, молодости, возмужалости и старости)... Мы можемъ съ полнымъ основаніемъ и всякій другой народъ примѣнить къ этому раздѣленію эпохъ: это покажетъ намъ не только то, что всѣ человѣческія вещи непостоянны и перемѣнчивы, но также и то, что всякій народъ не сразу и не въ одинъ мигъ, а спустя много времени научается разуму и мудрости, которая нужна для общественной жизни и государственнаго устройства...» «Какъ храбрость, такъ и мудрость переходитъ отъ народа къ народу. Нѣкоторые народы были въ древности отлично знакомы со всякими науками, а теперь несвѣдущи, напр., египтяне, греки, евреи. А другіе въ древности были грубы и дики, а теперь въ ремеслахъ и во всякой мудрости на диво славны,—напр. нѣмцы, французы... Пусть же никто не говоритъ, будто бы намъ, славянамъ, путь къ наукамъ былъ заказанъ какимъ-то рокомъ небеснымъ и будто бы мы не можемъ или не должны учиться наукамъ. Какъ другіе народы не въ одинъ день и не въ одинъ годъ, но постепенно, одни отъ другихъ учились, такъ и мы можемъ научиться, если захотимъ и если постараемся».

Однако, необходимы извѣстныя условія, чтобы этотъ прогрессъ осуществился въ дѣйствительности. Не всѣ славяне находятся въ достаточно благопріятныхъ условіяхъ для воспріятія наукъ. Напрасно было бы и думать о возрожденіи славянства въ Помераніи, Силезіи, Чехіи и Моравіи,—какъ странахъ, вполнѣ уже онѣмеченныхъ. Задунайскіе славяне (болгары, сербы и хорваты) тоже «давно уже потеряли не только свои государства, но и всю свою силу, языкъ и разумъ... Помочь имъ вполнѣ и возстановить ихъ государства въ теперешнія трудныя времена—невозможно: можно только посредствомъ книгъ открыть этимъ людямъ умственныя очи, чтобъ они сами научились по-

нимать свое достоинство и начали бы думать о своемъ возрожденіи». Всего легче разбудить народное самосознаніе у поляковъ, но и для этого нужна посторонняя помощь. Такую помощь всѣмъ славянамъ можетъ оказать только московскій государь; на него обращены всѣ взоры славянства, онъ одинъ можетъ собрать разсѣянное стадо и вернуть человѣческій видъ народамъ, превращеннымъ въ скотское состояніе вліяніемъ иностранцевъ, словно чудодѣйственнымъ напиткомъ Цирцеи. Не даромъ Богъ возвысилъ на Руси славянское королевство, подобнаго которому по силѣ, славѣ и величеству не было до сихъ поръ среди славянства. «У другихъ народовъ мы видимъ, что когда какое-либо государство достигаетъ высшей точки своего могущества, тогда у этого народа и начинаютъ процвѣтать науки... Поэтому мы полагаемъ, что теперь пришло, наконецъ, время и нашему народу учиться наукамъ».

Но для того чтобы сыграть такую роль въ славянствѣ, Россія сама должна очиститься отъ грѣха «чужебѣсія»—ксеноманіи, которому и она подвержена, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ остальные славяне. «Пора уже разъ навсегда прогнать отъ себя нѣмцевъ: мерзко вѣкъ учиться и не научиться, а такъ и остаться навѣки на ученической скамьѣ».

Путемъ такой философіи исторіи Крижаничъ приходитъ къ своему безпощадному анализу русскаго «чужебѣсія». Разъ коснувшись этой темы, онъ уже не жалѣетъ красокъ, не останавливается передъ преувеличеніями, не смущается никакими радикальными рѣшеніями: лишь бы спасти Россію отъ той печальной судьбы, которая мерещится ему въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ на основаніи прецедентовъ остального славянства. Онъ тщательно выискиваетъ въ современной Россіи наличные слѣды европейскаго вліянія, старается отыскать ихъ вредную сторону и взываетъ къ національнымъ силамъ, долженствующимъ замѣнить иностранныя. Не довольствуясь настоящимъ, онъ рисуетъ опасности будущихъ заимствованій, предостерегаетъ отъ нихъ и отстаиваетъ противъ нихъ сохранившіеся еще на Руси старые добрые нравы.

Двѣ главныя основы государственнаго могущества суть матеріальное богатство и военная сила. Въ обоихъ отношеніяхъ могущество Россіи подвергается опасности отъ нашествія чужеземцевъ. Богатство страны они высасываютъ, какъ купцы. Они умѣютъ за безцѣнокъ купить русскіе товары, по огромнымъ цѣнамъ навязать имъ свои. И притомъ, они привозятъ такіе товары, которые часто лишь служатъ для дальнѣйшаго развращенія русскихъ иноземнымъ вліяніемъ, а вывозятъ такіе, которые необходимо нужны самой Россіи для дальнѣйшаго роста ея населенія (напр., зерновой хлѣбъ). Военная сила Россіи тоже не столько увеличивается, сколько умаляется наймомъ иностранцевъ на военную службу. Уже не говоря о наймѣ цѣлыхъ корпусовъ,

Крижаничъ рѣшительно высказывается и противъ приглашенія иностранныхъ офицеровъ, которое въ большихъ размѣрахъ практиковалось въ тридцатыхъ годахъ и приняло особенно большіе размѣры въ шестидесятыхъ, т.-е., какъ разъ тогда, когда онъ писалъ свою книгу. «Полковники» научили русскія войска не тому, чему надо: они ввели тяжелый строй, который пригоденъ лишь для войны на западной границѣ, но совсѣмъ не годится для борьбы съ южными кочевниками, со стороны которыхъ грозитъ Россіи главная опасность. Научиться стрѣлять изъ пищалей и носить длинныя копья мы могли бы и сами; но, введя эти реформы въ пѣхотѣ, мы напрасно приняли нѣмецкій конный строй, вмѣсто того, чтобы удержать выработанную опытомъ «легкую ѣзду и гусарскій строй». Съ другой стороны, приглашеніе иностранцевъ на высшія мѣста закрыло дорогу своимъ, которые потеряли надежду выслужиться, а слѣдовательно, и охоту служить. Простые же солдаты, слыша иноземную команду, потеряли увѣренность въ себѣ, въ своемъ превосходствѣ надъ прочими народами, не пріобрѣтя въ то же время довѣрія къ своимъ новымъ начальникамъ.

Какъ же помочь дѣлу? Крижаничъ стоитъ здѣсь за радикальныя мѣры. И купцовъ, и полковниковъ надо выгнать изъ русской земли: первыхъ оставить лишь въ пограничныхъ торговыхъ пунктахъ, вторыхъ удержать лишь до тѣхъ поръ, пока они передадутъ свои знанія русскимъ людямъ; впрочемъ, имъ и передавать больше нечего кромѣ того, что они уже дали.

Но Крижаничъ идетъ дальше: отъ опасностей наличныхъ онъ переходитъ къ опасностямъ, грозящимъ въ будущемъ. На рубежѣ тѣхъ и другихъ стоятъ заимствованія отъ иностранцевъ во всемъ строѣ жизни. Крижаничъ съ удовольствіемъ констатируетъ незначительность этихъ заимствованій и тотъ полный контрастъ, который продолжаетъ существовать между европейскимъ строемъ жизни и русскимъ. Этотъ именно контрастъ вызываетъ большую часть иностранныхъ обличеній и насмѣшекъ. Крижаничъ готовъ признать, что не все въ этихъ обличеніяхъ лживо, но вездѣ онъ запальчиво отвѣчаетъ иностранцамъ—упреками, что они впадаютъ въ другую крайность. Какъ всегда, такъ и въ данномъ случаѣ онъ видитъ исходъ въ золотой серединѣ. Вѣрно, конечно, что русское жилье крайне неудобно, что окна низки, отдушины для прохода дыма малы, и при топкѣ по черному дымъ стоитъ въ избѣ и слѣпитъ глаза. Правда, что подъ лавками въ избѣ вѣчная грязь, посуда немыта, нельзя продохнуть отъ вони. Но дома иностранцевъ располагаютъ къ изнѣженности: мраморные полы ихъ такъ часто моются и содержатся въ такой чистотѣ, точно алтари; нельзя гостю и плюнуть на полъ, чтобы служанка тотчасъ не подтерла. «Не будемъ подражать черезчуръ заботливой и не жалѣющей труда чистоплотности нѣмцевъ», которые хотятъ превратить временную земную гостинницу въ небесные чертоги. Домъ долженъ быть чистъ, утварь

должна быть удобная для мытья, а не чеканная и рѣзная, мебель пусть будетъ простая, сдѣланная изъ туземнаго, а не изъ привознаго матеріала. Точно также и относительно платья. Совершенно вѣрно, что русскій костюмъ не удовлетворяетъ ни одному элементарному требованію отъ одежды: онъ неудобенъ, непроченъ, дорогъ и тяжелъ; его покрой безобразитъ народъ, и безъ того некрасивый; къ тому же, при такомъ фасонѣ приходится платокъ прятать въ шапку, деньги — въ ротъ, а ножи, бумаги и всякія нужныя вещи въ голенища, что вызываетъ смѣхъ и отвращеніе иностранцевъ. Недостатки фасона приходится возмѣщать богатствомъ и яркостью матерій, дороговизной отдѣлки — мѣхами или драгоцѣнными каменьями. У европейскаго покроя нельзя отрицать разумности и цѣлесообразности. Но зато у нихъ каждый годъ новая мода: нѣтъ такихъ украшеній и формъ, служащихъ комфортабельности или пикантности, которыхъ бы они не выдумали. И «стоитъ во Франціи или въ другомъ мѣстѣ придумать что-нибудь пикантное, игривое, легкомысленное или роскошное, какъ нѣмцы тотчасъ набѣгутъ и усердно переймутъ это». Русскимъ слѣдуетъ создать покрой средній между восточнымъ и западнымъ: нужно, чтобы онъ былъ дешевъ, удобенъ для движенія, проченъ и легокъ.

Русскій образъ жизни Крижаничъ безусловно предпочитаетъ европейскому. Европейцы «высшей задачей человѣка считаютъ наслажденіе» и утверждаютъ, что «человѣкъ созданъ Богомъ для того, чтобы пользоваться мірскими удовольствіями». Такимъ образомъ, «Евангеліе Христа они превращаютъ въ евангеліе наслажденія». Нашу же простоту жизни они считаютъ варварствомъ. Русскій человѣкъ, кое-какъ выспавшись, на лавкѣ или на печи, подъ собственной свитой вмѣсто одѣяла и на соломенной подстилкѣ вмѣсто тюфяка, спѣшитъ спозаранку на работу или на царскую службу. Иностранецъ нѣжится до полудня на пуховикахъ и перинахъ и, едва вставъ съ постели, тотчасъ принимается за вкусный завтракъ. Онъ проводитъ время въ праздности, разнообразя досугъ играми, пѣснями, музыкой, танцами, услаждая свой вкусъ тысячными блюдами со всевозможными приправами. И въ то время, какъ высшій классъ—«сарданапалы» или «лежаки» утопаютъ въ роскоши, безземельные рабочіе погружены въ нищету: «цѣлый годъ они не пьютъ ничего, кромѣ чистой воды, и питаются недостаточно однимъ хлѣбомъ». «А на Руси, по Божьей милости, всѣ люди, какъ самые богатые, такъ и самые бѣдные, ѣдятъ ржаной хлѣбъ, рыбу, мясо и пьютъ, если у кого нѣтъ пива, по крайней мѣрѣ, квасъ». Они живутъ въ топленныхъ избахъ, тогда какъ на Западѣ бѣдняки терпятъ зимою стужу, такъ какъ «дрова продаются на вѣсъ». «Такимъ образомъ, крестьянское и батрацкое житье гораздо лучше на Руси, чѣмъ во многихъ странахъ». Въ высшей степени важное преимущество русскаго соціальнаго строя Крижаничъ видитъ въ томъ, что всѣ общественныя группы несутъ общественную службу, и никому не позволяется оставаться празд-

нымъ. На Руси нѣтъ непроизводительныхъ общественныхъ группъ, или число ихъ доведено до минимума. «Крестьяне пашутъ землю и готовятъ хлѣбъ; ратные люди терпятъ холодъ и голодъ, проливаютъ кровь и полагаютъ головы; дворяне воюютъ, судятъ, думы думаютъ, совѣтами и трудами своими королю и народу служатъ; церковники и иноки Бога за людскіе грѣхи молятъ. При такомъ порядкѣ всѣ добрые и производительные классы нѣчто дѣлаютъ, что служитъ на общую пользу всѣмъ классамъ». Въ этотъ перечень Крижаничъ умышленно не вводитъ ни торговцевъ, ни того, что мы назвали бы интеллигенціей. Торговцы, съ его точки зрѣнія, подобно праздной части дворянства, суть непроизводительный, «некорыстный» классъ — «бездѣльники». Интеллигенція же, сверхъ извѣстнаго минимума, тоже представляется ему дармоѣдами, приносящими больше вреда, чѣмъ пользы. Разводить ихъ слишкомъ широкимъ преподаваніемъ либеральныхъ наукъ—нѣтъ никакой надобности.

Переходимъ къ политическимъ взглядамъ Крижанича. Отношеніе его къ русскому самодержавію—очень для него характерно. Онъ постоянно и настойчиво повторяетъ, что неограниченная монархія есть одна изъ важнѣйшихъ основъ національнаго благополучія. Кромѣ ходячаго аргумента, намъ уже не разъ встрѣчавшагося, что самодержавіе лучше обезпечиваетъ свободу каждаго отъ посягательствъ вліятельныхъ лицъ и классовъ,—защищаетъ слабаго отъ сильнаго,—Крижаничъ имѣетъ при этомъ въ виду другое основаніе, для него самого особенно важное. То дурное, что ему не нравится на Руси, большею частью вытекаетъ, по его мнѣнію, какъ мы видѣли, изъ *незнанія*, т.-е. является плодомъ простыхъ ошибокъ, которыя могутъ быть исправлены законодательствомъ. «Худое законоставіе»—вотъ коренной источникъ всѣхъ золъ; слѣдовательно, радикальная законодательная реформа—таково, въ его глазахъ, должно быть коренное лѣкарство. Неограниченность власти государя нужна ему, какъ необходимое условіе такого радикальнаго законодательства. Вотъ почему онъ особенно горячо ее защищаетъ. Если, однако, присмотримся ближе, то увидимъ, что и тутъ разсужденіе Крижанича располагается по его обычной схемѣ: Россія—крайность, славянство—другая; истина—посрединѣ.

«Не умѣютъ наши люди ни въ чемъ мѣры держать и среднимъ путемъ ходить, но всегда увлекаются въ крайности. Въ иномъ мѣстѣ у насъ государственное устройство въ конецъ распущено, своевольно, безпорядочно; въ другомъ—въ конецъ твердо, строго и жестоко. На всемъ широкомъ свѣтѣ нѣтъ королевства такого безряднаго и распустнаго, какъ польское, и нигдѣ нѣтъ такого крутаго владѣнія, какъ въ этомъ славномъ государствѣ русскомъ». Въ той и другой крайности виновными оказываются иностранцы и ихъ вліяніе. «Нѣмцы заразили свѣтъ распустой и ограниченіемъ самовластія». Отъ нихъ заимствовали и ляхи свою анархію. Начинателемъ русскаго «людодерства» (ти-

ранства) былъ царь Иванъ Грозный; но онъ же «хотѣлъ сдѣлать изъ себя варяга, нѣмца, римлянина,—кого угодно, только не русскаго и не славянина». Не довольствуясь пріобрѣтеннымъ имъ могуществомъ, онъ захотѣлъ суетной славы: его «домашніе бахари» (Крижаничъ не подозрѣваетъ, что въ томъ числѣ были и славяне, и складываетъ вину на грековъ, въ частности на патріарха Іеремію, пріѣзжавшаго въ Россію въ 1588 году) придумали ему вздорныя и вредныя сказки о томъ, что Москва—третій Римъ и что ея государь—потомокъ Августа. Эта суетность была «не послѣдней и немаловажной причиной и московскаго разоренія, и иныхъ народныхъ бѣдствій, которыя претерпѣлъ нашъ народъ со времени царя Ивана». Возвращаясь къ «людодерству», Крижаничъ подчеркиваетъ его вредъ во внутренней и внѣшней политикѣ. Крутое владѣніе сопровождается поборами, обогащающими царскую казну, но въ несравненно большихъ размѣрахъ разоряющими народъ; этими финансовыми тягостями объясняется и опустѣніе страны. Съ другой стороны, та же крутость отталкиваетъ сосѣдей: такъ Малороссія, испробовавъ московскаго владычества, поспѣшила вернуться подъ власть ляховъ.

Противъ обѣихъ крайностей, «людодерства» и «распусты», Крижаничъ часто и длинно полемизируетъ. Важнѣе этой полемики для насъ остановиться на томъ положительномъ пониманіи «умѣреннаго владѣнія», — своего рода «просвѣщеннаго абсолютизма»,— которое развиваетъ нашъ публицистъ. Это пониманіе и составляетъ ту золотую середину, къ которой тяготѣютъ въ данномъ случаѣ симпатіи Крижанича.

«Спроси всѣхъ королей на свѣтѣ, какъ они понимаютъ свои обязанности, и ты много найдешь такихъ, которые не смогутъ объяснить тебѣ отчетливо, зачѣмъ Богъ создалъ на свѣтъ королей и зачѣмъ далъ имъ власть надъ народами. Мнятъ короли, что не они созданы ради королевствъ и народовъ, а королевства ради нихъ. Мнятъ короли, что ихъ дѣло только господствовать, повелѣвать и пользоваться удовольствіями, а не промышлять день и ночь о народномъ благѣ». Въ дѣйствительности, каково бы ни было происхожденіе власти, она ограничена: или Божьей волей (въ случаѣ если власть получена отъ пророка или путемъ завоеванія), или волей народа (въ избирательныхъ монархіяхъ—власть каждаго государя отдѣльно, въ наслѣдственныхъ—власть «перваго, который вольно отъ народа избранъ на царство», что практически сводится къ тому же). Такимъ образомъ, хотя «король никакой человѣческой власти не подчиненъ и никто не можетъ его судить или казнить, но онъ подчиненъ заповѣди Божіей и общественному мнѣнію (общему гласу). Эти двѣ цѣпи связываютъ короля и напоминаютъ о его долгѣ. Кто не заботится ни о страхѣ Божіемъ, ни о срамѣ людскомъ, ни о славѣ грядущихъ временъ, тотъ есть настоящій полный тиранъ». Для короля тиранство—такой же позоръ, какъ для воина

трусость, для женщины невѣрность, для дворянина ложь и для богача—кража.

«Забота, и обязанность, и главное дѣло короля есть—*людство учинить блаженнымъ*». Къ этому онъ долженъ направлять всѣ свои помыслы. Конечно, и для царя не все возможно. Никакой царь не можетъ надѣяться достигнуть того, чтобы его царство было абсолютно свободно отъ всякихъ недостатковъ. Онъ не можетъ заставить землю дать плодъ или заставить море произвести рыбу. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы государь имѣлъ право оставить безъ исправленія то, что можетъ быть исправлено. И какъ бы онъ ни былъ полонъ добрыхъ намѣреній, онъ долженъ помнить, что послѣ него можетъ явиться наслѣдникъ иного рода. Лучшимъ средствомъ закрѣпить надолго свои улучшенія являются «добрые уставы». Но хорошее законодательство дается не легко. Для него необходимо «много думать и взвѣшивать, и въ книгахъ искать, и голову утруждать. Среди другихъ заботъ, королю и его думнымъ людямъ не легко держать въ памяти столько разсчетовъ и разныхъ соображеній и подбирать себѣ наглядные примѣры прошлыхъ временъ по книгамъ». Для всего этого, а также и въ видѣ противоядія противъ лживыхъ совѣтовъ льстецовъ, «разумному государю необходимо держать при себѣ, по крайней мѣрѣ, хоть одного или двухъ философовъ, со званіемъ напоминателя или лѣтописца, которые бы раскрывали ему другую сторону истины или, если бы побоялись сами объявить истину, то хотя бы указали книги, которыя не боятся говорить правду».

Эту роль Крижаничъ, очевидно, предназначалъ для самого себя. Желаніе его, повидимому, и исполнилось, но только въ довольно своеобразной формѣ. Онъ былъ отправленъ въ почетную ссылку, съ значительнымъ жалованьемъ,—порядокъ, который онъ формально одобряетъ и считаетъ похвальнымъ въ своей «Политикѣ». Оттуда, изъ далекаго Тобольска, онъ могъ безопасно для государственнаго спокойствія и для себя самого подавать свои политическіе совѣты; надъ этимъ онъ и работалъ нѣсколько лѣтъ подрядъ. Плодомъ такихъ добровольныхъ занятій въ невольномъ уединеніи и явилась та единственная въ своемъ родѣ философія націонализма, которая бросаетъ такой яркій свѣтъ на стремленія времени.

Совѣты, которые давалъ Крижаничъ, далеко не ограничивались критикой существующаго; не ограничивались и одними отрицательными совѣтами—запереть для иностранцевъ Россію. На досугѣ онъ обдумалъ и предложилъ правительству цѣлый рядъ положительныхъ реформъ по всѣмъ отдѣламъ государственной и общественной жизни. По его плану, самъ царь долженъ былъ оповѣстить народу объ этихъ реформахъ въ длинной рѣчи, которую сочинилъ для него Крижаничъ и которая заключала въ себѣ резюме всѣхъ его предположеній. Въ разборъ всѣхъ этихъ предположеній намъ нѣтъ нужды вдаваться, но необходимо оста-

новиться нѣсколько на ихъ общей связи, чтобы въ pendant къ націоналистическимъ вожделѣніямъ характеризовать также и размахъ реформаторской мысли Крижанича.

Не будетъ, кажется, ошибкой признать центральной мыслью положительной программы Крижанича—необходимость развитія производительныхъ силъ Россіи. «Наипервая причина силы государства—множество народа». «Люди плодятся и множатся тамъ, гдѣ есть пища, одежда и прочее необходимое для человѣческаго существованія: миръ, хорошо устроенное правительство. Люди повсюду размножаются на столько, насколько ихъ можетъ понести и прокормить земля, т.-е. насколько земля и вода родитъ хлѣба, скота, рыбы, звѣрей для корма и одежды; деревьевъ, камней и рудъ на постройку жилищъ, на утварь и орудія. А гдѣ земля неплодна, тамъ по необходимости и населеніе будетъ рѣдкое. Правда, въ иныхъ мѣстахъ, напр. въ Голландіи, жителей гораздо больше, чѣмъ земля можетъ прокормить, но такіе люди живутъ великимъ развитіемъ промышленности и торговли, а пищу и одежду привозятъ извнѣ. Напротивъ, въ другихъ мѣстахъ земля плодородна, а людей мало. Причинами могутъ быть моръ, голодъ, война. Этого рода причины, впрочемъ, не производятъ длительнаго дѣйствія: послѣ нихъ земля скоро населяется вновь. Если же она остается малолюдной полвѣка и больше, то причины должны быть другія». Это—или слабое развитіе земледѣлія, ремесла и торговли, въ связи съ экономической эксплуатаціей страны иностранцами, или дурные законы и крутое тиранство (связанное съ тяжелыми поборами). Такимъ образомъ, мѣры къ увеличенію густоты населенія могутъ быть трояків: во-первыхъ, непосредственныя законодательныя распоряженія, во-вторыхъ, всѣ мѣры направленныя къ подъему туземной промышленности и торговли и къ ограниченію иностранной конкуренціи, въ-третьихъ, наконецъ, перемѣны въ государственномъ строѣ въ связи со здравой финансовой политикой.

Непосредственными законодательными мѣрами для заселенія страны и размноженія населенія могутъ быть всевозможныя облегченія и поощренія браковъ. Напротивъ, ничего нѣтъ хуже для этой цѣли какъ переселенія и приписка къ подданству иностранцевъ. Римская имперія потому разрушилась, что, по мѣрѣ завоеваній, становилась все болѣе и болѣе смѣшанной изъ разныхъ народностей. Напротивъ, русское государство сильно своимъ племеннымъ единствомъ. Крижаничъ рѣзко возстаетъ противъ перекрещиванія иностранцевъ и противъ приглашенія на службу цѣлыхъ иноземныхъ корпусовъ.

Для развитія производительныхъ силъ Россіи Крижаничъ даетъ цѣлую массу практическихъ указаній. Въ основу онъ кладетъ тутъ, какъ мы знаемъ, полное изгнаніе иностранцевъ. Враждебно настроенный къ классу посредниковъ-торговцевъ, онъ не хочетъ передавать барышей иностранной торговли и въ руки частныхъ русскихъ пред-

принимателей. Онъ всецѣло предоставляетъ ихъ казнѣ, которая должна взять всю оптовую торговлю съ иностранцами въ свои собственныя руки. Нѣтъ возможности перечислить здѣсь всѣ отдѣльные совѣты о розыскѣ новыхъ природныхъ богатствъ, объ устройствѣ новыхъ промышленныхъ предпріятій, введеніи новыхъ орудій производства и обработки русскаго сырья, объ открытіи новыхъ торговыхъ пунктовъ, о заимствованіи европейскихъ формъ кредита и т. д.

Что касается здравой финансовой политики, Крижаничъ исходитъ изъ критики тиранскихъ поборовъ, выбивающихъ изъ населенія въ десять разъ больше, чѣмъ доходитъ до самой казны. Основнымъ принципомъ, который онъ «не устаетъ повторять», для него служитъ правило: богатъ народъ, богатъ и король; бѣденъ народъ, бѣденъ и король. Онъ предлагаетъ всѣ государственные поборы замѣнить однимъ прямымъ налогомъ, взиманіе котораго поручить мѣстному самоуправленію.

Остается деликатный вопросъ о введеніи монархической власти въ извѣстныя законныя рамки. Крижаничъ думаетъ рѣшить этотъ вопросъ путемъ предоставленія разнымъ классамъ умѣренныхъ привилегій—«слободинъ». Нисколько не ограничивая самодержавія, такія «слободины», напротивъ, могутъ лишь быть ему полезны. «У французовъ и испанцевъ вельможи имѣютъ извѣстныя, связанныя съ происхожденіемъ, вольности; зато тамъ не чинится никакого нечестія королямъ ни отъ простого народа, ни отъ войска. А у турокъ, гдѣ нѣтъ никакихъ присвоенныхъ родовитости вольностей, государи зависятъ отъ глупости и дерзости простыхъ пѣшихъ стрѣльцовъ. Что захотятъ янычары, то и долженъ дѣлать король. Дерзость чернаго люда, которая при насъ (эти рѣчи Крижаничъ влагаетъ въ уста Алексѣя Михайловича) дважды обнаружилась, вамъ вѣдома. Вся эта дерзость отъ того происходитъ, что у бояръ нѣтъ силы и крѣпости, которая бы могла черный народъ держать на уздѣ и удерживать отъ бѣшеныхъ поступковъ. Вотъ для чего мы и хотимъ вамъ, слугамъ нашимъ, дать надлежащія вольности». Такимъ образомъ, по мысли Крижанича, предлагаемыя имъ «слободины» должны создать своего рода pouvoirs intermédiaires Монтескье, которыя и превратятъ «людодерство» въ «умѣренное владѣніе».

Однако же, эти вольности не должны ограничивать самодержавія, даются условно и во всякое время могутъ быть отобраны. Съ другой стороны, онѣ не должны нарушать основныхъ принциповъ московской государственной практики, которые Крижаничъ безусловно одобряетъ: «запертія рубежей», т.-е. запрещенія ѣздить за границу, и, затѣмъ, того правила, что всякій приписанъ къ своему дѣлу и не можетъ оставаться празднымъ. Только для «именитыхъ бояръ» сдѣлано исключеніе: послѣ трехлѣтней непрерывной службы при дворѣ, или въ войскѣ, бояринъ освобождается до самой смерти отъ придворной службы и не

обязанъ ни пріѣзжать ко двору, ни даже жить въ Москвѣ, если не будетъ вызванъ спеціально. По русскимъ понятіямъ, такое положеніе, правда, равнялось опалѣ. Для высшаго класса—«князей»—создается новое право—владѣть укрѣпленными городами. Дворянство освобождается отъ тѣлесныхъ наказаній и, за исключеніемъ государственныхъ преступленій, отъ конфискаціи имущества. Сослать дворянина государь, однако, можетъ безъ суда. Право владѣть помѣстьями принадлежитъ однимъ дворянамъ. Имъ же дается преимущественное право обучаться высшимъ наукамъ. Торгово-промышленный классъ освобождается отъ всякихъ монополій и привилегій. Ремесленники получаютъ цеховое устройство. Городамъ дается самоуправленіе. Остальныя вольности, проектируемыя Крижаничемъ, сводятся къ уничтоженію унизительныхъ формъ обращенія къ власти (битье челомъ, именованіе просителя холопомъ и употребленіе уменьшительнаго имени) и къ установленію титуловъ и внѣшнихъ знаковъ почета.

Напуганный прецедентами западно- и южно-славянской исторіи, Крижаничъ особенно боится, чтобы« чужебѣсіе» не превратилось въ «чужевладство», т.-е. въ господство чужой династіи, которое, въ концѣ концовъ, приведетъ къ политическому порабощенію. Чтобы предупредить эту возможность, долженъ быть, по его мнѣнію, выработанъ точный законъ о наслѣдованіи престола. Государь долженъ обязать народъ присягой ни въ какомъ случаѣ не допускать до престола чужеземца. Въ случаѣ прекращенія династіи, престолъ переходитъ къ одному изъ двѣнадцати «князей», составляющихъ высшее сословіе государства и пожалованныхъ въ это званіе государемъ.

Нельзя отрицать, перебирая всѣ эти реформаціонные проекты перваго теоретика русскаго національзма, что мы здѣсь попадаемъ въ сферу идей петровской реформы. Національзмъ соприкасается съ реформой въ томъ основномъ утвержденіи Крижанича, что для борьбы съ высшей культурой необходимо и дѣйствительно одно лишь средство—развитіе собственной самодѣятельности. Разница только въ томъ, что для Петра, какъ и для самой русской исторіи, самодѣятельность была не средствомъ, а естественно вытекавшимъ изъ условій времени результатомъ. Даже тамъ, гдѣ Петръ дѣйствовалъ цѣлесообразно и сознательно—въ сферѣ вопроса о развитіи производительныхъ силъ Россіи, это развитіе было для него или само по себѣ цѣлью, или даже средствомъ для ближайшей цѣли—усиленія государственныхъ рессурсовъ. Для Крижанича, какъ для политически подготовленнаго мыслителя, эта ближайшая цѣль рѣшительно перестала имѣть то самостоятельное значеніе, которое она получила въ стихійномъ процессѣ русскаго государственнаго развитія. Онъ систематически принижалъ государство до роли служителя національной жизни. Но, далѣе, и самая самодѣятельность національной жизни служила для Крижанича лишь средствомъ для дальнѣйшей цѣли—для сохраненія національной особ-

*

ности, безъ которой немыслимо было достиженіе на этотъ разъ уже самой послѣдней, самой завѣтной цѣли всей его публицистической дѣятельности—освобожденія славянства и соединенія церквей. Отчасти эта отдаленность главной цѣли, отчасти серьезная политическая подготовка и давали Крижаничу ту прозорливость, которой отличается его постановка вопроса. Чтобы найти въ собственно русской публицистикѣ такую сознательную постановку національнаго вопроса, намъ надо бы было перескочить черезъ цѣлое столѣтіе, прямо къ Болтину, т.-е. ко временамъ Екатерины II.

Въ промежуткѣ осуществилось очень многое изъ предложеннаго Крижаничемъ царю Алексѣю. Но осуществилось много и такого, передъ одной возможностью чего Крижаничъ приходилъ въ трепетъ и ужасъ. Вся внѣшность европейской культуры была усвоена безъ всякихъ измѣненій, совершенно механически, т.-е. именно такъ, какъ опасался Крижаничъ. И сладкая ѣда, и мягкія постели, и изящная праздность высшаго класса, и роскошь обстановки, костюма, жилья—все это стало обыденными явленіями. Пережила Русь и то самое «чужевладство», котораго Крижаничъ боялся больше всего. На престолѣ сидѣла иностранка и женщина. Произошло это вслѣдствіе того самаго отсутствія закона о престолонаслѣдіи, на которое Крижаничъ настойчиво обращалъ вниманіе правительства. Словомъ, во всемъ ходѣ культурной жизни не было и признаковъ той сознательности, которой отъ нея требовалъ Крижаничъ. И тѣмъ не менѣе, всѣ страхи Крижанича оказались совершенно напрасными. Россія не денаціонализировалась, а понемногу ассимилировала себѣ воспринятые механически элементы иноземныхъ культуръ. Не значило ли это, что самая возможность опасности, указанной Крижаничемъ, для Россіи не существовала, если при самыхъ худшихъ условіяхъ Россія все-таки ея избѣгла?

Денаціонализація можетъ совершиться только тогда и тамъ, гдѣ не создалось еще достаточно сильныхъ элементовъ національной организаціи, или же тамъ, гдѣ національная замкнутость уже уступила мѣсто сознательному космополитизму. Россія не представляла ни того, ни другого условія. Она вышла изъ того состоянія безформенной этнографической массы, въ которомъ возможно было полное онѣмеченіе славянства восточно-нѣмецкихъ земель. И она не дошла до того уровня культурности, на которомъ оказалось возможно распространеніе эллинистическаго космополитизма. Въ своемъ промежуточномъ состояніи она была неуязвима даже для несравненно болѣе сильнаго и болѣе проникающаго вглубь иноземнаго вліянія, чѣмъ какое было возможно при данныхъ условіяхъ: при низкомъ уровнѣ развитія Россіи и при ея гигантскихъ размѣрахъ. Вотъ почему самая идея о возможности такой опасности, какъ денаціонализація, не могла даже въ голову придти въ то время никому другому, кромѣ искушеннаго чужимъ опытомъ иностраннаго наблюдателя. По той же причинѣ не наступило тогда еще время

и для сознательной постановки національнаго вопроса. Идеи и чувства, диктовавшія Крижаничу его опасенія, несомнѣнно, были налицо и въ русскомъ обществѣ, но Крижаничъ разсматривалъ ихъ въ увеличительное стекло своей исторической и политической науки. Вотъ почему доза иноземнаго яда, которую жизнь ввела или готова была ввести въ русскій организмъ, казалась ему достаточно сильной, чтобы вызвать заразу и повлечь за собой роковой исходъ,—тогда какъ спокойный діагнозъ и самочувствіе туземнаго организма находили эту дозу едва-едва достаточной, чтобы произвести дѣйствіе обычной цѣлительной прививки.

Новѣйшая сводная работа по вопросу объ иноземныхъ вліяніяхъ (преимущественно XVII в.) принадлежитъ *А. Брикнеру*: см. его Geschichte Russlands bis zum Ende des 18 Jahrhunderts. Band I, Überblick der Entwickelung bis zum Tode Peters des Grossen. Gotha 1896 (въ Geschichte d. europ. Staaten, Heeren u. Uckert). См. также болѣе раннія работы *того же автора*; Die Europäisirung Russlands. Land und Volk, Gotha, 1888 и Beiträge zur Kulturgeschichte im XVII Jahrhundert. Leipzig, 1887. Данныя объ измѣненіи домашней обстановки и образа жизни см. у *Забѣлина*, Домашній бытъ русскихъ царей въ XVI и XVII в. Ч. I. 3-е изд. 1895 и *его же* Домашній бытъ русскихъ царицъ, 2-е изд. 1870. О придворныхъ спектакляхъ Алексѣя Михайловича см. (кромѣ Забѣлина) статью *Н. С. Тихонравова*, Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра (Сочиненія, т. II, М. 1898) и *его же*: Русскія драматическія произведенія 1672—1725 гг., т. I-й съ только-что названной статьей въ видѣ предисловія. Спб. 1874. См. также *П. О. Морозова*, Исторія русскаго театра, I, Спб. 1889. Исторія стипендіатовъ, посланныхъ Годуновымъ за границу, разсказана, отчасти по новымъ источникамъ—въ статьѣ кн. *Н. В. Голицына*, Научно-образовательныя сношенія Россіи съ Западомъ въ началѣ XVII вѣка,—въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Др. 1898, II. Для исторіи нѣмецкой слободы см. *Fechner*, Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau. I. M. 1876. *Д. В. Цвѣтаева*, Протестантство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій въ Чтеніяхъ О. И. и Др. 1889, IV и 1890, I. Эпизодъ съ кіевской книжной лавкой въ Москвѣ разсказанъ по архивнымъ даннымъ въ брошюрѣ *В. Эйнгорна*; «Книги кіевской и львовской печати въ Москвѣ въ третью четверть XVII в.». М. 1894. Таблица переводныхъ сочиненій XVI—XVII в. составлена почти исключительно по своду данныхъ этого рода, сдѣланному *И. А. Шляпкинымъ* въ его книгѣ: Св. Димитрій Ростовскій и его время (1651—1709). Спб. 1891. О Крижаничѣ см. *Матвѣя Соколова*, Матеріалы и замѣтки по старинной славянской литературѣ, II, Спб. 1891. (Изъ Журн. Мин. Нар. Просв.). Очень слаба брошюра *Іована П. Рогановича*, Крижаничъ и его философія національзма. Казань, 1899 (тутъ же библіографія). Устарѣла монографія *Арс. Маркевича*, Юрій Крижаничъ и его литературная дѣятельность, въ Варшавскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ, 1876, № 1 и 2. Главное сочиненіе Крижанича издано не въ полномъ видѣ *П. Безсоновымъ* подъ заглавіемъ: Русское государство въ половинѣ XVII вѣка, М. 1859, 6 выпусковъ или два тома. Новое изданіе всѣхъ сочиненій Крижанича, предпринятое Обществомъ Исторіи и Древностей Росс., остановилось пока на второмъ выпускѣ.

II. Оффиціальная побѣда критическихъ элементовъ надъ националистическими.

I.

Оффиціальный характеръ побѣды.—«Средній» путь Крижанича и отношеніе къ реформѣ царя Алексѣя Михайловича.—Умѣренно-національная реформа В. В. Голицына; ея казовой характеръ; ея претензіи и ея неудачи во внѣшней и внутренней политикѣ.—Контрастъ между государственной дѣятельностью Голицына и времяпрепровожденіемъ молодого Петра. — Консервативная реакція послѣ сверженія Софьи.—Насильственный и крайній характеръ реформы Петра.—Объясненіе этого характера условіями обстановки—культурной и соціальной.—Причина особаго ослабленія националистической культурной традиціи—въ предшествовавшей религіозно-церковной реформѣ и ея послѣдствіи: моральномъ кризисѣ въ средѣ правящаго класса.—Причина особаго ослабленія соціальныхъ препятствій—въ отсутствіи господствующаго класса.—Отказъ дворянства отъ политической роли и безсиліе правящей бюрократіи воспользоваться положеніемъ.—Легкость волненій, какъ послѣдствіе этого; ихъ исключительно отрицательный характеръ.—Безсиліе олигархической тенденціи правящей бюрократіи.—Гдѣ искалъ Петръ опору своей власти?—Его отношеніе къ бюрократіи и боярству.—Недовѣрчивость Петра и ея результаты—въ выборѣ сотрудниковъ.—Послѣдствія этого выбора: необходимость дѣлать все лично и недовѣріе къ избраннымъ.—Отсутствіе подходящихъ сотрудниковъ, какъ новая причина индивидуальности реформы.—Дворянская гвардія, какъ самая надежная опора власти.—Майоры гвардіи, какъ самые довѣренные люди.—Взгляды современниковъ на личную роль Петра въ его реформѣ.—Цѣли и средства реформы, сознававшіяся самимъ Петромъ.—Его отношеніе къ европейской культурѣ.—Отношеніе къ собственной реформѣ: недостатокъ систематичности и обдуманности въ связи съ личными свойствами ума и воли.—Грубая общая схема и идея долга не замѣняютъ общаго плана. — Петръ самъ учится на реформѣ. — Отраженіе этихъ чертъ на главныхъ частяхъ реформы: войско, флотъ, Петербургъ.—Выводъ.—Отношеніе національзма къ реформѣ.—Расколъ, какъ готовое знамя для національной оппозиціи. — Его религіозный характеръ; отсутствіе принципіальной розни съ никоніанствомъ; относительный и временный характеръ разногласій въ допетровскую эпоху. — Благодаря реформѣ Петра, религіозный протестъ окончательно превращается въ національный и принимаетъ принципіальную окраску.—Широкое распространеніе недовольства.—Отношеніе религіознаго протеста къ соціальному до Петра.—Попытка союза обоихъ теченій на Дону 1688 г. и причина ея неудачи.—Новый факторъ политическаго протеста, стрѣльцы: въ ихъ рукахъ національный протестъ получаетъ свою формулу (1698).—Неудачная попытка националистической оппозиціи опереться на южныя окраины (1705—1708).—Аристократическая оппозиція, ея возраженія противъ войска, флота, Петербурга.—Основанія ея недовольства въ классовыхъ интересахъ.

Мы познакомились съ тѣмъ, какъ проникали въ русскую народную жизнь, начиная съ конца XV до конца XVII в., все въ большемъ и большемъ размѣрѣ, элементы критики, заимствованные изъ жизни

европейскихъ народовъ. Мы видѣли также и то, что первымъ, ближайшимъ послѣдствіемъ этого вліянія критическихъ элементовъ—была совсѣмъ не реформа національной жизни, а лишь, по контрасту, болѣе или менѣе сознательная формулировка ея мѣстныхъ особенностей, сложившихся мало-по-малу въ національный идеалъ, не подлежавшій никакой реформѣ.

Дальнѣйшей ступенью того же вліянія,—къ которой мы теперь должны перейти, — была побѣда критическихъ элементовъ надъ только что сложившимся національнымъ идеаломъ,—побѣда, выразившаяся въ полной реформѣ жизни. Но на первый разъ побѣда эта оказалась внѣшней и формальной, такъ какъ совершена была насильственными мѣрами власти, а не внутреннимъ процессомъ эволюціи народной жизни. Вотъ почему мы назвали эту побѣду, характеризующую второй періодъ въ исторіи борьбы между русскимъ національмомъ и критикой, терминомъ *«оффиціальной»*. Первой нашей задачей въ этомъ отдѣлѣ и будетъ—показать, почему таковъ именно оказался характеръ первой побѣды критики надъ національмомъ въ русской жизни.

Возможность *иного* способа побѣды горячо старался, какъ мы видѣли доказать Крижаничъ, мечтавшій разрѣшить вопросъ о реформѣ въ полной гармоніи съ національнымъ вопросомъ. Но предлагавшійся Крижаничемъ «средній» путь уже потому долженъ былъ оказаться невозможнымъ, что основанъ былъ на наличности такого условія, котораго не было въ русской жизни тогда и которое не скоро явилось потомъ. Какъ при заимствованіи чужого, такъ и при сохраненіи своего, онъ предполагалъ полную сознательность выбора, основаннаго на указаніяхъ «разума». Именно этой-то сознательности и не было, а за ея отсутствіемъ весь ходъ развитія критическихъ воззрѣній и національнаго самосознанія пошелъ совсѣмъ не такъ, какъ бы хотѣлось нашему публицисту. Критическіе элементы заимствовались стихійно, полусознательно, механически, и въ такія же стихійныя, полусознательныя формы вылился національный протестъ. Такимъ образомъ, споръ и рѣшился не путемъ добровольнаго компромисса, а путемъ открытой борьбы и,—какъ ея перваго результата, — «оффиціальной побѣды» крайнихъ воззрѣній.

Неизбѣжность такого исхода, правда, выяснилась далеко не сразу; и въ шестидесятыхъ годахъ XVII в., когда писалъ Крижаничъ, онъ еще имѣлъ полную возможность предаваться своимъ иллюзіямъ. Элементы критики, при первомъ своемъ распространеніи, на самомъ дѣлѣ очень близко соприкасались съ элементами національнаго идеала, при первой его формулировкѣ. Уже не говоря о новомъ монархическомъ идеалѣ XVI в., созданномъ, какъ мы знаемъ, при помощи чужеземныхъ элементовъ, и новый бытовой идеалъ XVII в. находился съ элементами критики въ близкомъ сосѣдствѣ. Какъ мы уже говорили раньше, и критика, и національное самосознаніе, въ своихъ первыхъ источникахъ,

были двумя сторонами одного и того же соціально-психическаго процесса, совершавшагося въ одной и той же общественной средѣ, часто даже въ однихъ и тѣхъ же людяхъ. Этой средой былъ единственно доступный западному вліянію тѣсный придворный кругъ; этими лицами, совмѣщавшими западничество съ націонализмомъ, были, въ сущности, всѣ знаменитые западники XVII ст. Даже такое специфически-національное движеніе, какъ расколъ, имѣло однимъ изъ своихъ источниковъ, какъ намъ уже извѣстно *), просвѣтительно-реформаторскія стремленія кружка, собравшагося при молодомъ тогда царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Да и самъ царь, въ началѣ царствованія, казалось, какъ нельзя лучше подходилъ къ этому культурному моменту первоначальнаго равновѣсія — или, вѣрнѣе сказать, безразличія — элементовъ критики и націонализма въ русскомъ сознаніи. На счастье «тишайшаго» царя Алексѣя, ему не пришлось напрягать силъ для какой-нибудь крупной исторической борьбы, не пришлось идти къ цѣли черезъ трупы и топить въ винѣ и крови укоры мятущейся совѣсти, какъ приходилось это дѣлать царю Ивану или Петру. Все это было бы для него совершенно непосильно. Ему привелось царствовать въ промежуткѣ между двумя историческими катастрофами, въ моментъ сравнительнаго затишья. Но и въ этомъ затишьѣ все-таки было такъ много движенія, внутренней жизни, что къ концу царствованія Алексѣй Михайловичъ остался позади времени, съ своимъ пассивнымъ и лѣнивымъ оптимизмомъ. Остроумный историкъ московской Руси наглядно изобразилъ намъ историческую роль царя Алексѣя въ позѣ человѣка, занесшаго ногу впередъ, да такъ и застывшаго въ нерѣшительности. Но нерѣшительность «тишайшаго» царя была еще значительнѣе, чѣмъ можно было бы заключить изъ этой позы. Онъ вообще не любилъ никакихъ безпокойныхъ позъ. Онъ никуда не шелъ и даже не стоялъ: онъ просто спокойно возлежалъ на грудѣ обломковъ стараго и новаго, не разбирая, откуда что идетъ, и подобравъ подъ себя, что было помягче. Вмѣстѣ съ этой грудой его несло по теченію. Иногда это мирное плаваніе прерывалось неожиданными толчками изъ міра дѣйствительности, врывавшимися непріятнымъ диссонансомъ въ созданную царемъ искусственную атмосферу покоя и комфорта. Тогда царь волновался,—волновался какъ ребенокъ, которому мѣшаютъ играть въ любимую игрушку. Но за него все устраивали другіе, и царь опять успокаивался до ближайшаго слѣдующаго толчка, который опять приходилъ неожиданно и проходилъ безслѣдно. Чѣмъ дальше, однако же, тѣмъ подводные толчки становились чаще и сильнѣе, тѣмъ яснѣе должно было стать, наконецъ, что кругомъ не все мирно и тихо; что тѣ эле-

*) См. „Очерки", II, 41—2, Ср. тамъ же на стр. 148—9 замѣчанія Костомарова о расколѣ, какъ о движеніи по существу своему новомъ и передовомъ для того времени, когда оно возникло.

менты, которые такъ спокойно улеглись рядомъ въ обиходѣ царя,—суть элементы враждебные другъ другу; что подъ видимой тишью и гладью скрывается незримая борьба, сталкиваются противоположныя теченія, которыя скоро разнесутъ на клочки самыя основы его благополучія. Что-нибудь подобное долженъ былъ чувствовать и самъ царь Алексѣй, сталкиваясь на своемъ жизненномъ пути съ безпокойными людьми, которые не желали знать и цѣнить его душевнаго мира, которые хотѣли борьбы и смѣло шли на нее. Когда, съ одной стороны, упрямый Аввакумъ отъ имени святой старины грозно звалъ царя на страшный судъ съ собой и заклиналъ его стряхнуть съ себя мірское забытье; когда, съ другой, молодой мечтатель, сынъ его любимца (Ордина-Нащокина) бѣжалъ на вольный просторъ мысли и жизни, за «рубежъ», отъ вымотавшаго душу московскаго болота,—тогда и «тишайшему» должно было, хотя минутами, придти въ голову, что мирное сосѣдство элементовъ критики и націонализма не есть нѣчто само собою разумѣющееся и вѣчное. Но, дорожа больше всего своимъ покоемъ, тишайшій царь отгонялъ отъ себя черныя мысли, слѣдуя своему правилу: «нельзя чтобы не поскорбѣть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да въ мѣру, чтобы Бога наипаче не прогнѣвать». Съ этимъ благоразумнымъ режимомъ, въ которомъ самое горе обращалось на пользу, какъ своего рода гигіена души, царь Алексѣй кое-какъ сводилъ свои счеты съ настоящимъ, не безъ содѣйствія крѣпкихъ московскихъ тюремъ,—а о будущемъ не думалъ. Такимъ образомъ то среднее, скорѣе нейтральное положеніе между старымъ и новымъ, которое онъ занялъ, ничего не имѣло общаго съ «среднимъ» путемъ реформы, на который призывалъ его Крижаничъ. Робкаго и смирнаго царя, пасовавшаго передъ самыми пустыми жизненными затрудненіями, уступавшаго всякому сколько-нибудь настойчивому проявленію воли, простодушно удивлявшагося, что въ дворцовомъ вѣдомствѣ слушаютъ его приказаній *), и принужденнаго,—чтобъ его на самомъ дѣлѣ слушали—дѣйствовать либо хитростью, либо слезами, либо, въ крайнемъ случаѣ, недалекимъ отъ слезъ нервнымъ крикомъ и жалкими словами,—такого царя невозможно представить себѣ въ роли смѣлаго реформатора.

Между тѣмъ, прошло царствованіе Алексѣя и вмѣстѣ съ нимъ прошелъ первый шансъ помирить или хоть отдалить столкновеніе возникающихъ противорѣчій при помощи заблаговременнаго компромисса. Эти противорѣчія, едва обрисовавшіяся въ началѣ царствованія къ концу уже выяснились совершенно: уживавшіеся когда-то рядомъ элементы критики и націонализма разошлись далеко въ противоположныя стороны.

Были, однако, люди, которые думали, что время среднихъ рѣшеній

*) «Слово мое *теперь* во дворцѣ добрѣ страшно и дѣлается безъ замедленья», шутливо пишетъ онъ Никону.

все еще не прошло безвозвратно. Надежда на реформу въ націоналистическомъ духѣ казалась тѣмъ основательнѣе, что на самомъ дѣлѣ къ концу вѣка въ области національной мысли, національнаго чувства обнаружились совершенно новыя, небывалыя явленія. Въ своемъ мѣстѣ мы объ этихъ явленіяхъ говорили: всѣ онѣ сводятся къ подъему религіознаго сознанія—въ литературѣ (Великое Зерцало, см. «Очерки», II 189—90), искусствѣ (новыя теченія въ иконографіи, II, 226—30), въ богословской наукѣ («хлѣбопоклонная» ересь, II, 165—66), въ школьномъ дѣлѣ («Академія», II, 260—64). Всѣ эти явленія связаны также и источникомъ ихъ происхожденія: латинско-польскимъ вліяніемъ. Мы видѣли, что то же вліяніе обновляло и формы быта, не порывая въ то же время окончательно съ національной традиціей, чему содѣйствовало особенно посредничество Кіева. Словомъ, казалось, элементы реформы въ умѣренно-національномъ духѣ всѣ были налицо. Скоро явился и реформаторъ, кн. В. В. Голицынъ, любимецъ Софьи. Реформаторъ имѣлъ широкую программу, лично имъ изложенную одному иностранцу (Нёвиллю). Въ программѣ значилось и устройство регулярной арміи, и постоянныя международныя отношенія Россіи съ заграницей, и полная свобода совѣсти и вѣры, и заграничное воспитаніе дѣтей, и замѣна натуральнаго хозяйства денежнымъ, и даже освобожденіе крестьянъ съ землей. Голицынъ хотѣлъ заселить окраины, оживить торговлю и пути сообщенія въ Сибири, «нищихъ сдѣлать богатыми, дикарей превратить въ людей, хижины—въ каменные дворцы». Словомъ, здѣсь было очень много хорошихъ словъ и добрыхъ намѣреній: не было только единства мысли и практической точки опоры для осуществленія программы. За отсутствіемъ того и другого, не было и такого импульса, который бы помогъ претворить слово въ дѣло, и какихъ потомъ оказалось больше чѣмъ нужно въ реформѣ Петра, грѣшившей, какъ сейчасъ увидимъ, обратнымъ недостаткомъ: Петръ прямо начиналъ съ дѣла, а потомъ собирался подумать. В. В. Голицынъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи цѣлыхъ 7 лѣтъ, въ теченіе которыхъ могъ бы такъ же далеко уйти въ своей реформѣ, какъ Петръ, если бы онъ, подобно Петру, былъ человѣкомъ дѣла. Вмѣсто того, настоящее дѣло застало его врасплохъ и было сдѣлано вполнѣ неудачно. Нельзя сказать, чтобы его время было занято и заботой о самосохраненіи, такъ какъ и въ этомъ отношеніи Софьѣ пришлось, наконецъ, замѣнить его болѣе рѣшительнымъ Шакловитымъ.

Каковы же получились итоги семилѣтняго режима умѣренной реформы? Послушаемъ современника и панегириста регентства Софьи кн. Куракина, который находитъ, что «никогда такого мудраго правленія въ россійскомъ государствѣ не было», — противопоставляя его притомъ не только предыдущимъ «правленіямъ», но и послѣдующему. Къ сожалѣнію, главному аргументу Куракина — всего труднѣе повѣрить: будто бы, въ противоположность предыдущему и послѣдую-

щему времени, семилѣтнее регентство отличалось господствомъ «правосудія» и «умноженіемъ народнаго богатства». «И торжествовала тогда довольность народная», развиваетъ онъ свою мысль, «такъ что всякій легко могъ видѣть: когда праздничный день въ лѣтѣ, то всѣ мѣста кругомъ Москвы за городомъ, сходныя къ забавамъ, какъ Марьины рощи, Дѣвичье поле и проч., наполнены были народомъ, которые въ великихъ забавахъ и играхъ бывали, *изъ чего можно было видѣть* довольность житія ихъ». Эта сентиментальная наивность совсѣмъ не подъ стать обычнымъ реалистическимъ сужденіямъ Куракина; но тѣмъ интереснѣе для насъ это отступленіе отъ обычной манеры: онъ повторилъ, очевидно, то, что слышалъ кругомъ себя ребенкомъ*). Мы узнаемъ здѣсь, какихъ похвалъ добивалась и какими довольствовалась голицынская реформа. Это была очевидная фальсификація общественнаго мнѣнія, котораго Голицынъ имѣлъ всѣ основанія бояться.

Такую же рекламу видимъ и во внѣшней политикѣ, непосредственно находившейся въ рукахъ Голицына. Единственный успѣхъ этой политики, вѣчный миръ съ Польшей (1686) и окончательная уступка Кіева, былъ подготовленъ неоднократными совѣтами гетмана Самойловича; но тотъ же Самойловичъ еще настойчивѣе совѣтовалъ даже и за эту цѣну не обязываться къ походу на Крымъ, невозможность взятія котораго онъ ясно видѣлъ и предсказывалъ. Такъ же скептически онъ относился и къ идейной цѣли борьбы съ турками, въ качествѣ которой уже тогда—и черезчуръ преждевременно, по мнѣнію Самойловича,—выдвинулось освобожденіе балканскихъ народностей. Самойловичъ указывалъ, что въ лучшемъ случаѣ задача эта выпадетъ на долю поляковъ, которые собственно и рисовали русскимъ дипломатамъ, уже въ 70-хъ годахъ, перспективу славянскаго объединенія. Но, пока русскіе будутъ безплодно возиться съ Крымомъ, говорилъ Самойловичъ, поляки и ихъ союзники австрійцы—будутъ работать на Дунаѣ и за Дунаемъ, и конечно, не въ пользу православной идеи. Если ужъ хотятъ сдѣлать эту идею задачей національной политики, такъ пусть преслѣдуютъ ее не тамъ, гдѣ она пока еще недосягаема, а у себя подъ бокомъ, въ польскихъ владѣніяхъ. Когда, наконецъ, московскіе дипломаты откровенно выставляли свой послѣдній мотивъ въ пользу войны,—необходимость отвлечь внутреннее недовольство внѣшними предпріятіями,—то Самойловичъ и тутъ подавалъ дѣловой совѣтъ, которому вскорѣ и послѣдовалъ Петръ. «Не надо держать въ Москвѣ много ратныхъ людей: лучше разослать ихъ по пограничнымъ мѣстностямъ для постройки крѣпостей, а въ Москвѣ держать одинъ-два полка надежныхъ людей, которыхъ привлечь къ себѣ милостями». За эти совѣты, которымъ нельзя отказать ни въ умѣ, ни въ знаніи дѣла, Са

*) Въ годъ паденія Софьи Куракину было 13 лѣтъ.

мойловичъ получилъ выговоръ, а потомъ и отставку. Голицынъ предпочиталъ осторожной, дѣловой политикѣ — громкую, разсчитанную на казовой эффектъ. Послѣ перваго неудачнаго похода на Крымъ, онъ выставилъ такія условія мира, какихъ Екатерина II, вѣкъ спустя, не рѣшилась продиктовать послѣ своихъ побѣдъ, а послѣ второй неудачи — разгласилъ по всей Европѣ о своихъ небывалыхъ успѣхахъ. Какъ бы для наглядной иллюстраціи не умѣлости московскаго правительства, русскіе дипломаты появились во Франціи, чтобы убѣждать Людовика XIV помогать «недругу (Австріи) противъ друга (Турціи)», а оттуда проѣхали въ Испанію, чтобы сдѣлать въ истощенной странѣ крупный денежный заемъ. Въ активѣ регентства, подведенномъ Куракинымъ, это значило, что правительство Софьи заботится объ «алліансахъ» и поддерживаетъ «коррипшонденцію со всѣми дворами въ Европѣ».

Первымъ условіемъ для блестящей внѣшней политики была коренная военная реформа, которую и проектировалъ Голицынъ, какъ мы видѣли. Но на дѣлѣ и здѣсь реформа не пошла дальше эффектнаго предисловія—знаменитаго уничтоженія (еще при Θеодорѣ) мѣстничества, и безъ того ничему уже не мѣшавшаго въ военномъ дѣлѣ. Голицынъ воспользовался для своихъ походовъ той реорганизаціей арміи (по территоріальнымъ округамъ, см. «Очерки», I, 164), которая давно уже проведена была по совѣту Ордина-Нащокина. Но не введя никакихъ новыхъ существенныхъ улучшеній, онъ долженъ былъ убѣдиться, какъ трудно съ подобной арміей осуществлять затѣянныя имъ грандіозныя предпріятія.

Остается, стало быть, та *культурная внѣшность* реформы, которая напоминаетъ намъ о главномъ источникѣ тогдашняго московскаго просвѣщенія. Какъ выражаетъ это Куракинъ — «политесъ возстановленъ въ шляхетствѣ и другихъ придворныхъ съ *манеру польскаго:* и въ экипажахъ, и въ домовномъ строеніи, и въ уборахъ, и въ столахъ». Правда, Куракинъ прибавляетъ еще: «и науки почали быть—латинскаго и греческаго языка»; но мы видѣли какъ разъ въ этомъ пунктѣ, до какой степени безсильна была латинско-польская партія въ Москвѣ — провести свою образовательную программу, несмотря на всю умѣренность этой программы (II, стр. 265)». Мы знаемъ, что открывшаяся, наконецъ, въ Москвѣ академія не только не отвѣчала по своему направленію стремленіямъ московскихъ реформаторовъ, но прямо налагала строжайшій запретъ на ту свободу совѣсти въ дѣлахъ вѣры и на ту свободу частнаго преподаванія, которыя такъ красиво фигурировали въ программѣ Голицына. Въ общемъ, приходится сказать, что умѣренность голицынской реформы состояла не столько въ ея направленіи,— которое гораздо ближе къ Петру, чѣмъ къ Крижаничу, — сколько въ ея неполнотѣ и нерѣшительности. Причину этой нерѣшительности надо искать столько же въ томъ, что временное правительство не чувство-

вало у себя твердой почвы подъ ногами, сколько и въ томъ, что къ себѣ подъ ноги оно смотрѣло гораздо менѣе, чѣмъ въ туманную, заманчивую даль.

Контрастъ между только-что охарактеризованной государственной дѣятельностью Голицына и начавшимъ въ то же время опредѣляться времяпрепровожденіемъ молодого Петра былъ очень великъ и, казалось, говорилъ не въ пользу послѣдняго.

Въ то время, какъ Голицынъ окружалъ себя книгами, картами, статуями, Петръ съ азартомъ предавался спорту, а книгу допускалъ въ минимальныхъ размѣрахъ, лишь какъ необходимое зло для подготовки къ спорту же *). Голицынъ ѣздилъ въ Нѣмецкую Слободу для серьезныхъ политическихъ бесѣдъ съ солиднымъ Гордономъ, и въ этихъ бесѣдахъ держалъ сторону конституціонной Англіи Вильгельма III противъ сторонника династическихъ притязаній Стюартовъ. Петръ слышать не хотѣлъ ни о какой политикѣ, а тѣмъ болѣе русской, воплощавшейся для него тогда въ несносныхъ торжественныхъ аудіенціяхъ, отъ которыхъ онъ бѣжалъ, какъ отъ чумы. Въ Слободу привезъ его кузенъ Голицына, «пьяница» Борисъ, но не для поучительныхъ бесѣдъ, а для баловъ и попоекъ, которые съ тѣхъ поръ и потянутся непрерывной чередой, подъ руководствомъ Лефорта, «дебошана французскаго». Пока Голицынъ мечталъ о «довольствѣ народномъ», Петръ исподволь принималъ мѣры для обезпеченія личной безопасности. Укрѣпивъ свое положеніе преданной военной силой, Петръ обнаружилъ полное пренебреженіе къ общественному мнѣнію и издѣвался надъ нимъ въ той же мѣрѣ, въ какой Голицынъ за нимъ ухаживалъ и его боялся. Голицынъ въ походахъ только и думалъ, какъ бы скорѣе вернуться въ столицу, чтобы разрушить козни враговъ; Петръ рвался изъ столицы въ походы, какъ бы чувствуя, что тамъ, при войскѣ, его сила, а заботу о столицѣ и объ общественномъ мнѣніи всецѣло свалилъ на плечи своего Аракчеева — князя-кесаря Ромодановскаго. И тогда, какъ Голицынъ высшей цѣлью своей политики считалъ заключеніе «альянсовъ», Петръ во что бы то ни стало искалъ хорошаго театра войны, гдѣ бы можно было разгуляться на волѣ его кораблямъ и пушкамъ. Словомъ — это были Помпей и Цезарь русской исторіи.

О реформѣ еще не было сказано ни слова, но Петръ уже былъ въ самомъ руслѣ своей реформы: онъ весь тутъ и до конца жизни останется такимъ, какимъ сложили его десять подготовительныхъ лѣтъ (1686—1695). Кн. Куракинъ, своякъ Петра и свидѣтель, хотя и не близкій, его юношескихъ упражненій, сообщаетъ намъ полный списокъ тогдашнихъ талантовъ Петра вмѣстѣ съ именами его учителей. «Ма-

*) До конца жизни Петръ сохранилъ такой взглядъ на книгу, какъ на руководство къ практическому дѣлу и терпѣть не могъ „лишнихъ разсказовъ, которые время только тратятъ и у чтущихъ охоту отъемлютъ“.

стеромъ голландскаго языка былъ дьякъ посольскаго приказа, Андрей Виніусъ; для экзерцицій на шпагахъ и лошадяхъ—сынъ датскаго резидента Бутенанта; а для математики и фортификаціи и другихъ артей, какъ токарнаго мастерства и для огней артифиціальныхъ—одинъ гамбурченинъ Францъ Тиммерманъ; а для экзерцицій солдатскаго строю еще въ малыхъ своихъ лѣтахъ обучился отъ одного стрѣльца Присвова Обросима, Бѣлаго полку, а по барабанамъ—отъ старосты барабанщиковъ Ѳедора, Стремяннаго полку, а танцовать по-польски—съ одной практики въ домѣ Лефорта». Такова была академія, пройденная Петромъ и дополненная потомъ въ Голландіи уроками кораблестроенія и зубодерганія. Во всей своей живописной пестротѣ всѣ эти курсы наукъ, или лучше—искусствъ, твердо держались въ памяти Петра: до конца жизни онъ такъ же искусно выбивалъ барабанную дробь, дѣйствовалъ топоромъ на кораблѣ, дергалъ зубы, приготовлялъ фейерверки, говорилъ по-голландски съ моряками (для другихъ разговоровъ его знаніе было недостаточно), дѣлая притомъ все это и все другое, за что принимался,—съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто очередное дѣло и было его главнымъ и единственнымъ занятіемъ. Этотъ талантъ—входить въ суть каждаго дѣла и отдаваться ему вполнѣ — былъ, несомнѣнно, одной изъ основныхъ чертъ Петра, объясняющихъ секретъ его успѣха и характеръ достигнутыхъ результатовъ.

Но до результатовъ было еще далеко. Пока—видно было въ молодомъ Петрѣ только полное отсутствіе интереса къ государственнымъ дѣламъ и склонность къ разгулу, не знавшая ни удержу, ни мѣры, доводившая пьяную компанію до невѣроятныхъ предѣловъ цинизма, грубости и жестокости. Немудрено, что когда власть перешла изъ просвѣщенныхъ рукъ регентства Софьи въ невѣжественныя руки царицы Натальи и своекорыстныя руки ея ближайшихъ помощниковъ, то благомыслящіе люди, русскіе и иностранцы, пожалѣли о свергнутыхъ узурпаторахъ и пророчили Россіи возвратъ къ полной тьмѣ и невѣжеству. У противниковъ новизны, дѣйствительно, съ этимъ переходомъ власти воскресла на минуту надежда, что послѣ неудачи умѣренной голицынской реформы можно будетъ ликвидировать и всякую реформу вообще. Господиномъ положенія былъ патріархъ Іоакимъ, и онъ поспѣшилъ воспользоваться своей силой, чтобы уничтожить латинскую партію въ лицѣ Медвѣдева («Очерки», II, 166, 263), свободомыслящихъ въ лицѣ Кульмана (ib. 106—7) и чтобы начать форменное преслѣдованіе противъ свободы богослуженія въ Нѣмецкой Слободѣ. Смерть прервала его дальнѣйшую дѣятельность (іюль 1690), но что у него была цѣлая программа самой послѣдовательной реакціи, объ этомъ свидѣтельствуетъ оставленное имъ завѣщаніе. Здѣсь онъ требовалъ отъ царя, чтобы иновѣрческія церкви были разрушены, иностранцы—лишены военныхъ и всякихъ другихъ должностей, всѣ сужденія о религіозныхъ предметахъ строго запрещены имъ, а всякая попытка распространять

свою вѣру и нравы наказывалась бы смертною казнью *). Отъ русскихъ патріархъ требовалъ, чтобы они никакихъ «новыхъ латинскихъ и иностранныхъ обычаевъ и въ платьѣ перемѣнъ по иноземски не вводили». Дѣло Іоакима долженъ былъ продолжать Адріанъ. Кандидатъ, предложенный было въ патріархи Петромъ, образованный и знакомый съ иностранными языками Маркелъ, былъ именно поэтому забракованъ и на всякій случай даже обвиненъ въ ереси. Петръ могъ пока отомстить только тѣмъ, что завелъ своего собственнаго «всешутѣйшаго» патріарха и «всепьянѣйшій» соборъ.

Такимъ образомъ, *формально* вопросъ о судьбѣ реформы оставался открытымъ вплоть до самаго начала самостоятельной дѣятельности Петра. *Фактически*, конечно, уже вполнѣ выяснилось, что реформа неизбѣжна, и притомъ не реформа умѣренная, а крайняя, не реформа идеологическая, подготовленная книгой и литературой, а реформа непроизвольная, стихійная, вытекающая непосредственно изъ потребностей жизни; наконецъ, не реформа, основанная на народномъ сознаніи, а реформа, идущая наперекоръ этому сознанію, сверху,—реформа насильственная, необходимость которой предсказывалъ и ждалъ отъ царской неограниченной власти еще Юрій Крижаничъ.

Что реформа Петра была насильственна, въ этомъ такъ же мало сомнѣвались тѣ, кто ее проводилъ, какъ и тѣ, кто ей противился. Она была насильственна не только въ тѣхъ своихъ частяхъ, которыя были въ ней случайны и произвольны, но также и въ тѣхъ, которыя были существенны и необходимы. Мало того: насильственность реформы даже существенному и необходимому въ ней придавала характеръ случайнаго и произвольнаго, т.-е. облекала это существенное въ случайныя формы. Поэтому, признавать насильственный, личный характеръ реформы—вовсе не значитъ еще отрицать ея историческую необходимость; и, наоборотъ, доказывать необходимость реформы—вовсе не значитъ отрицать ея насильственный характеръ. Задача историка въ данномъ случаѣ именно и заключается въ томъ, чтобы показать, почему необходимая по существу своему реформа **) *должна была*, не могла не облечься въ формы личнаго произвола одного лица надъ массой и почему примѣненіе такого произвола было вообще *возможно*.

Возможность эта и необходимость создавались той культурной и соціальной обстановкой, среди которой Петръ предпринялъ свою реформу. Конечно, при сколько-нибудь прочной культурной традиціи и при плотно организованныхъ классовыхъ интересахъ, подобный спо-

---

*) Ср. проведенный Іоакимомъ при Голицынѣ уставъ Славяно-греко-латинской академіи, «Оч.», II, 262—3.

**) Самая необходимость реформы по существу предполагается здѣсь доказанной въ тѣхъ частяхъ «Очерковъ», гдѣ рѣчь идетъ о стихійныхъ процессахъ развитія разныхъ сторонъ національной жизни.

собѣ побѣды критическихъ элементовъ былъ бы немыслимъ. Но мало сослаться вообще на отсутствіе у насъ культурной традиціи и слабость классовой организаціи. Нужно еще замѣтить, что какъ разъ къ тому времени, когда стихійный ходъ жизни въ Россіи сдѣлалъ побѣду критическихъ элементовъ необходимою, сопротивленіе этихъ задерживающихъ силъ было особенно ослаблено, и для хозяйской руки реформатора созданъ, такимъ образомъ, особенно широкій просторъ. На этомъ добавочномъ обстоятельствѣ слѣдуетъ остановиться подробнѣе.

Уже Фокеродтъ замѣтилъ (1737), что, «по мнѣнію многихъ разумныхъ людей, Петръ едва ли могъ бы такъ далеко пойти въ своей реформѣ, если бы ему пришлось бороться съ болѣе способнымъ духовенствомъ, которое сумѣло бы пріобрѣсти у народа любовь и уваженіе и воспользоваться ими къ своей выгодѣ». Замѣчаніе это имѣетъ болѣе глубокій смыслъ, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Если современное Петру духовенство не имѣло у народа ни любви, ни уваженія, то это объясняется не недостаткомъ ловкости въ немъ, а тѣмъ особымъ положеніемъ русской церкви, при которомъ она, дѣйствительно, потеряла ко времени Петра и ту долю вліянія на массу, какую позволяли ей имѣть уровень ея развитія и ея соціальное положеніе. Мы видѣли («Оч.», II), что весь тотъ запасъ религіознаго чувства и нравственнаго одушевленія, который былъ на лицо среди русскихъ пастырей и паствы, — пошелъ на національно-религіозное движеніе XVI—XVII в. Мы знаемъ также, что это движеніе было одинаково осуждено и представителями кіевской богословской науки, какъ недостаточно просвѣщенное, и представителями греческой церковной старины, какъ отступающее отъ древней традиціи. Правительство приняло точку зрѣнія кіевлянъ и грековъ, и вслѣдъ за духовной властью, объявившей русское національно-религіозное движеніе расколомъ и проклявшей его,—съ своей стороны объявило участіе въ этомъ движеніи государственнымъ преступленіемъ, подлежащимъ карѣ свѣтскаго закона. Такимъ образомъ, критическіе элементы за полвѣка до Петра уже одержали побѣду надъ националистическими въ сферѣ религіозной, но это была побѣда бюрократической канцелярщины надъ народной психологіей. Все, въ комъ живо было нравственное и религіозное самосознаніе — разумѣется, въ той единственной формѣ, какая была доступна тому времени,—всѣ эти люди были теперь отброшены въ оппозицію. Судьбу этой оппозиціи мы еще прослѣдимъ; но здѣсь мы должны констатировать, что этотъ переходъ въ оппозиціонный лагерь оставилъ очень замѣтную моральную пустоту въ лагерѣ правящемъ. Онъ именно подготовилъ и сдѣлалъ возможнымъ появленіе въ составѣ высшаго духовенства южно-русскихъ духовныхъ сановниковъ, принесшихъ съ собой свои научно-литературныя традиціи, а главное, ту угодливость и готовность служить интересамъ свѣтской власти, изъ которыхъ Петръ сдѣлалъ такое широкое употребленіе («Очерки», II,

стр. 157—8). Но этимъ измѣненіемъ состава и паденіемъ самостоятельности высшаго русскаго духовенства не ограничились послѣдствія торжества оффиціальной вѣры надъ народной. Это торжество внесло раздвоеніе въ душу огромнаго большинства современниковъ: всѣхъ тѣхъ, кто не былъ достаточно силенъ, чтобы разорвать окончательно или съ новымъ, или со старымъ, перейти или въ тотъ, или въ другой лагерь. Совѣсть была сломлена или усыплена этимъ внутреннимъ раздвоеніемъ: а всего лучше подходили для наступившей ломки тѣ, у которыхъ она совсѣмъ молчала *). Вотъ почему никакія надругательства Петра надъ тѣмъ, что только что считалось святымъ и неприкосновеннымъ, не могли вызвать сколько-нибудь сильнаго внутренняго сопротивленія въ окружающей его средѣ. Онъ какъ будто нарочно переходилъ отъ одной циничной выдумки къ другой, еще болѣе циничной, еще болѣе оскорбительной для чужого достоинства и совѣсти, умышленно и систематически насиловалъ всѣ вкусы, всѣ убѣжденія,—чтобы узнать, какъ много онъ можетъ себѣ позволить, и узнавалъ,—не испытывая даже удивленія, какъ извѣстный римскій императоръ,—что онъ все можетъ. Всякая форма, всякій мундиръ къ чему-нибудь обязываетъ. Надѣтый Петромъ мундиръ европейской культуры на первый разъ только *развязывалъ*, не обязывая ни къ чему, устраняя тотъ обязательный чинъ жизни, строй мысли и чувства, который было налаживался въ Москвѣ XVII в., и возвращая русскую жизнь къ той безформенности, съ которой мы уже привыкли встрѣчаться всюду въ русской исторіи. При московскомъ чинѣ жизни, какъ ни былъ онъ плохъ и низменъ самъ по себѣ, все-таки, были вещи, которыя дѣлать было обязательно, и были другія, которыхъ дѣлать было *нельзя*. Теперь такихъ вещей не оставалось. Все было можно, и ничто не было обязательно, кромѣ очередного приказанія реформатора. А его натура была, какъ сейчасъ увидимъ, такова, что только и приходилось ждать *очередного* приказанія: система, новый чинъ жизни, новые порядки установились какъ-то сами собой, постепенно, изъ ряда такихъ очередныхъ приказаній, сплошь да рядомъ другъ друга отмѣнявшихъ. Окружавшимъ оставалось лавировать, какъ умѣли, въ этомъ новомъ фарватерѣ, въ которомъ только цѣль и общее направленіе оставались одни и тѣ же, а пути къ цѣли постоянно мѣнялись, дѣлая притомъ порою самые причудливые изгибы, самые неожиданные повороты.

---

*) Датскій посланникъ Юль въ 1709 г. замѣчалъ относительно раскольниковъ (очевидно, передавая общее мнѣніе): «Въ общемъ, раскольники честнѣе, богобоязненнѣе и трезвѣе противъ русскихъ, а по части христіанскихъ догматовъ начитаннѣе и просвѣщеннѣе ихъ»· Въ то же время, изъ своихъ сношеній съ правящей бюрократіей, Юль сдѣлалъ такой общій выводъ: «Вообще, на русскихъ надо вліять лестью, водкой и взятками; всѣ же другія средства, вродѣ справедливости, права, на нихъ не дѣйствуютъ». Юль забылъ прибавить къ перечню этихъ средствъ еще одно,—ему, конечно, менѣе доступное,—именно «страхъ».

Бюрократія, высшее духовное и свѣтское чиновничество были, такимъ образомъ, въ полномъ распоряженіи Петра. А кромѣ бюрократіи ему ни съ кѣмъ не приходилось считаться. Соціальная жизнь Россіи такъ сложилась ко времени реформы, что съ этой стороны реформатору встрѣчалось еще меньше препятствій, открывалось еще больше простора, чѣмъ со стороны культурной традиціи.

Въ промежуткѣ между распаденіемъ боярства и господствомъ дворянства, между XVI и XVIII вѣкомъ, бюрократія являлась единственнымъ правящимъ классомъ. Мы видѣли, какъ дворянство, въ самый моментъ своей побѣды надъ боярствомъ и казачествомъ, добровольно уступило бюрократіи правительственную роль и отказалось отъ постояннаго контроля надъ нею, какой могъ дать дворянству земскій соборъ (см. выше стр. 78, 81, 84, 89—92). Послѣдствія этой безконтрольности оно очень скоро и непріятно почувствовало; однако не только ничего не сдѣлало, чтобы вернуть себѣ господствующее положеніе, но неохотно отвѣчало даже на прямые призывы къ нему въ этомъ смыслѣ со стороны правительства. Вѣроятно, это такъ вышло по той же причинѣ, по которой на пожарахъ того времени люди предпочитали сидѣть сложа руки и ждать, пока все сгоритъ у всѣхъ, высматривая только случай что-нибудь утащить изъ чужого имущества, а въ остальномъ полагаясь на волю Божію и на святыя иконы *). Въ концѣ концовъ, правительство со второй половины XVII вѣка замѣнило земскіе соборы созывомъ свѣдущихъ людей, и политическая роль «ратныхъ людей», такъ же какъ и другихъ «чиновъ» московскаго государства, сдѣлалась историческимъ преданіемъ. Однако же, и бюрократія не много выиграла, въ политическомъ смыслѣ, отъ этого добровольнаго отказа. Та же самая неорганизованность общественной жизни, которая мѣшала возникновенію политическаго самосознанія классовъ, лишала и бюрократію необходимыхъ орудій, при посредствѣ которыхъ она могла бы воспользоваться своимъ господствующимъ положеніемъ, чтобы сдѣлаться всемогущей. Только что нажившi «неудобьсказаемыя палаты», представители этой бюрократіи могли подвергнуться линчеванію народной толпы,—и никто не могъ защитить ихъ; даже самому царю приходилось умилостивлять эту толпу слезами или кончать рукобитьемъ съ московскими бунтовщиками, въ ожиданіи, пока можно будетъ захватить ихъ такъ же врасплохъ, какъ они сами заставали московское правительство. Крижаничъ очень хорошо объяснилъ характеръ этихъ московскихъ бунтовъ (1648 и 1662 гг.) и предсказалъ стрѣлецкіе бунты— тѣмъ совершенно вѣрнымъ замѣчаніемъ, что «нечестіе королямъ» со стороны «простого народа и войска» чинится обыкновенно тамъ, гдѣ

*) См. многократныя наблюденія Юля, при которыхъ выгодно выступаетъ и роль Петра—въ организаціи борьбы съ общею опасностью, въ насильственномъ пріучиваніи толпы къ общественному дѣлу и интересу.

нѣтъ господствующаго сословія или политически организованныхъ (снабженныхъ «слободинами») классовъ (см. выше, стр. 129—130). За отсутствіемъ таковыхъ, производить волненія въ Московскомъ государствѣ XVII в. было чрезвычайно легко, а усмирять ихъ весьма трудно, такъ что правительство обыкновенно прибѣгало, за неимѣніемъ силы, къ хитрости. Чтобы не имѣть дѣла сразу со всей массой, оно сперва разъединяло ее, потомъ обѣщало всѣмъ полное прощеніе и уже только, когда все успокаивалось, захватывало и казнило намѣченныхъ раньше зачинщиковъ *).

Всѣ эти волненія, во всякомъ случаѣ, не только обнаружили безсиліе бюрократіи, но и показали, что у самихъ недовольныхъ также мало шансовъ—завладѣть положеніемъ. Русское общество постоянно распадалось при всякихъ волненіяхъ на тѣ же двѣ части, которыя намѣтились уже въ смутное время. На сторонѣ власти оставались всѣ общественные слои, извлекавшіе выгоду изъ современнаго положенія вещей. Сюда относились, кромѣ слоевъ, прикосновенныхъ къ правительству (высшаго чиновничества, духовенства и купечества), также все дворянство и весь приказный чинъ. Къ противникамъ власти примыкали всѣ обдѣленные современнымъ порядкомъ: крестьяне и большая часть дворовыхъ людей («боярскихъ людей», холоповъ»), рядовое городское населеніе («посадскіе») и часто низшее духовенство. Отрицательной программой всякаго бунта было: въ столицѣ изводить бояръ и высшихъ чиновниковъ, въ городахъ рѣзать воеводъ и приказныхъ, въ уѣздахъ избивать дворянъ и помѣщиковъ. Положительной программой, въ которой напрасно старались видѣть отголоски древняго вѣчевого строя,—былъ казацкій кругъ и казацкое равенство. Наиболѣе яркое осуществленіе та и другая программа получили на примыкавшей къ Поволжью границѣ между осѣдлымъ населеніемъ и степью **) во время бунта Стеньки Разина. Этого было достаточно, чтобы до конца вѣка держать въ страхѣ власти; въ 1682 г. анонимный доносъ на Хованскаго приписываетъ ему эту самую разинскую программу. Но она и могла служить только орудіемъ агитаціи, матеріаломъ для доноса и «жупеломъ» для тогдашнихъ пугливыхъ людей. Серьезной опасности съ этой стороны грозить не могло. Разинская программа была черезчуръ ужъ проста въ своей отрицательной части и черезчуръ фантастична въ положительной. Нормальнымъ выходомъ для недовольныхъ былъ въ XVII вѣкѣ побѣгъ въ степь, къ казакамъ, а не водвореніе казацкаго строя среди осѣдлаго населенія.

Итакъ, исключительно вслѣдствіе отсутствія другихъ организован-

*) Всего отчетливѣе можно прослѣдить эту тактику борьбы во Псковѣ, во время бунта 1650 г., и въ Астрахани (1671—2), во время возстанія Стеньки Разина.

**) На «Симбирской чертѣ», см. «Очерки», I, 57—8 (теперешнія Нижегородская, Пензенская и Тамбовская губерніи).

*

ныхъ общественныхъ силъ, а вовсе не благодаря собственному могуществу, бюрократія оставалась господиномъ положенія до конца XVII столѣтія. Къ концу вѣка, пожалуй, можно замѣтить слабые признаки того, что эта бюрократія, какъ будто, хочетъ замкнуться въ тѣсный кругъ и принимаетъ олигархическій оттѣнокъ. Русская чиновная знать узнаетъ кое-что про положеніе иностранной знати и перестаетъ довольствоваться «государевымъ жалованьемъ», какъ санкціей своего положенія. Ей хочется подняться на степень владѣтельныхъ князей западной Европы. Крижаничъ уже предлагалъ для этого создать особое сословіе «князей», обезпеченное чѣмъ-то вродѣ феодальныхъ владѣній. Къ этому отчасти клонился и представленный Думѣ въ 1681 г. проектъ, дѣлившій Россію на намѣстничества и устанавливавшій іерархію новой чиновной аристократіи (I, 185—7 и ниже объ элементѣ «чина» въ этомъ проектѣ). Не разъ повторялись подобныя предложенія и въ проектахъ, поданныхъ Петру его совѣтниками. Но у Петра мало было охоты оживлять «дряблое, упадшее дерево» стараго боярства. Изъ всѣхъ аристократическихъ затѣй онъ принялъ только одну—законъ о майоратѣ, но и тотъ, въ его понятіи, долженъ былъ послужить на пользу не высшей аристократіи, а среднему дворянству (I, 183).

Если существовавшій соціальный строй ничѣмъ не могъ помѣшать петровской реформѣ, то за то въ немъ не на что было и опереться. Эту опору власти надо было еще создать. Какъ поступилъ въ этомъ случаѣ реформаторъ?

Первыми сотрудниками Петра были, естественно, люди, сдѣлавшіе переворотъ въ его пользу: ему оставалось просто принять это наслѣдство прошлаго. Главные изъ нихъ, Борисъ Голицынъ, Левъ Кир. Нарышкинъ, Тихонъ Стрѣшневъ, какъ нельзя лучше представляли три типичныхъ оттѣнка тогдашней бюрократіи: богатый, образованный по новому и лѣнивый титулованный аристократъ Гедиминовичъ, одинъ изъ тѣхъ, которые были не прочь дать феодальную опору старому титулу (и въ самомъ дѣлѣ Борисъ Голицынъ осуществилъ это стремленіе, сдѣлавшись «неограниченнымъ государемъ» Казанскаго дворца); представитель новой придворной знати, спѣшившей воспользоваться случайной близостью ко двору для скорой наживы, человѣкъ безъ прошлаго, не приготовленный къ власти и избалованный ею; наконецъ, тонкій и хитрый дѣлецъ, посѣдѣвшій въ приказахъ и умѣвшій держать въ своихъ рукахъ «секретъ всѣхъ дѣлъ». Никто изъ троихъ не понадобится Петру впослѣдствіи: ни титулованный бояринъ, манкирующій дѣлами, ни разжирѣвшій parvenu, котораго Петръ замѣнитъ своими, лично ему всѣмъ обязанными; ни приказный владѣлецъ государственныхъ секретовъ, которые Петръ будетъ хранить про себя.

Что касается боярства, среди него были люди, «которые старой вѣры не любятъ, а новую заводятъ»; упомянутый выше доносъ на Хованскаго перечислялъ до дюжины такихъ бояръ: «Одоевскихъ троихъ,

Черкасскихъ двоихъ, Голицыныхъ троихъ, Шереметевыхъ двоихъ, И. М. Милославскаго и иныхъ многихъ». Но то была «новая вѣра» Никона и В. В. Голицына, а не «вѣра» Петра. Какъ относились бояре къ новой петровской вѣрѣ и какъ относился, въ свою очередь, къ нимъ самимъ Петръ, это ярко иллюстрируетъ маленькая сценка на похоронахъ Лефорта (1699 г.), записанная Корбомъ. Замѣтивъ, что бояре въ похоронной процессіи перемѣнили порядокъ, насильно занявъ переднее мѣсто, предназначенное для иностранцевъ, Петръ раздраженно крикнулъ: «Это собаки, а не мои бояре»; а когда послѣ похоронъ бояре спѣшили покинуть домъ Лефорта, какъ только ушелъ царь,—онъ совсѣмъ вышелъ изъ себя, тотчасъ вернулся и проговорилъ: «Вы, можетъ быть, рады его смерти? Большую пользу вамъ принесла его кончина? Зачѣмъ расходитесь? Или, быть можетъ, отъ большой радости вы не въ состояніи дольше притворно морщить лица и дѣлать печальный видъ?» Очевидно, это самое желаніе сорвать ненавистную маску, обнаружить и наказать предполагаемое притворство—руководило Петромъ, когда онъ заставилъ этихъ самыхъ бояръ собственными руками рубить головы стрѣльцамъ, въ сочувствіи которымъ подозрѣвалъ ихъ.

Только одному Ѳ. Ю. Ромодановскому позволялось открыто порицать иностранцевъ и иностранные обычаи: Петръ цѣнилъ въ немъ то же качество, которое оплакивалъ въ Лефортѣ и которое Куракинъ формулировалъ словами: «Его величеству вѣрной такъ былъ, что никто другой». Это было то, чего Петръ искалъ въ своихъ сотрудникахъ прежде всего и въ чемъ его всего труднѣе было убѣдить, а разъ убѣдивъ, заставить разувѣриться. Среди тревожной обстановки его дѣтства въ немъ выработалось замѣчательное умѣнье притворяться, которому не разъ удивлялись иностранцы,—а вмѣстѣ съ тѣмъ и непобѣдимое недовѣріе къ искренности его окружающихъ. Эта благопріобрѣтенная черта не позволяла ему до конца жизни ни на кого ни въ чемъ положиться и приводила къ тому же, къ чему и врожденная живость характера: къ желанію, превратившемуся въ потребность, самому все дѣлать, входя въ самыя мелочныя детали каждаго дѣла. «Нерѣдко,—разсказываетъ намъ Юль (1710), — когда въ откровенной бесѣдѣ заходила у насъ рѣчь объ удачѣ и подвигахъ великихъ государей, царь отдавалъ справедливость многимъ правителямъ и государямъ, въ особенности королю французскому (Людовику XIV),... но большая часть ихъ, прибавлялъ онъ, обязана своими успѣхами многимъ разумнымъ и смышленымъ людямъ, которыми могли пользоваться во всѣхъ, даже наиважнѣйшихъ вопросахъ; между тѣмъ какъ онъ, царь, съ самаго вступленія на престолъ, въ важныхъ дѣлахъ почти не имѣетъ помощниковъ и поневолѣ завѣдуетъ всѣмъ самъ». Въ совѣтахъ и совѣтникахъ, конечно, у Петра не было недостатка: чѣмъ дальше, тѣмъ ихъ являлось больше. Но это не мѣшало ему чѣмъ дальше, тѣмъ больше

чувствовать себя одинокимъ, что, конечно, усилило печать индивидуальности, наложенную имъ на свою реформу,—часто къ ея несомнѣнному ущербу. Съ своимъ недовѣріемъ къ людямъ, царь попадалъ въ какой-то заколдованный кругъ. Цѣня въ людяхъ прежде всего испытанную вѣрность себѣ, онъ имѣлъ очень ограниченный выборъ и ни на одинъ сколько-нибудь отвѣтственный постъ не могъ посадить лицо, дѣйствительно подходящее, а назначалъ фигурантовъ, ничтожества, не имѣвшія никакого понятія о дѣлѣ, которое должны были дѣлать, — только бы можно было положиться на ихъ преданность. Такимъ образомъ, Шереметевъ и Меншиковъ оказались фельдмаршалами, Головинъ и Апраксинъ—адмиралами, Головкинъ—министромъ иностранныхъ дѣлъ и т. д. Правда, Петръ не упускалъ случая приставить къ нимъ опытныхъ иностранцевъ-спеціалистовъ, которые собственно и дѣлали дѣло. Такъ былъ приставленъ къ Шереметеву Огильви для арміи, къ Апраксину—Крюйсъ для флота, къ Головкину—Шафировъ, а потомъ Остерманъ для дипломатіи. Это, однако, только усилило для Петра необходимость за всѣмъ слѣдить самому, отчего реформа и получила, вопреки содѣйствію спеціалистовъ, случайный, отрывочный и дилеттантскій характеръ, отражавшій темпераментъ и состояніе знаній самого царя-реформатора. Другимъ послѣдствіемъ той же причины было полное равнодушіе ближайшихъ сотрудниковъ къ самому существу того дѣла, которое они вели; и чѣмъ ихъ положеніе становилось прочнѣе и обезпеченнѣе, тѣмъ сильнѣе обнаруживалось, что они преслѣдуютъ только личные, своекорыстные интересы. Въ другой формѣ, это были совершенно такіе-же враги реформы, какъ и тѣ, отъ которыхъ царь надѣялся спастись назначеніемъ довѣренныхъ лицъ на отвѣтственные посты. Въ этомъ и заключался тотъ заколдованный кругъ, о каторомъ мы говорили. Энергичный и настойчивый Петръ не хотѣлъ, однако, съ этимъ мириться. Едва онъ замѣчалъ, что лица перестаютъ соотвѣтствовать дѣлу, онъ тотчасъ принимался за ломку, какъ бы эти лица ни сдѣлались близки его сердцу. Вотъ почему столько блестящихъ карьеръ, начатыхъ при Петрѣ людьми случая, при немъ же и закончились эшафотомъ и ссылкой. Чѣмъ дальше, однако, тѣмъ труднѣе становилось вынимать колеса изъ заведенной машины и выдвигать на насиженныя мѣста новыхъ людей. Къ концу царствованія этотъ диссонансъ между вновь сложившейся рутиной и непримиримымъ нигилизмомъ царя, сохранившаго среди новой обстановки всѣ старыя привычки, вынесенныя изъ Нѣмецкой Слободы, становился все чувствительнѣе и тяжелѣе для обѣихъ сторонъ. Съ своими требованіями полнаго простора и пустоты кругомъ, Петръ самъ становился все болѣе и болѣе анахронизмомъ среди сотканной имъ же паутины новаго житейскаго церемоніала. Окружающіе утомлялись отъ этой необходимости быть вѣчно на сторожѣ и спѣшили припасти себѣ кое-что на черный день. Въ концѣ концовъ противъ царя составился какой-то молчаливый, пассивный за-

говоръ, не ускользнувшій, разумѣется, отъ его наблюдательности и только обострившій у него желаніе разорвать паутину. Въ 1719 г., отправляясь въ одну поѣздку, Петръ прорвался и сказалъ—не кому-нибудь, а такимъ старымъ слугамъ, какъ Меншиковъ и Апраксинъ,—что ему отлично извѣстно, какъ въ сущности они несочувственно относятся ко всѣмъ его мѣропріятіямъ; что умри онъ,—и они не прочь будутъ бросить завоеванныя провинціи и Петербургъ и оставить на произволъ судьбы флотъ, который стоилъ ему столько труда, крови и денегъ. Исторія съ Монсомъ въ 1724 г. открыла Петру окончательно глаза на то, какъ страшно онъ одинокъ и изолированъ. Онъ колебался между желаніемъ уничтожить все, разсыпать кругомъ страшные удары,—и сознаніемъ невозможности начинать такъ поздно все опять сызнова, съ пустого мѣста. Единственнымъ возможнымъ исходомъ изъ этого трагическаго положенія была смерть.

Мы видимъ, что тотъ самый соціальный и культурный просторъ, который сдѣлалъ возможной побѣду крайняго направленія реформы, роковымъ образомъ наложилъ на реформу рѣзкую печать индивидуальности Петра, помѣшавъ ему установить взаимное довѣріе между собой и своими сотрудниками и подобрать для реформы подходящихъ людей. При полномъ отсутствіи той междуклѣточной ткани соціальныхъ отношеній, которая вырабатывается культурнымъ процессомъ и одна можетъ обезпечить непрерывность соціальнаго дѣйствія—въ пространствѣ, также какъ и во времени,—при отсутствіи этого необходимаго условія сознательной реформы, Петру поневолѣ приходилось вѣрить въ одного только себя и полагаться лишь на собственныя силы.

Но это еще не рѣшаетъ вопроса о томъ, на кого и на что опирался Петръ, чтобы дѣйствовать такъ рѣшительно, какъ онъ дѣйствовалъ: бравируя вкусы, привычки, стремленія и интересы какъ ближайшей окружающей среды, такъ и широкой народной массы. Точка опоры у него была, очевидно, внѣ того и другого,—слишкомъ узкаго и слишкомъ широкаго круга. Найти эту точку опоры не трудно: стоитъ лишь вернуться къ первымъ годамъ царствованія Петра.

Напомнимъ здѣсь практическій совѣтъ Самойловича, переданный имъ черезъ думнаго дьяка Украинцева В. В. Голицыну. «Нужно для укрѣпленія за собой власти держать въ Москвѣ одинъ-два полка надежныхъ людей» (выше, стр. 139). Не принеся пользы В. В. Голицыну, совѣтъ дошелъ, однако,—только по другому адресу. Украинцевъ легко могъ передать его Стрѣшневу. Какъ бы то ни было, но съ этого самаго времени (1687) военныя забавы Петра сразу принимаютъ серьезный характеръ. Сознательность этой перемѣны засвидѣтельствована сверстникомъ Петра, однимъ изъ юныхъ спальниковъ, набранныхъ въ «потѣшные полки», кн. Куракинымъ. По его словамъ, Петръ «привелъ себя тѣми малыми полками въ охраненіе отъ сестры» и «началъ приходить въ силу». И Шакловитый показалъ, съ другой стороны, что

«въ то время (1687) у государя Петра Алексѣевича начали прибирать потѣшныхъ конюховъ, и оттого возродилось опасеніе, заставившее Софью начать усиленную агитацію среди стрѣльцовъ. Суть новой перемѣны именно заключалась въ томъ, что къ сверстникамъ изъ знатныхъ фамилій, записанныхъ къ Петру въ сотоварищи военныхъ игръ (въ придворномъ чинѣ «спальниковъ»), присоединены были теперь совсѣмъ простого происхожденія ребята, «конюхи потѣшной конюшни», а также добровольцы изъ мелкаго дворянства, составившіе вмѣстѣ Преображенскій и Семеновскій полки. Кн. Куракинъ съ сокрушеніемъ замѣчаетъ, что окружающія Петра лица, всѣ эти Нарышкины, Стрѣшневы, происходя изъ «домовъ самаго низкаго и убогаго шляхетства», «всегда внушали ему съ молодыхъ лѣтъ противъ великихъ фамилій» и что къ этому «и самъ его величество склоннымъ явился, дабы уничиженіемъ оныхъ отнять у нихъ пувуаръ весь и учинить бы себя наибольшимъ сувреномъ». Самъ Куракинъ пострадалъ отъ этого «уничиженія великихъ фамилій», такъ какъ и онъ, вмѣстѣ съ другими «знатными персонами», былъ «отдаленъ», не смотря на свое званіе спальника, а «во всѣ комнатныя службы вошли отъ того времени (люди) простого народу».

Такимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ шаговъ Петра мы встрѣчаемъ обдуманную и сознательную систему устраненія аристократіи и привлеченія мелкаго дворянства, организованнаго въ гвардейскіе полки, для поддержки и усиленія власти государя. Если отъ начала царствованія перейдемъ къ концу, то встрѣтимъ тамъ ту же самую черту: она прошла неизмѣнной сквозь всѣ перипетіи реформы. Петербургскія попойки того времени происходили въ нѣсколько болѣе приличной обстановкѣ и носили болѣе утонченный характеръ, чѣмъ московскія. Но одинъ моментъ, очевидно сохранившійся въ неприкосновенности отъ московскаго времени, вселялъ особенный страхъ и ужасъ въ иностранцевъ, обязанныхъ посѣщать эти увеселенія по торжественнымъ случаямъ. Это—тотъ моментъ, когда «человѣкъ шесть гвардейскихъ гренадеръ вносили на носилкахъ большія ведра съ самой простой сивухой, запахъ которой слышенъ былъ за сто шаговъ». За гренадерами шли майоры гвардіи, которые приглашали желающихъ и нежелающихъ пить изъ большого ковша, подносимаго рядовымъ, за здоровье ихъ полковника, т.-е. царя. Отказаться было невозможно; иностранцамъ объясняли, «что царь приказываетъ подавать именно это вино — изъ любви къ гвардіи, которую онъ всячески старается тѣшить, часто говоря, что между гвардейцами нѣтъ ни одного, которому бы онъ смѣло не рѣшился поручить свою жизнь». Тотъ же Берхгольцъ, которому принадлежатъ эти свѣдѣнія, замѣчаетъ, что въ обоихъ гвардейскихъ полкахъ «большая часть рядовыхъ, по крайней мѣрѣ, очень многіе изъ нихъ,—князья, дворяне или унтеръ-офицеры изъ армейскихъ полковъ».

Мы имѣемъ, впрочемъ, наглядное доказательство того высшаго до-

вѣрія, которое Петръ, вообще такой недовѣрчивый, выказывалъ своей дворянской гвардіи. Въ ту пору, когда, какъ мы видѣли, онъ сталъ сомнѣваться въ своихъ ближайшихъ сотрудникахъ и товарищахъ,—для того, чтобы разслѣдовать ихъ темныя дѣла, наказать ихъ и вообще дать имъ понять, что онъ можетъ обойтись и безъ нихъ,—Петръ не нашелъ ничего лучшаго, какъ обратиться къ своимъ майорамъ гвардіи. Это былъ его послѣдній рессурсъ. Майоры, полковники и капитаны гвардіи явились предсѣдателями слѣдственныхъ коммиссій и членами судовъ, обнаружившихъ цѣлый рядъ хищеній и безпорядковъ въ дѣятельности ближайшихъ помощниковъ Петра. Извѣстенъ разсказъ Фокеродта, что въ послѣдній годъ жизни Петръ, «потерявъ всякое терпѣніе», самъ вошелъ во всѣ подробности слѣдственныхъ дѣлъ, посадилъ возлѣ себя, въ особой комнаткѣ своего дворца, одного изъ такихъ довѣренныхъ людей, генералъ-фискала Мякинина, и на его вопросъ, отсѣкать ли вѣтви, или рубить самый корень, отвѣтилъ: «искореняй все». Не менѣе любопытно и то, что Петръ насильно заставилъ дворянство принимать участіе въ выборахъ, и не только въ выборахъ мѣстныхъ чиновниковъ (земскихъ комиссаровъ), но и въ выборахъ, посредствомъ баллотировки, высшихъ должностныхъ лицъ въ государствѣ. Такъ, въ 1722 г. выборы президента юстицъ-коллегіи произведены были съ участіемъ генералъ-майоровъ, майоровъ и другихъ офицеровъ гвардіи, а также 100 человѣкъ выборныхъ отъ дворянства. Мы увидимъ скоро, что путь, указанный Петромъ дворянству къ достиженію положенія правящаго сословія, не былъ забытъ послѣ его смерти.

Мы познакомились теперь съ тѣми причинами индивидуальнаго характера реформы, которыя лежали въ условіяхъ *обстановки*. Намъ остается посмотрѣть, какъ именно и какія индивидуальныя черты *личности* Петра отразились на его реформѣ.

Относительно размѣровъ и характера личнаго вліянія Петра на реформу—уже его современники сильно расходились во мнѣніяхъ. Видя, какъ Петръ вездѣ — самъ, вездѣ — одинъ, окружающіе, естественно, получали впечатлѣніе, что Петръ полный хозяинъ своей реформы. Онъ все знаетъ, все видитъ, все можетъ, все дѣлаетъ; онъ, какъ выразился Юль, «лично одаренъ столь совершеннымъ и высокимъ умомъ и познаніями, что одинъ можетъ управлять всѣмъ». Самыя грубыя забавы, въ какихъ только могла находить удовольствіе чуждая всякой тонкости натура Петра,—получали съ этой точки зрѣнія скрытый символическій, или,—какъ выражается Фокеродтъ,—«гіероглифическій» смыслъ. Его почти ежедневныя попойки, приводившія въ такой ужасъ иностранныхъ дипломатовъ и не прекращавшіяся со времени перваго выѣзда въ Слободу до послѣдняго мѣсяца жизни, представлялись важнымъ орудіемъ государственной машины,—какъ способъ узнавать тайныя мысли опьянѣвшихъ собесѣдниковъ. Привычка Петра стравливать, при помощи шутовъ, своихъ ближайшихъ сотрудниковъ, изобильно награждавшихъ

при этомъ другъ друга плевками, пощечинами и выводившихъ на свѣжую воду взаимные грѣхи, казалась могущественнымъ средствомъ правительственнаго контроля. Наконецъ, даже и неожиданныя выходки и вспышки самого Петра принимали видъ заранѣе обдуманныхъ наполеоновскихъ пріемовъ: такъ какъ, хотя и «нѣтъ никакой возможности догадаться, дѣйствуетъ ли онъ преднамѣренно или нѣтъ, но, конечно, вѣрнѣе предположить, что государь такого ума говоритъ подобныя вещи не спроста и не иначе, какъ нарочно» (Юль). Словомъ, не довольствуясь тѣмъ несомнѣннымъ выводомъ, что Петръ умѣлъ извлекать выгоды изъ примитивности окружавшихъ его отношеній, его поклонники готовы были заключить, что и самая примитивность отношеній—есть продуктъ высшей государственной мудрости Петра. По выраженію Фокеродта, они «вообразили себѣ, что во всѣхъ поступкахъ этого монарха должна скрываться почти сверхчеловѣческая мудрость». Русскіе поклонники Петра скоро такъ и будутъ называть его—«земнымъ богомъ».

Однако, присмотрѣвшись ближе, наиболѣе проницательные изъ современныхъ наблюдателей начинали наталкиваться на цѣлый рядъ мелочей и важныхъ вещей, которыя никакъ нельзя было объяснить съ только что указанной точки зрѣнія. Тотъ же Юль видитъ, какъ царь по цѣлымъ днямъ запирается у себя въ Преображенской избѣ или петербургскомъ домикѣ отъ всѣхъ государственныхъ дѣлъ и точитъ на своемъ станкѣ такъ усердно, «какъ будто бы работалъ за деньги и снискивалъ себѣ этимъ трудомъ пропитаніе»; или ловитъ его на попойкахъ, чтобы поговорить о важныхъ дѣлахъ, для которыхъ не назначено никакихъ опредѣленныхъ дней; или застаетъ его самолично сортирующимъ рекрутовъ; и онъ удивляется все больше и больше. «Непосвященный подумалъ бы, что никакого другого дѣла у него нѣтъ, тогда какъ во всей Россіи дѣла—гражданскія, военныя и церковныя—вѣдаются имъ однимъ, безъ особой помощи другихъ!» Болѣе посвященный, Фокеродтъ, не удивлялся, такъ какъ онъ хорошо зналъ, *какъ* вѣдались всѣ эти дѣла въ петровской Россіи. Онъ зналъ, что «объ улучшеніяхъ во внутреннемъ государственномъ строѣ... Петръ почти не заботился или даже вовсе не заботился въ первые 30 (вѣрнѣе, 20) лѣтъ своего царствованія, лишь бы у флота и арміи было довольно денегъ, лѣса, рекрутъ, матросовъ, провіанта и аммуниціи»; что война и, насколько было для нея необходимо иностранныя дѣла поглощали все его вниманіе. И какъ разъ въ военномъ и морскомъ дѣлѣ, самомъ близкомъ сердцу Петра, Юль, самъ морякъ-спеціалистъ и военный, наткнулся на такія вещи, которыя окончательно рѣшили его взглядъ на личную роль Петра въ его реформѣ. Въ маѣ 1710 г. Петръ со всей эскадрой отправился изъ Петербурга къ Выборгу, причемъ 1) «весь фарватеръ былъ еще покрытъ пловучимъ льдомъ», 2) «во всемъ флотѣ не было человѣка, знакомаго съ фарватеромъ», 3) суда, построенныя изъ ели, были «большею частью непригодны для морского плаванія», 4) управленіе

карбасами было поручено «крестьянамъ и солдатамъ, едва умѣвшимъ грести однимъ весломъ»; такъ что въ результатѣ весь флотъ едва справился съ погодой и только потому не сдѣлался жертвой шведской эскадры, что та случайно явилась двумя днями позже. Экспедиція, которая по всѣмъ человѣческимъ соображеніямъ должна была кончиться катастрофой, рѣшила взятіе Выборга,—и честный датчанинъ могъ только, разводя руками, цитировать Квинта Курція и Цицерона: temeritas in gloriam cessit; ut multum virtuti, plurimum tamen felicitati debes» *). «Если ужъ какому государю суждено стать великимъ, Господь Богъ благопріятствуетъ ему во всемъ, какъ бы ни было предпринято самое дѣло».

Изъ двухъ противоположныхъ мнѣній которое же ближе къ истинѣ? Былъ ли Петръ самъ своимъ промысломъ или промыслъ сдѣлалъ свое дѣло помимо него и даже вопреки его поступкамъ? Мы не можемъ рѣшить этого вопроса, не познакомившись внимательнѣе съ тѣмъ, въ какой степени сознательно самъ Петръ относился къ своей реформѣ.

Ни русская современность, ни личный психическій складъ, ни условія воспитанія не могли создать у Петра привычки къ отвлеченному мышленію. Мы, слѣдовательно, не должны ожидать, чтобы Петръ на вопросъ объ общемъ значеніи своей реформы, о ея роли въ исторической связи явленій—отвѣтилъ намъ соціологическимъ трактатомъ. Когда ему приходится объ этомъ говорить—а это бываетъ не часто—онъ просто повторяетъ то, что говорятъ кругомъ него иностранцы по этому поводу. Въ самомъ началѣ реформы мы слышимъ отъ Корба, что молодой царь предпочитаетъ забавамъ прежнихъ государей «*тяжелыя забавы любителей славы*: военное искусство, потѣшные огни, пушечную пальбу, кораблестроеніе». Этотъ мотивъ крѣпко засѣлъ въ памяти Петра: черезъ полтора десятка лѣтъ (1715) онъ въ этихъ самыхъ выраженіяхъ старается втолковать царевичу Алексѣю важность своихъ раннихъ увлеченій, противополагая свои «тяжкія забавы»—«легкимъ забавамъ» отца и брата. Тотъ же Корбъ указываетъ и источникъ этого юношескаго настроенія: «Лефортъ указалъ царю истинный путь къ славѣ и, возбуждая его къ военнымъ подвигамъ, питалъ въ немъ стремленіе къ послѣдней». Итакъ, слава, какъ смутная цѣль, а какъ ея средства и атрибуты—армія и флотъ, салюты и фейерверки,—вотъ что рисовалось въ фантазіи будущаго реформатора въ моментъ первыхъ, подсказанныхъ, дѣйствительно, Лефортомъ предпріятій: азовскихъ походовъ и заграничной поѣздки. И до конца своего царствованія Петръ не потеряетъ чувствительности къ славѣ: онъ не прочь потягаться при случаѣ съ Константиномъ Великимъ и Александромъ Македонскимъ: «Александръ построилъ Дербентъ, а Петръ его взялъ»;

*) «Опрометчивость обратилась въ славу. Хотя ты (Цезарь) многимъ обязанъ своимъ талантамъ, но болѣе всего обязанъ удачѣ».

«Людовику помогали, а Петръ все сдѣлалъ одинъ». Корабль, на которомъ онъ командовалъ—безъ всякихъ, впрочемъ, результатовъ—флотами четырехъ державъ (изъ которыхъ двѣ были представлены номинально),—этотъ корабль она пожелаетъ сохранить для потомства. Но Петръ слишкомъ прозаическая натура, чтобы вдаваться въ сентиментальности, слишкомъ большой утилитаристъ, чтобы связывать съ понятіемъ «славы» то представленіе, какое съ ней связываютъ иностранцы. Тѣ думаютъ при этомъ словѣ, прежде всего, о добромъ имени въ европейской семьѣ народовъ, о пріобщеніи варварскаго народа къ цивилизаціи и гуманности. Петръ, напротивъ, постоянно подчеркиваетъ, что «слава» состоитъ въ могуществѣ Россіи и въ грозномъ положеніи, пріобрѣтенномъ ею въ короткое время среди европейскихъ державъ. Желая доказать подданнымъ необходимость войны (въ памфлетѣ, написанномъ Шафировымъ), онъ упоминаетъ, конечно, что, благодаря войнѣ, мы «получили такія славы», но тотчасъ же спѣшитъ прибавить «*паче же*—безопасство» отъ сосѣдей; «могу сказать, что никого такъ не боятся, какъ насъ, за что Господу силъ да будетъ выну слава». Такимъ образомъ, къ политикѣ Петра вполнѣ относится выводъ Фокеродта: «можно считать несомнѣннымъ, что простой русскій человѣкъ во всѣхъ своихъ поступкахъ съ иностранцами ничего другого не имѣетъ въ виду, кромѣ собственной выгоды, и меньше всего приходитъ ему въ голову думать о томъ, чтобы дать иностранцамъ выгодное понятіе о собственной особѣ». Горькимъ опытомъ иностранцы на каждомъ шагу убѣждались, что такія слова, какъ «gloire, opinion (publique), point d'honneur» и даже просто honneur—для русскихъ пустые звуки; что они смѣются надъ тѣмъ, кто готовъ добиваться «идейнаго блага» цѣной «реальнаго ущерба»; что поэтому они не признаютъ никакихъ обязательствъ, разъ послѣднія приходятъ въ коллизію съ ихъ ближайшими интересами, и поступаютъ, какъ имъ выгодно, предоставляя думать о себѣ, что угодно. Никакими убѣжденіями нельзя заставить ихъ повѣрить, что чужое мнѣніе можетъ опредѣлять ихъ поступки, что хорошая репутація нужна—даже съ точки зрѣнія личной выгоды. Они дѣйствуютъ, какъ купецъ, который фальсифицируетъ товаръ, не думая, что за то у него никто больше не купитъ. Всѣ эти наблюденія почти дословно повторяются иностранцами и въ началѣ (Корбъ), и въ серединѣ (Юль) и въ концѣ царствованія (Фокеродтъ). Такимъ образомъ, надо всегда помнить, что въ реформѣ Петра «слава» есть не идеальная цѣль, а вполнѣ реальное средство, и что пользованіе этимъ средствомъ ничего не имѣетъ общаго съ желаніемъ—заслужить репутацію цивилизованнаго народа.

Но, однако же, стремленіе къ «славѣ» къ чему - нибудь обязывало не только во внѣшней, а и во внутренней политикѣ? Петръ не разъ говоритъ иностранцамъ, что его миссія въ этомъ отношеніи—превратить «скотовъ въ людей». Въ своихъ обращеніяхъ къ подданнымъ

онъ выражается нѣсколько мягче: онъ хочетъ превратить «дѣтей» во «взрослыхъ». Суть его мысли, однако же,—еще мягче, чѣмъ эти сердитыя выраженія. Не воспитанный самъ, онъ уже просто потому не можетъ быть воспитателемъ и педагогомъ своего народа, что не имѣетъ представленія ни о задачахъ, ни о пріемахъ педагогіи. Мы это видѣли на отношеніи первыхъ петровскихъ школъ къ учащимся («Очерки» II, 302—3). Своихъ «дѣтей» Петръ, въ сущности, трактуетъ какъ взрослыхъ, и дѣло сводится совсѣмъ не къ воспитанію, а къ самообученію, къ усвоенію извѣстныхъ техническихъ пріемовъ и навыковъ. Петръ разсуждаетъ при этомъ приблизительно такъ, какъ заставляетъ его разсуждать Корбъ по тому же поводу,—и какъ разсуждалъ когда-то Крижаничъ (выше, стр. 121). «Русскіе не хуже другихъ народовъ одарены отъ природы. У насъ такіе же руки, глаза и тѣлесныя способности, какъ у людей другихъ націй; если тѣ развили свой умъ, то почему же намъ не развить его: развѣ мы какіе-нибудь выродки человѣческаго рода? Умъ у насъ такой-же, и успѣвать мы будемъ такъ же, *если только захотимъ*». Такимъ образомъ, задача реформы весьма упрощалась. Стоило только захотѣть,—какъ захотѣлъ самъ царь—и можно было немедленно стать въ уровень съ европейской культурой. Нужно было только пріобрѣсти необходимыя знанія. Пріобрѣтя ихъ, можно было затѣмъ обойтись безъ дальнѣйшихъ услугъ иностранцевъ, т.-е. просто прогнать ихъ. Именно такъ и выражался Петръ, по словамъ неизданныхъ записокъ Остермана: «намъ нужна Европа на нѣсколько десятковъ лѣтъ, а потомъ мы къ ней можемъ повернуться задомъ». Какъ видимъ, это, въ самомъ дѣлѣ, вовсе уже не такъ далеко отъ программы Крижанича.

Что касается того, чтобы «захотѣть», — въ этомъ у Петра недостатка не было. Воли у него было въ избыткѣ. Слѣдовательно, оставалось только «приневолить» своихъ подданныхъ — научиться тому, чему онъ самъ научился въ Нѣмецкой Слободѣ. Думалъ-ли Петръ о томъ, что это было далеко не все, чему можно было вообще научиться у Запада, и что самому цѣнному, что было въ содержаніи европейской культуры, вообще нельзя «научиться» такъ просто, а надо это нажить самимъ, воспитать въ себѣ—совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, чѣмъ онъ воспитывалъ своихъ современниковъ? Если и думалъ даже, то какъ человѣкъ практическій, онъ, конечно, не остановился бы на томъ, что было не въ его власти сдѣлать. Но чего онъ, навѣрное, и не подозрѣвалъ вовсе—это то, что настоящая культура, съ ея условными и обязательными формами житейскаго общенія, съ ея уваженіемъ къ чужой личности, сдѣлала бы его собственные пріемы насажденія культуры совершенно непримѣнимыми и невозможными.

Такимъ образомъ, въ реформаціонныхъ задачахъ и пріемахъ своей внутренней политики, въ самыхъ даже крайностяхъ и увлеченіяхъ европеизмомъ—и именно въ этихъ крайностяхъ—Петръ остался, какъ

и во внѣшней политикѣ, глубоко національнымъ, человѣкомъ своего времени и общества. Онъ могъ научить окружающихъ только тому, чему самъ научился; а самъ научился немногому: и только это немногое и можно было внушить подданнымъ тѣми способами, какими внушалъ онъ. Слѣдовательно, его культурная реформа стояла совершенно на уровнѣ его времени.

Ввести такимъ образомъ можно было только внѣшность культуры. Иностранцы очень хорошо замѣчали, что новые «болѣе мягкіе нравы» русскихъ суть только «подражаніе смягченнымъ обычаямъ» (Корбъ), и что «хотя по внѣшности они и отесаны немного и одѣты во французское платье, тѣмъ не менѣе внутри ихъ сидитъ прежній мужикъ» (Юль). Доказательства многочисленны и общеизвѣстны; но чтобы дать почувствовать наглядно, чего не хватало этой новонасажденной культурѣ сравнительно съ ея источникомъ, приведемъ маленькій эпизодъ столкновенія двухъ культуръ, — изъ воспоминаній того же Юля. Дѣйствіе происходитъ въ маленькомъ городкѣ Торнѣ, давшемъ пріютъ Екатеринѣ въ 1711 г. «Я былъ пополудни въ церкви,—разсказываетъ Юль,—и пѣлъ вмѣстѣ съ остальною паствой. Вдругъ я замѣтилъ, что церковныя двери отворились, и въ нихъ появилась будущая (вѣнчаніе было въ 1712 г.) супруга царя съ лицами своей свиты. Онѣ колебались, стоя на порогѣ, войти или нѣтъ; но, увидавъ меня, вошли и помѣстились на моей скамьѣ—въ мужскомъ отдѣленіи—по двѣ женщины съ каждой стороны, чѣмъ привели меня въ крайнее смущеніе. Когда вслѣдъ за ними устремилось ко мнѣ еще нѣсколько женщинъ, я, какъ бы уступая имъ мѣсто, перешелъ съ моей скамьи и занялъ другую. Внѣ отдѣленій для молящихся стояло много русскихъ гвардейскихъ офицеровъ: они говорили, кричали и шумѣли, точно въ трактирѣ. Когда священникъ, войдя на каѳедру, началъ говорить проповѣдь, женщины, успѣвшія соскучиться, вышли изъ отдѣленій и стали обходить церковь, осматривая ея убранство и громко болтая... Такъ какъ проповѣдь все продолжалась, то царица послала сказать пастору, чтобы онъ кончилъ... По окончаніи проповѣди, царица, услыхавшая отъ кого-то, будто въ этой церкви похоронена Пресвятая Дѣва Марія, послала просить, чтобы останки (Божіей Матери) были выкопаны и переданы ей для перенесенія въ Россію»...

Не слѣдуетъ, однако же, черезчуръ низко цѣнить значеніе той чисто внѣшней прививки новыхъ культурныхъ элементовъ, которою, по необходимости, ограничилась реформа Петра. Эти формы, пока еще не наполненныя содержаніемъ, были, однако же, ассоціированы съ *извѣстнымъ*, вполнѣ опредѣленнымъ содержаніемъ, отрицавшимъ соотвѣтственное содержаніе русской старины. Внѣшность, т.-е. одежда, пища, жилище, все это—части нѣмого языка культуры, который говоритъ тѣмъ краснорѣчивѣе, чѣмъ рѣзче противорѣчитъ окружающей внѣшности. Завоевать право на такое открытое противорѣчіе—значитъ

очистить путь новой идеѣ, новому соціальному факту, преодолѣть важное препятствіе для его вступленія въ жизнь. Такой фанатическій противникъ петровской культурной внѣшности, какъ Константинъ Аксаковъ, лучше всѣхъ западниковъ понялъ важность этого перваго шага Петра и на себѣ испыталъ его трудность, попытавшись при имп. Николаѣ I взволновать дворянскіе умы обратной реформой—пропагандой бороды и русской рубашки. Если эта параллель покажется неубѣдительной, напомнимъ другую, одинаковаго характера съ петровской: напомнимъ, какихъ усилій стоили и какими протестами сопровождались въ *образованномъ* русскомъ обществѣ стриженые волосы эмансипированной женщины. Для стриженой бороды эмансипированнаго мужчины среди народной массы петровскаго времени—это сравненіе, впрочемъ, будетъ слишкомъ слабо. Тотъ, кто бывалъ въ турецкой современной провинціи и знаетъ, какому серьезному риску подвергаетъ себя мѣстный обыватель, который вздумаетъ замѣнить феску европейской шляпой, тотъ еще можетъ наглядно представить себѣ все соціологическое значеніе стриженой бороды и венгерскаго костюма въ петровской Россіи.

Какъ бы то не было, вполнѣ сознательнаго отношенія къ заимствуемой культурѣ, полнаго пониманія того, въ чемъ состоитъ ея содержаніе, невозможно искать ни въ реформаторѣ, ни въ реформѣ. Но съуживая и упрощая задачи реформы, можетъ быть, за то реформаторъ остался ея полнымъ хозяиномъ въ этой болѣе ограниченной сферѣ? Можетъ быть, не овладѣвъ вполнѣ оригиналомъ, онъ за то въ упрощенную копію внесъ все, что желалъ и какъ желалъ?

Нельзя сказать и этого. Чтобы охватить реформу въ ея цѣломъ, предварительно ее обдумать, распланировать и затѣмъ осуществлять въ извѣстной послѣдовательности и системѣ, для этого у Петра было слишкомъ мало знаній, а главное—слишкомъ неподходящая натура. Та же непосредственность натуры, которая исключала пониманіе болѣе глубокихъ и тонкихъ сторонъ европейской культуры, сдѣлала невозможной и систематически-обдуманную дѣятельность. Задерживающіе центры работаютъ еще слишкомъ слабо въ этомъ мозговомъ аппаратѣ. «Продолжительное занятіе однимъ и тѣмъ же дѣломъ повергаетъ Петра въ состояніе внутренняго безпокойства», замѣчаетъ Юль. За то, если Петра займетъ какая-нибудь мысль, она должна быть осуществлена немедленно. Онъ пріѣзжаетъ въ Дрезденъ: онъ былъ цѣлый день въ дорогѣ, люди измучены; уже вечеръ, время ужина. Ничего не значитъ: Петръ хочетъ видѣть кунсткамеру,—нужно отперсть ее, зажечь свѣчи и показывать ее Петру цѣлую ночь. Извѣстная нервная болѣзнь Петра еще усиливаетъ эту импульсивность, эту быстроту переходовъ отъ настроенія къ поступку и отъ настроенія къ настроенію. Въ январѣ 1710 г., веселый и радостный, онъ празднуетъ въ Москвѣ тріумфальнымъ шествіемъ Полтавскую побѣду. Вдругъ онъ оставилъ свое мѣ-

сто въ процессіи и во весь опоръ проскакалъ мимо кареты канцлера, въ которой сидѣлъ Юль. «Лицо его было чрезвычайно блѣдно, искажено и уродливо. Онъ дѣлалъ страшныя гримасы и движенія головою, ртомъ, руками, плечами, кистями рукъ и ступнями. Мы вышли изъ кареты и увидали,—какъ царь, подъѣхавъ къ одному простому солдату, несшему шведское знамя, сталъ безжалостно рубить его обнаженнымъ мечомъ и осыпать ударами,—быть можетъ, за то, что тотъ шелъ не такъ, какъ хотѣлъ царь. Затѣмъ царь остановилъ свою лошадь, но все продолжалъ дѣлать гримасы, вертѣлъ головой, кривилъ ротъ, заводилъ глаза, подергивалъ руками и плечами и дрыгалъ взадъ и впередъ ногами... Никто не смѣлъ къ нему подойти, такъ какъ видѣли, что царь сердитъ и чѣмъ-то раздосадованъ». Съ такимъ темпераментомъ Петръ всегда страстно предавался дѣлу, которое интересовало его въ данную минуту, и забывалъ обо всемъ остальномъ. Его работа распадалась на детали, въ которыя Петръ погружался всецѣло: въ нихъ онъ чувствовалъ свою силу, ими наполнялъ безъ остатка свое время, на нихъ удовлетворялъ своей потребности труда; но общій планъ этимъ самымъ отодвигался на второе мѣсто; на немъ сосредоточивать мысль было уже некогда, да и непривычно. Вотъ почему Петръ поставленъ былъ въ необходимость искать рессурсовъ, импульсовъ для своей детальной работы—извнѣ; вотъ почему онъ такъ жадно ловилъ всякія указанія и совѣты со стороны и такъ быстро пускалъ ихъ въ оборотъ, не согласовавъ и не продумавъ, только бы они подходили сколько-нибудь къ общему направленію его интереса въ данный моментъ.

Такого рода общее направленіе было, конечно, и у Петра; но оно опредѣляло характеръ его работы только въ самыхъ общихъ, черезчуръ общихъ чертахъ. Не охватывая однимъ взглядомъ всей своей реформы, не представляя себѣ отчетливо тѣхъ процессовъ, которые вызваны были его же дѣйствіями, но не прямо, а косвенно, и фактически совершались, ускользая отъ его глазъ или отъ его вниманія,—Петръ схематизировалъ реформу въ своемъ сознаніи очень поверхностно и грубо. Онъ твердо зналъ во всю первую половину царствованія только одно: что надо во что бы то ни стало побѣдить непріятеля. Для его любимыхъ наклонностей, для его привычныхъ занятій—война слишкомъ много давала пищи, чтобы онъ еще захотѣлъ думать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ того, что такъ или иначе, прямо или косвенно, относилось къ усиленію его военныхъ рессурсовъ. Потомъ, кромѣ «рощенія россійской славы», его стало занимать также и «введеніе добрыхъ порядковъ». Чѣмъ дальше, тѣмъ больше онъ сосредоточивается на этой второй мысли. Въ 1719 г. французскій дипломатъ Ла-Ви записываетъ рѣчь, которую Петръ держалъ передъ отъѣздомъ въ Олонецъ. Послѣ того, какъ достигнута внѣшняя безопасность, говорилъ царь, онъ употребитъ всѣ усилія, чтобы прекратить эксплуатацію народа продаж-

ными чиновниками и судьями; обязанность монарха—охранить народъ отъ всякой несправедливости и искоренить самыми сильными средствами нечестность и испорченность бюрократіи. И, въ отвѣтъ на пышныя похвалы сената, предлагающаго Петру, по случаю Ништадтскаго мира, титулы «отца отечества» и «императора всероссійскаго»—за то, что онъ вывелъ Россію «изъ тьмы невѣдѣнія (т.-е. неизвѣстности) на ѳеатръ славы всего свѣта», царь говоритъ знаменательныя слова: «надѣясь на миръ, не надлежитъ ослабѣвать въ воинскомъ дѣлѣ,—дабы съ нами не такъ сталось, какъ съ монархіей греческой; (но также) надлежитъ трудиться о пользѣ и прибыткѣ общемъ... отъ чего облегченъ будетъ народъ».

Въ общемъ—задача опредѣлена такъ же вѣрно и мѣтко, какъ и задача первой части царствованія. Но опять между этимъ общимъ опредѣленіемъ и деталями, между цѣлью и средствами лежитъ огромный пробѣлъ, заключающійся въ отсутствіи общаго плана и въ невозможности для Петра заблаговременно обдумать его и систематически осуществить. По старой привычкѣ, Петръ обращается къ средству уже испытанному: если въ устройствѣ арміи помогла иностранная техника, то отчего же не поможетъ она и во «введеніи добрыхъ порядковъ»? Эти «добрые порядки» ему представляются какимъ-то секретомъ,—вродѣ новаго тактическаго пріема или ружья усовершенствованнаго образца,—который иностранцы таятъ про себя и который стоитъ только узнать, чтобы все пошло какъ по маслу. Уже въ 1709 г. онъ такъ и говоритъ Юлю: этотъ секретъ скрываютъ отъ него пруссаки. «Когда онъ собирался, во время заграничнаго путешествія, идти моремъ изъ Пиллау въ Кольбергъ, то бранденбуржцы старались увѣрить его, будто по Балтійскому морю во множествѣ ходятъ турки и корсары, чтобы напугать этимъ и отклонить отъ поѣздки, которая бы могла открыть ему глаза, ознакомивъ его съ состояніемъ другихъ краевъ, и тѣмъ способствовала бы устройству собственнаго его государства по образцу Европы». Но Петръ перехитритъ иностранцевъ. Тайно, не говоря никому ни слова, онъ пошлетъ въ Швецію голштинскаго каммеръ-рата Фика, чтобы списать по секрету всѣ шведскіе уставы и регламенты. Затѣмъ, остается только перевести ихъ на русскій языкъ и ввести у себя дома (Ср. «Оч.» I, 166).

Итакъ, вотъ какъ Петръ схематизируетъ свою реформу: сперва внѣшняя безопасность, потомъ внутренній порядокъ и правосудіе. Не надо, однако, забывать, что и эта схема вырабатывается только ко второй половинѣ царствованія *), такъ сказать, post factum, — послѣ

*) Первое упоминаніе о ней находимъ въ знаменитомъ письмѣ къ сыну (1715 г.): «два необходимыя дѣла къ правленію—еже распорядокъ и оборона». Тутъ и упоминаніе о греческой монархіи, погибшей отъ пренебреженія къ воинскому дѣлу, и о «тяжкихъ забавахъ», необходимыхъ для государя: видно, что философія соб-

того, какъ юношескія мечты о славѣ и военныхъ забавахъ все равно втянули Петра въ войну, а постепенно развившееся недовѣріе къ ближайшимъ сотрудникамъ все равно заставило принять усиленныя мѣры контроля *). И даже въ своемъ наиболѣе разработанномъ видѣ эта схема не можетъ замѣнить сознательно разработаннаго плана реформы, такъ какъ она для этого слишкомъ обща.

За отсутствіемъ идей, остается одно только чувство, постоянно возвышающее Петра надъ всѣми мелочами и деталями, въ которыхъ онъ ежеминутно захлебывается. Это чувство — очень сильно развитое въ Петрѣ и единственное, которое его дисциплинируетъ, замѣняетъ для него всѣ сдержки, которыхъ не дало воспитаніе,—это чувство своей отвѣтственности, чувство долга, обязанности извнѣ наложенной. Любопытно, что и это сознаніе долга передъ родиной облекается у Петра въ форму, наиболѣе понятную для него и для его окружающихъ,—въ форму, заимствованную изъ военной службы, военной дисциплины. Онъ *служитъ* отечеству—не только какъ царь, какъ «первый слуга», какъ Фридрихъ Великій; нѣтъ—онъ прежде всего служитъ, какъ барабанщикъ, бомбардиръ, шаутбенахтъ, вице-адмиралъ. Въ Полтавской битвѣ онъ командуетъ своей отдѣльной частью, подвергаясь въ этотъ рѣшительный для его реформы моментъ одинаковой опасности со всѣми, хотя исходъ битвы можно считать предрѣшеннымъ. Въ 1713 г. вице-адмиралъ Крюйсъ предостерегаетъ Петра отъ рискованной морской авантюры; Петръ отвѣчаетъ: брать жалованье и не служить—стыдно. Во всемъ этомъ есть доля позы и доля буфонства; но во всей дѣятельности Петра мы не найдемъ другой болѣе глубокой, болѣе укоренившейся, почти сдѣлавшейся инстинктомъ, руководящей идеи, кромѣ этой идеи службы. И когда, въ послѣдній годъ жизни, онъ захочетъ втолковать своимъ подданнымъ ихъ обязанности къ народу, необходимость быть честными, не лгать, не грабить казну и не брать взятокъ, онъ не найдетъ иного способа, какъ распространить на эту сферу гражданскихъ отношеній тѣ же понятія военной службы и дисциплины. «Преступившихъ добровольно и сознательно въ дѣлахъ своей должности надлежитъ наказывать такъ же, какъ измѣнника, нарушившаго свою обязанность во время самаго боя,—ибо это преступленіе хуже измѣны; измѣну, увидавъ, можно остеречься,—а здѣсь не всякій остережется, такъ какъ скрытое преступленіе можетъ долго теченіе свое имѣть»:

ственнаго царствованія далась Петру не легко, запечатлѣлась въ его умѣ лапидарными штрихами и пускалась въ ходъ лишь по особо торжественнымъ случаямъ, всегда въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ.

*) Надо замѣтить, что кн. Куракинъ, въ одно слово съ жертвами Преображенской канцеляріи, утверждаетъ, что съ первыхъ годовъ петровскаго царствованія «началось неправое правленіе отъ судей и мздоимство великое и кража государственная». Онъ прибавляетъ правда, что все это и «донынѣ продолжается (1727) съ умноженіемъ, и вывести сію язву трудно».

погрѣшившій начальникъ не будетъ въ состояніи сдерживать подчиненныхъ, «и такъ мало-по-малу всѣ въ безстрашіе придутъ и людей въ государствѣ разорятъ, и такимъ образомъ, хуже измѣны отдѣльнаго лица можетъ быть государству не только бѣдствіе, но и окончательное паденіе (тутъ, вѣроятно, опять рисуется Петру «монархія греческая»).

Чувство долга, безъ сомнѣнія, помогаетъ Петру—среди всѣхъ колебаній и превратностей судьбы, среди собственныхъ увлеченій и капризовъ сохранить постоянное направленіе воли, переупрямить своихъ враговъ, своихъ союзниковъ, своихъ сотрудниковъ и свой народъ въ стремленіи къ достиженію разъ поставленной цѣли. Но замѣнить опредѣленнаго плана, дать дѣйствіямъ Петра систему—и это чувство не можетъ

Отсутствіе такого плана и системы, безъ сомнѣнія, должны были лишить реформатора возможности господствовать надъ реформой, руководить ея ходомъ вполнѣ сознательно и цѣлесообразно. Другими словами, личное его вліяніе на реформу сильно сокращалось въ размѣрахъ при этомъ условіи. Но то же самое условіе дѣлало особенно рельефной, особенно замѣтной со стороны ту долю личнаго участія, которая все-таки оставалась. Личное участіе царя въ реформѣ, конечно, гораздо болѣе скрадывалось бы, если бы въ ней все совершалось въ свое время, на своемъ мѣстѣ, при помощи разъ избранныхъ и приставленныхъ къ дѣлу посредниковъ и исполнителей. Но когда все распадалось на рядъ отдѣльныхъ, отрывочныхъ экспериментовъ, единичныхъ толчковъ, всякій разъ исправлявшихъ и замѣнявшихъ другъ друга и всякій разъ продиктованныхъ личнымъ усмотрѣніемъ Петра, тогда, разумѣется, вмѣшательство личности царя должно было чувствоваться и требоваться на каждомъ шагу. Если это былъ «промыселъ», то отнюдь не деистской, а скорѣе фетишистской религіи: за отсутствіемъ общаго закона столько актовъ воли, сколько поступковъ. И здѣсь, конечно, сейчасъ же надо сдѣлать оговорку. Всѣ эти поступки, безъ сомнѣнія, не являлись безусловно изолированными, вполнѣ чуждыми одинъ другому. Если въ этой примитивной натурѣ не было твердаго скелета мысли, то за то не было и никакого упорства систематика; не было доктрины, но не было и доктринерства. Петръ съ удивительной легкостью и быстротой признавался въ своихъ ошибкахъ и никогда не уставалъ начинать сызнова. Такимъ образомъ, если его реформа и не вела прямымъ путемъ къ цѣли, то она и не кружила около и тѣмъ болѣе не топталась на одномъ мѣстѣ. Обыкновенно (хотя и не всегда, какъ увидимъ) ошибка служила урокомъ; новый экспериментъ вносилъ поправку: это была, какъ любилъ говорить самъ Петръ, его школа. Разумѣется, при такомъ несовершенномъ методѣ, ученье могло продолжаться безконечно; и Петръ ошибался, когда по поводу Ништадскаго мира опредѣлялъ курсъ своей выучки—тройнымъ цеховымъ (семилѣтнимъ) срокомъ. Онъ

умеръ, не кончивъ курса и не выдержавъ экзамена по многимъ весьма существеннымъ предметамъ своей программы.

Стоитъ перебрать въ памяти всѣ главные предметы реформы Петра, чтобы убѣдиться въ правильности сдѣланныхъ замѣчаній. Учрежденіе постояннаго войска и обезпеченіе его содержаніемъ — есть, конечно, одинъ изъ самыхъ важныхъ результатовъ реформы, на достиженіе котораго направлена была наибольшая часть заботъ и усилій Петра. Но надо знать, какія жертвы должна была принести страна людьми и деньгами для достиженія этого результата: только тогда убѣдимся, что результатъ не стоитъ ни въ какомъ соотвѣтствіи съ усиліями, что огромная часть ихъ была затрачена нецѣлесообразно и непроизводительно. Если же обратимся отъ войска къ военному дѣлу, то увидимъ, что тутъ до конца жизни Петръ остался ученикомъ самымъ непонятливымъ. Не говоримъ уже о Нарвскомъ пораженіи: Петръ самъ созналъ, что тутъ было одно «младенческое играніе» и что войну мы «начали, какъ слѣпые, не вѣдая силы противниковъ и своего состоянія». Но когда та же ошибка, опять по личной винѣ Петра, повторилась на Прутѣ; когда въ предпослѣдній годъ жизни его походъ на Дербентъ напомнилъ крымскіе походы Голицына,—то тутъ для сужденія о характерѣ личнаго вліянія Петра на ходъ военныхъ операцій не остается сомнѣній. Пораженіе арміи Карла XII, какъ и пораженіе великой арміи Наполеона, было, главнымъ образомъ, дѣломъ самихъ этихъ полководцевъ. Нельзя относить на счетъ Петра отсутствіе общаго плана войны, такъ какъ здѣсь онъ зависѣлъ и отъ противниковъ и отъ союзниковъ. Свое личное дѣло, завоеваніе моря, онъ сдѣлалъ и сумѣлъ отстоять: хотя конечно, и тутъ — полное разореніе завоеваннаго прибрежья не свидѣтельствуетъ объ обдуманной программѣ завоеваній.

Гораздо ярче личный характеръ реформы отражается на созданіи флота. Ради флота Петръ велъ всѣ свои войны; но и эта задача до самой смерти осталась не вполнѣ осуществленной и распадалась на рядъ разрозненныхъ и недоведенныхъ до конца попытокъ, брошенныхъ частью самимъ Петромъ, частью его ближайшими преемниками. Скудость результатовъ сравнительно съ грандіозностью затраченныхъ средствъ тутъ выступаетъ особенно ярко. Уже не говоримъ объ игрушечной флотиліи, парадировавшей при взятіи Азова. Но тотчасъ за этимъ неудачнымъ вступленіемъ Петръ спѣшитъ однимъ почеркомъ пера создать настоящій большой торговый флотъ: землевладѣльцы построятъ ему 98 кораблей, и самъ онъ построитъ 90. Вернувшись изъ Голландіи, онъ забраковываетъ всю работу и начинаетъ все сначала (1700). Это не мѣшаетъ ему, годъ спустя, хвалиться передъ Августомъ польскимъ, что у него 80 кораблей, по 60 и 80 пушекъ на каждомъ. Увы, когда наступаетъ время пустить корабли въ дѣло для завоеванія Финляндіи въ 1713 г., у Петра оказывается всего четыре линейныхъ корабля и пара фрегатовъ. Въ промежуткѣ однако Петръ не тратилъ

времени даромъ; каждый годъ ѣздилъ на свою воронежскую верфь; кромѣ личныхъ усилій и заботъ, онъ положилъ тамъ огромныя суммы денегъ; сотни тысячъ людей умерли отъ болѣзней и голода «у гаваннаго строенія» (т.-е. у постройки новой Троицкой гавани возлѣ Таганрога, такъ какъ по мелководному Дону спускать большіе корабли оказалось невозможнымъ). Прутскій походъ сразу прикрываетъ все многолѣтнее дѣло: гавань срыта, суда отданы туркамъ или гніютъ на мѣстѣ. Такимъ образомъ, ничего почти не приходится утилизовать для сѣвернаго судостроенія, куда Петръ переноситъ теперь всѣ свои заботы, стараясь какъ можно скорѣе нагнать упущенное время. Въ 1719 г. у него уже 28 линейныхъ кораблей, но сколько новыхъ усилій для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяетъ только на первые годы послѣ закладки Петербурга; перенесеніе ея въ Петербургъ тоже оказывается недостаточнымъ: по Невѣ нельзя выводить оснащенные корабли въ море безъ углубленія фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить кронштадтскою гаванью. Но послѣ ряда новыхъ усилій, послѣ новыхъ огромныхъ жертвъ людьми и деньгами, и Кронштадтъ перестаетъ удовлетворять: отъ прѣсной воды суда гніютъ вдвое скорѣе, по условіямъ мѣста изъ бухты можно выдти только при восточномъ вѣтрѣ, по условіямъ климата—гавань только полгода свободна отъ льда. За нѣсколько лѣтъ до смерти Петръ находитъ новое мѣсто: Рогервикъ, недалеко отъ Ревеля. Правда, шведы остановились передъ страшными расходами и физическими препятствіями для укрѣпленія этой бухты; но Петра такіе пустяки не могутъ остановить. Снова люди десятками тысячъ идутъ на новую работу; «всѣ лѣса въ Лифляндіи и Эстляндіи сведены» для деревянныхъ ящиковъ, въ которыхъ погружаютъ на дно морское камень, наломанный въ сосѣднихъ скалахъ. А неумолимыя бури изъ года въ годъ, при Петрѣ и Екатеринѣ, разносятъ всю людскую работу, такъ что наконецъ и этотъ проектъ, «стоившій невѣроятныхъ суммъ», приходится бросить. Въ результатѣ, русскій флотъ *демонстрируетъ* въ Балтійскомъ морѣ, какъ онъ демонстрировалъ передъ Константинополемъ и передъ Азовомъ, но дѣйствительно важную услугу въ войнѣ оказываютъ только маленькія галеры, свободно пробирающіяся между шхеръ, въ виду шведскаго флота и арміи: онѣ высаживаютъ то тамъ, то сямъ небольшіе дессанты, которые разоряютъ берега, пока, наконецъ, Швеція не рѣшается вернуть себѣ безопасность въ собственной странѣ путемъ отказа отъ завоеванныхъ Петромъ заморскихъ провинцій. Но, можетъ быть, Петръ работалъ для будущаго? Въ 1734 г., всего девять лѣтъ послѣ его смерти, нужно запереть съ моря Данцигъ: Петербургское адмиралтейство можетъ снарядить самое большее — 15 кораблей, да и для тѣхъ не хватаетъ экипажа и нѣтъ офицеровъ.

Небывалое напряженіе государственныхъ силъ для достиженія военныхъ задачъ Петра вызываетъ, какъ мы знаемъ, непредвидѣнныя

измѣненія въ государственномъ строѣ. Приходится считаться съ этими измѣненіями и кое-какъ, наскоро восполнять пробѣлы и недочеты. Отсюда — случайный, стихійный характеръ всей государственной реформы, носящей неизгладимую печать торопливости, отрывочности и безсвязности. Вся она распадается на рядъ отдѣльныхъ экспериментовъ, ликвидирующихъ и исправляющихъ другъ друга. Не будемъ повторять здѣсь того, что объ этомъ говорилось въ отдѣлахъ о русскихъ учрежденіяхъ и финансахъ (I, 164 — 7). Напомнимъ, что даже и исторія школы не изъята изъ того же общаго правила — экспериментированія на ощупь (II, 295 и сл.). Не возвращаясь ко всему этому, остановимся еще только на одной области реформы, казалось бы наиболѣе личной, наиболѣе зависѣвшей отъ воли реформатора и, слѣдовательно, наиболѣе доступной для планомѣрнаго выполненія: на постройкѣ Петербурга. Петербургъ—это воплощеніе всѣхъ пристрастій и антипатій Петра, его любви къ морю и флоту, его потребности въ полномъ просторѣ, его привычки къ внѣшней обстановкѣ культуры, его ненависти къ старинѣ и его страха передъ глухой враждой старой столицы,—этотъ «парадизъ» Петра, созданный, по живописной финской легендѣ, цѣликомъ на воздухѣ и потомъ разомъ опущенный на болото, чтобы не потонуть въ немъ по кусочкамъ,—этотъ самый Петербургъ тоже отразилъ на себѣ не только все содержаніе реформы въ миніатюрѣ, но также и всѣ ея пріемы. На этихъ маленькихъ клочкахъ земли, раздѣленныхъ невскими устьями, Петръ мечется десять лѣтъ безъ устали, и въ результатѣ опять—масса непроизводительно затраченнаго труда, масса началъ безъ концовъ, великолѣпныхъ и дорогихъ проектовъ, оставшихся безъ исполненія, — и ничего цѣльнаго. То Петербургъ будетъ на теперешней Петербургской Сторонѣ,—и тамъ строятся церкви, биржа, лавки, зданіе для коллегій, частные дома, которые обязуется завести себѣ каждый служащій дворянинъ, смотря по имуществу. То—лучше оказывается перенести торговлю и главное поселеніе въ Кронштадтъ; и тамъ, опять по наряду, каждая губернія воздвигаетъ огромный каменный корпусъ: но въ этихъ корпусахъ никто никогда не будетъ жить и они постепенно развалятся отъ времени. Между тѣмъ, городъ возникаетъ на новомъ мѣстѣ, между Адмиралтействомъ и Лѣтнимъ садомъ, гдѣ берегъ немного выше и наводненія не такъ опасны. И опять Петръ недоволенъ. На досугѣ послѣднихъ лѣтъ ему приходитъ въ голову новая затѣя: Петербургъ обратить въ Амстердамъ, улицы замѣнить каналами,—и для этого перенести весь городъ на самое низменное мѣсто, на Васильевскій Островъ, раньше цѣликомъ подаренный Меншикову; отъ наводненій и непріятельскихъ нападеній предполагается построить плотины. И опять все дворянство, уже обзаведшееся домами въ другихъ мѣстахъ Петербурга, приглашается обязательно строить новые дома на Васильевскомъ Островѣ. Умираетъ Петръ—и начатыя постройки забрасываются, приходятъ въ

ветхость. За всѣ труды и расходы Россія обогащается лишь иностранной остротой: въ другихъ странахъ время создаетъ руины, а русскіе ихъ строятъ нарочно. «Ничего не было бы легче, какъ сдѣлать новый городъ (при помощи обязательныхъ построекъ) однимъ изъ красивѣйшихъ и правильнѣйшихъ въ Европѣ,—заключаетъ Фокеродтъ, — если бы только послѣдовали обычнымъ правиламъ архитекторовъ, и прежде чѣмъ строить, выработали бы опредѣленный планъ. Но дѣло пошло такъ, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ въ Россіи: начали съ исполненія».

Довольно, кажется, всѣхъ этихъ сопоставленій для общаго вывода. Личность Петра видна всюду въ его реформѣ; на всякой частности лежитъ ея печать: и какъ разъ эта-то черта и сообщаетъ реформѣ въ значительной степени стихійный характеръ. Это безконечное повтореніе и накопленіе опытовъ, этотъ непрерывный круговоротъ разрушенія и созиданія, и среди всего какая-то неизсякаемая жизненная сила, которую не могутъ ни сломить, ни даже остановить никакія жертвы, никакія потери, никакія неудачи, — все это такія черты, которыя напоминаютъ расточительность природы въ ея слѣпомъ, стихійномъ творчествѣ, а не политическое искусство государственнаго человѣка. Дѣлая этотъ выводъ, мы не должны забыть еще другой черты, постоянно мелькавшей въ предыдущемъ изложеніи. Именно въ *этомъ* своемъ видѣ реформа перестаетъ представляться чудомъ и спускается до уровня окружающей дѣйствительности. Она должна была быть такой, чтобы соотвѣтствовать этой дѣйствительности: ея случайность, произвольность, индивидуальность, насильственность — необходимыя въ ней черты; и не смотря на ея рѣзко антинаціональную внѣшность, она цѣликомъ коренится въ условіяхъ національной жизни. Страна получила такую реформу, на какую только и была способна.

Посмотримъ теперь, какъ отразилась первая побѣда критическихъ элементовъ на положеніи русскаго національзма. Въ странѣ, сильно отставшей культурно, по необходимости принужденной заимствовать болѣе совершенную технику сосѣдей и поневолѣ перенявшей, вмѣстѣ съ техникой, нѣкоторыя внѣшнія формы ихъ быта,—въ такой странѣ, можно сказать a priori, націоналистическій протестъ долженъ былъ быть силенъ и долженъ былъ вылиться въ форму религіозную. Мы знаемъ, что въ самой религіозной сферѣ этотъ протестъ уже былъ на лицо, и что тамъ онъ тоже былъ вызванъ побѣдой критическихъ элементовъ. Расколъ именно и былъ такимъ протестомъ со стороны національной религіи, осужденной иноземною критикою. Въ своемъ происхожденіи, также какъ во внутренней логикѣ своего развитія, расколъ былъ, какъ мы знаемъ, явленіемъ *чисто религіознымъ*, въ томъ смыслѣ, что онъ не имѣлъ характера «земскаго» или «соціальнаго» протеста, какъ думали нѣкоторые изслѣдователи («Оч.» II, 46). Но не надо забывать, что сама русская религіозная мысль носила въ то время

существенно-*націоналистическій* характеръ. Конечно, забота о душевномъ спасеніи вызвала расколъ; но забота эта вытекала не изъ какого-нибудь внутренняго процесса религіозной мысли или чувства, а изъ опасенія—лишиться испытанныхъ націей внѣшнихъ формулъ спасенія. Это былъ не порывъ—спасти свою душу путемъ личнаго усилія, а страхъ, какъ бы не погубить ее по чужой—иноземной—винѣ. Словомъ, это была борьба за формы національной религіи, потревоженныя греческой и кіевской грамматикой. Все враждебное вѣрѣ оказывалось при этомъ заразъ враждебнымъ и національности: и даже эта антинаціональность служила главнымъ доказательствомъ антирелигіозности нововведеній. Такимъ образомъ, религіозный принципъ раскола какъ нельзя болѣе пригоденъ былъ для того, чтобы сдѣлаться принципомъ націоналистической реакціи.

Но для того, чтобы подъ сѣнь и охрану націоналистической религіи была принята вся вообще національная старина,—нужно было, чтобы *вся* она подверглась преслѣдованію, т.-е. чтобы и въ *другихъ* областяхъ жизни, какъ это случилось въ религіи, побѣду одержали критическіе элементы. Пока этого не случилось, расколъ не могъ сдѣлаться знаменемъ націоналистическаго протеста. Въ лагерѣ противоположномъ тоже еще слишкомъ много оставалось націоналистическихъ элементовъ, чтобы разрывъ, пока исключительно религіозный, могъ считаться окончательнымъ и безповоротнымъ: для этого онъ просто былъ недостаточно принципіаленъ. Лозунгъ протеста, въ упрощенной формулѣ протопопа Аввакума, гласилъ: «тверди: такъ въ старопечатныхъ книгахъ, да молитву Ісусову грызи,—и все тутъ». Но увы, эта популярная опора протеста была вовсе не такъ прочна и незыблема, какъ казалось Аввакуму. Самое понятіе «старопечатныхъ книгъ» при ближайшемъ знакомствѣ оказывалось совершенно условнымъ и относительнымъ. «Старыя» книги печатались до Никона при пяти патріархахъ: Іовѣ, Гермогенѣ, Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ,—и всякій разъ съ исправленіями и перемѣнами. Всѣ онѣ въ свое время были «новопечатными», а нѣкоторыя наталкивались даже на противорѣчіе, совершенно одинаковое съ раскольническимъ (какъ, напр., знаменитое исключеніе «и огнемъ» изъ филаретовскаго Требника). Спрашивалось, какимъ же именно «старопечатнымъ книгамъ» вѣрить и съ какого момента считать исправленіе книгъ—ихъ порчей? У самого Аввакума, напр., въ Псалтири іоасафовскаго изданія стояло въ 104 псалмѣ «возврати», а у его товарища по изгнанію, діакона Ѳедора, въ іосифовской Псалтири было правильное чтеніе «возрасти». «И за сію опись (разсказываетъ Ѳедоръ) больше года бранился со мною Аввакумъ: ты-де старыя книги хулишь, а я-де за нихъ мучусь отъ никоніанъ давно прежде тебя... И послѣ отъ иныхъ Псалтирей позналъ, яко право глаголахъ ему; азъ ему и ту опись справилъ. И немудрая та рѣчь, и не богословская, да и о той у него велика толка была». Естественно, что Авва-

куму и той огромной массѣ, яркимъ представителемъ которой онъ былъ, трудно было принять выводъ Ѳедора, что «за опись кую въ книгѣ какой ни есть и за погрѣшительное слово—не подобаетъ намъ спиратися, ни стояти». Но при всемъ упорствѣ съ обѣихъ сторонъ (такъ какъ и никоніане крѣпко вѣрили въ силу буквы), все-таки оставалось сознаніе, не уничтоженное даже неосторожнымъ проклятіемъ 1667 года, что и та и другая сторона стоятъ на *одной* почвѣ; что, если не примиреніе, то побѣда и полное перерѣшеніе спора возможно для побѣжденныхъ. Не только обѣ стороны боролись одинаковымъ оружіемъ, но каждой случалось еще порой заимствовать оружіе у противника. Никонъ могъ, напр., съ досады, стоя на судѣ передъ патріархами, пустить въ ходъ раскольничій аргументъ, что «греческія правила не прямыя», что «печатали ихъ еретики» (ср. «Оч.» II, 40—43); и Аввакумъ могъ упорно защищать латинское мнѣніе о времени пресуществленія «святого сакромента» (ср. «Оч.» II, 165). Такимъ образомъ, принципіальной основы для полнаго раздѣленія, въ сущности, не было. Итакъ, расколъ уже потому не могъ въ XVII в. сдѣлаться исключительнымъ знаменемъ національзма, что и господствующая партія вовсе не стояла подъ знаменемъ иноземной критики, да и самъ онъ не терялъ надежды стать на ея мѣсто.

Въ самомъ расколѣ, правда, уже не было единогласія въ этомъ послѣднемъ вопросѣ. Въ немъ уже складывалась непримиримая фракція, считавшая разрывъ принципіальнымъ и окончательнымъ, вѣрившая въ наступленіе антихристова царства, въ полное изчезновеніе христовой церкви и таинствъ. (См. «Оч.» II, 49 и сл.). Но господствующее настроеніе массы вѣрнѣе отражалось въ посланіяхъ Аввакума, который, правда, самъ не прочь попугать враговъ и друзей антихристомъ и благословить на бѣгство изъ міра и на вольную смерть, но въ то же время не скрываетъ ни отъ себя, ни отъ другихъ своей вѣры въ скорое возстановленіе истины—и всѣми силами старается приблизить минуту этого торжества. Пока можно, онъ «докучаетъ» своими просьбами и угрозами царю Алексѣю, даетъ обѣтъ «не сводить рукъ съ высоты небесной», пока не обратитъ царя къ старымъ книгамъ. Потомъ онъ переноситъ надежды на Ѳедора, пишетъ ему и, наконецъ, передъ смертью своей (14 апр. 1682) и царя, благословляетъ своего любимаго ученика Сергія «стужати царю о исправленіи вѣры». Недавно стало извѣстно, что это—тотъ самый Сергій, который такъ неудачно пытался съ помощью стрѣльцовъ выполнить завѣтъ своего учителя въ Грановитой палатѣ, передъ царевной Софьей и патріархомъ, 5 іюля того же года. Понятно, что, въ ожиданіи скорой перемѣны, Аввакумъ дорожилъ скрытыми союзниками изъ никоніанъ и соглашался на всякія поблажки, чтобы только облегчить, а не затруднить связь между обоими лагерями. Онъ былъ противъ перекрещиванія и развѣнчиванія переходящихъ въ расколъ, готовъ былъ принимать православныхъ поповъ въ

ихъ чинѣ, довольствуясь раскаяніемъ; смотрѣлъ сквозь пальцы на участіе своихъ сторонниковъ въ православныхъ обрядахъ и таинствахъ, позволялъ имъ принимать у себя поповъ и отдариваться предъ властями, молиться за царя и оставаться на царской службѣ, не отрицалъ даже таинствъ, совершенныхъ новыми попами по *старымъ* книгамъ, а при употребленіи новыхъ книгъ—требовалъ только дополнительныхъ обрядовъ. Все это было принципіально немыслимо; но Аввакумъ слишкомъ хорошо понималъ, что пока наставники спорятъ о догматическихъ тонкостяхъ, масса ждетъ и колеблется въ нерѣшительности: вотъ почему онъ такъ широко практиковалъ свою систему временныхъ отступленій—«по нуждѣ», ссылаясь на то, что «время изъ правилъ вышло».

Положеніе, дѣйствительно, было таково. Народная масса стояла внѣ обоихъ лагерей, не разрывая формально съ церковью, въ душѣ инстинктивно склоняясь къ старинѣ, но не зная хорошенько, въ чемъ она состоитъ, въ чемъ разница между «старой вѣрой» и «новой». Такимъ рисуютъ намъ это настроеніе разныя сцены во время стрѣлецкаго мятежа 1682 г. Стрѣльцы готовы воспользоваться своимъ господствомъ, чтобы потребовать публичнаго пересмотра религіознаго спора; но они еще не рѣшаются высказаться опредѣленно: половина подписываетъ челобитную, половина возражаетъ: «зачѣмъ намъ руки прикладывать? Мы отвѣчать противъ челобитной не умѣемъ... все это дѣло не наше, а патріаршее; а мы и безъ рукоприкладства рады тутъ быть, стоять за православную вѣру *и смотрѣть правду*, а по старому не дадимъ жечь и мучить». И они спрашиваютъ, въ лицѣ своихъ депутатовъ: «За что старыя книги отринуты, какія въ нихъ ереси, *чтобъ намъ про то вѣдомо было*». Разумѣется, про себя они склоняются къ тому мнѣнію, что ересей въ старыхъ книгахъ нѣтъ, что отринуты онѣ напрасно, но все же предоставляютъ рѣшеніе дѣла властямъ и при первой опасности даже громко заявляютъ объ этомъ: «Намъ до старой вѣры дѣла нѣтъ; это дѣло патріарха и всего освященнаго собора».

Дать этотъ наглядный матеріалъ, недостававшій народу для рѣшительнаго выбора между расколомъ и никоніанствомъ; популяризировать въ массѣ ненависть нѣсколькихъ начетчиковъ къ «новой вѣрѣ»; поразить народную мысль иноземными новшествами и тѣмъ отбросить эту массу въ принципіально враждебный лагерь; убѣдить ее до очевидности въ пришествіи и торжествѣ антихриста и въ необходимости спасаться изъ міра: эту миссію исполнила петровская реформа. Она поставила разрывъ раскола съ церковью на ту принципіальную почву, которой до сихъ поръ не хватало; она сама превратила этимъ расколъ въ знамя національнаго протеста, въ оплотъ националистическихъ идеологій. Перемѣна позицій произошла необыкновенно быстро. Подъ извѣстнымъ намъ завѣщаніемъ патр. Іоакима (стр. 142) самый нетерпимый раскольникъ могъ бы еще подписаться. Безсильное попустительство патр. Адріана петровскимъ новымъ модамъ—уже приводило въ негодованіе.

Когда же послѣ Адріана церковь осталась вовсе безъ патріарха, раскольники потеряли всякій критерій для сужденія о ней и ея роли въ обществѣ. А время шло все такъ же быстро впередъ. Въ политическихъ видахъ Петръ преобразовалъ самое устройство церкви на протестантскій ладъ; ему случалось, уставши держать руки, въ качествѣ шафера, надъ женихомъ, приказывать прекратить вѣнчальный обрядъ (на свадьбѣ племянницы Анны Ивановны); онъ не стѣснялся даже разводить своихъ приближенныхъ (Ягужинскаго) съ женами и женить на другихъ; самъ онъ, какъ мы знаемъ, въ подобномъ случаѣ долго обходился и вовсе безъ вѣнчанія. Однимъ словомъ, церковь, послѣ такой огромной роли, какую она играла въ недавнемъ прошломъ, какъ-то вдругъ сразу сократилась и заняла болѣе чѣмъ скромное положеніе въ государственной и частной жизни. Естественно, что при головокружительной быстротѣ, съ которой совершилась эта перемѣна, почва ушла изъ-подъ ногъ у ревнителей стараго благочестія; недавніе споры съ церковью сами собой отодвинулись такъ далеко назадъ, такъ странно было бы теперь тянуть ее къ отвѣту и строить на побѣдѣ надъ ней какіе-либо разсчеты,—когда и сама она была уже не та, что прежде, и главный врагъ оказывался совсѣмъ не тамъ, гдѣ его привыкли видѣть... Надеждъ на побѣду, разумѣется, теперь уже быть не могло. За то реформа Петра впервые подала расколу весьма основательную надежду на долгое, прочное существованіе, на обильную паству, на богатый матеріалъ для пропаганды—не одной уже «старой вѣры», но и вообще стараго націонализма. Враги Никона не могли не сблизиться съ новыми врагами Петра изъ никоніанъ: настоящіе старовѣры расплылись въ массѣ «бородачей». Петръ не особенно преувеличивалъ, когда выразился однажды, что вмѣсто одного бородача (онъ разумѣлъ самого Никона), ему приходится имѣть дѣло съ тысячью.

Реформа Петра, со свойственными ей пріемами, дѣйствительно, не могла не послужить самымъ могущественнымъ орудіемъ для распространенія націоналистическихъ идеаловъ въ сѣрой массѣ. Бросая вызовъ всѣмъ старымъ привычкамъ, оскорбляя всѣ чувства, затрогивая всѣ интересы, эта реформа была не изъ такихъ, которыя скрываются въ глубинѣ канцелярій и теряютъ силу въ процессѣ нисхожденія и восхожденія по инстанціямъ. Она не могла остаться неизвѣстной самому послѣднему крестьянину въ самомъ глухомъ захолустьѣ: къ нему туда приходили, его нѣсколько разъ переписывали, безчисленное количество разъ облагали новыми, неслыханными податями и повинностями, отрывали отъ семьи и сохи и «выволакивали» на всевозможныя службы во всѣ концы государства. Въ своихъ собственныхъ платежныхъ квитанціяхъ онъ могъ прочесть длинную лѣтопись разрозненныхъ усилій Петра, то внося деньги на «дѣло кирпича» и «известное жженье» для петербургскихъ построекъ, то посылая людей «къ гаванному строенью» въ Азовъ или «на Котлинъ», то уплачивая дополнительные сборы на

«драгунскія сѣдла», то собирая провіантъ и фуражъ и т. д. Но мало всего этого,—Петръ и самъ не оставался вдали отъ народной массы. Ежегодно онъ носился изъ конца въ конецъ Россіи; вездѣ его видѣли, всюду онъ являлся со своими привычками, такими странными и такъ мало отвѣчавшими старой идеѣ о царской власти, со своими новыми людьми, еще болѣе безцеремонными, чѣмъ онъ самъ. Словомъ, Россія была полна Петромъ и его реформой: прожить жизнь и не столкнуться съ нимъ, не попасть такъ или иначе въ тѣнь его гигантской фигуры—становилось просто невозможно. Что могло быть, повидимому, общаго между великимъ реформаторомъ и простымъ тамбовскимъ дьячкомъ? А между тѣмъ и тамбовскому дьячку оказалось тѣсно жить въ одной Россіи съ Петромъ. Какъ бы оправдывая народную жалобу, что «никуда отъ него не уйдешь», дьячекъ могъ уйти отъ Петра—только на плаху. Мирно жилъ этотъ дьячекъ Степанъ въ Тамбовѣ, пока не началъ ему наговаривать Савва монахъ: «Было благочестіе, а нынѣ отпало, какъ и Римъ отпалъ; царь Петръ—антихристъ, потому что владѣетъ одинъ, безъ патріарха; а что бороды брить и у драгуновъ раскаты—это антихристова печать». Степанъ смутился; пересталъ, на всякій случай, въ церковь ходить и пошелъ къ духовнику за совѣтомъ. Услыхавъ про Петра-антихриста, духовникъ, къ слову, вспомнилъ: «Были мы на Воронежѣ въ пѣвчихъ и пѣвали передъ государемъ и при его компаніи; зашелъ разговоръ о Талицкомъ (авторъ памфлета о Петрѣ-антихристѣ, казненный въ 1701 г.); царь и говоритъ: «Такой онъ воръ—Талицкій; ужъ и я антихристъ! О Господи, ужъ и я антихристъ предъ Тобою!» А мы еще, то слыша, подумали: Богъ знаетъ, къ чему это онъ говоритъ»... Разумѣется, такое совпаденіе подкрѣпило подозрѣнія Степана; а тутъ еще прочелъ онъ въ старопечатной Кирилловой книгѣ: «Во имя Симона Петра имать сѣсти гордый князь міра, антихристъ». Нѣтъ сомнѣнія: Петръ—антихристъ; вотъ и прохожая женщина разсказываетъ: были ея родственники въ Суздалѣ, гдѣ заточена царица (Евдокія Лопухина), и царица говорила людямъ: «Держите вѣру христіанскую, это не мой царь, иной—выше». Со страха богобоязненный дьячекъ постригся отъ живой жены въ Трегуляевскомъ монастырѣ, подъ именемъ Самуила. Смотри, говорили ему, на монастыри первое гоненіе будетъ. «Нѣтъ нужды,—отвѣчалъ онъ,—тогда я въ горы уйду». Дѣйствительно, и въ монастырѣ Петръ не оставляетъ въ покоѣ разыгравшееся воображеніе Самуила. То какой-нибудь монахъ разскажетъ ему, что «теперь надъ нами царствуетъ не нашъ государь, а сынъ Лефорта», подмѣненный вмѣсто родившейся у Алексѣя Михайловича дѣвочки; то Самуиловъ дядя, тоже монахъ, успокоитъ племянника, что Петръ—только «предтеча» антихриста. Попалъ по какому-то дѣлу Самуилъ въ Воронежъ и рѣшилъ подѣлиться своими свѣдѣніями съ православными: написалъ письмо, что Петръ—антихристъ и подбросилъ въ неизвѣстный дворъ. Идетъ обратно; на

пути въ селѣ Избердеѣ боярскій сынъ сообщаетъ ему новость: «А вѣдь говорятъ, нашъ царь пошелъ въ Стекольню (Стокгольмъ), и тамъ его посадили въ заточенье, а это не нашъ государь». И Самуилъ про себя думаетъ: ну, такъ и есть, антихристъ. Пришелъ въ монастырь Духовный Регламентъ—царь отводитъ отъ монашества: явно антихристъ; ничего не подѣлаешь, надо бѣжать въ пустыню. Самуилъ бѣжитъ, его ловятъ, возвращаютъ въ монастырь. Сидя на цѣпи, монахъ думаетъ: «Игумену ни за что не поклонюсь: онъ слуга антихриста». Отсидѣлъ—и таки бѣжалъ опять, въ степь, оттуда пробрался къ казакамъ. Идея объ антихристѣ и тутъ не оставляетъ Самуила; встрѣтитъ онъ простого бурлака, ему внушаетъ про царство антихриста; а то наткнулся на попа, который по своему мстилъ Петру: на ектеніяхъ онъ поминалъ вмѣсто «императоръ»—«имперетерь» на томъ основаніи, что Петръ всѣхъ людей «перетеръ». Но тутъ случилась неожиданность: Самуилу попали въ руки правительственныя изданія противъ раскола; онъ прочелъ, пересталъ проповѣдовать про антихриста, обратился въ православіе и вернулся въ монастырь къ мирной жизни. Тщетная надежда: Петръ не даетъ никому пожить мирно. Самуилъ изъ своего Трегуляевскаго монастыря переведенъ въ московскій Богоявленскій, и велѣно ему посѣщать школу. Онъ бы и не прочь почитать хорошую книжку, но учиться грамматикѣ въ его возрастѣ уже трудно. Попробовалъ было не ходить въ классы: префектъ грозитъ плетьми. И раздраженіе противъ царя—теперь уже не антихриста—снова растетъ въ душѣ Самуила. Въ такомъ настроеніи его застаетъ извѣстіе: жена его вышла замужъ за другого. Самуилъ пораженъ въ самое сердце: и жены жаль, и на себя досадно, что ввелъ ее въ грѣхъ. Но кто главный виновникъ? И тутъ все онъ же, опять Петръ, опять его Регламентъ: вѣдь хотѣла жена постричься; нѣтъ, не позволили! Товарищъ Самуила, другой монахъ, тоже бранитъ Регламентъ, тоже поджигаетъ Самуила. И вотъ, доведенный до крайней степени раздраженія, совсѣмъ потерявшій душевное равновѣсіе, не зная, на комъ и какъ сорвать свою злобу, Самуилъ хватаетъ клочки бумаги и принимается—исключительно «для покою въ совѣсти», отнюдь не для пропаганды—отводить свою душу письменной бранью противъ вѣчнаго своего врага, императора. На горе монаха, одна такая бумажка попалась кому-то на глаза, препровождена была куда слѣдуетъ,—въ Тайную Канцелярію,—и пропалъ Самуилъ. Не помогли ни оправданія, ни объясненія: его казнили.

Эта исторія маленькаго человѣка поможетъ намъ наглядно представить себѣ, до какой степени насыщена была общественная атмосфера раздраженіемъ противъ преобразователя. Епископъ Досиѳей, колесованный за сношенія съ постриженной царицей Евдокіей, далъ самую краснорѣчивую характеристику этого настроенія, когда передъ соборомъ архіереевъ, вмѣсто всякихъ показаній, заявилъ: «Посмотрите,

что у всѣхъ въ сердцахъ! Извольте пустить уши въ народъ,—что въ народѣ говорятъ,—а самъ я объ этомъ говорить не стану». Что говорилъ народъ, дѣйствительно, слишкомъ хорошо было извѣстно въ московскомъ застѣнкѣ: пусть читатель прочтетъ извлеченную оттуда, трепещущую жизнью, страницу исторіи Соловьева, съ ея постояннымъ рефреномъ: «Какой онъ царь!»

Казалось бы, если когда-либо можно было ожидать, что «старая вѣра» сдѣлается знаменемъ широкаго политическаго и соціальнаго протеста, то это именно въ описываемое время. Не даромъ же иностранные резиденты при русскомъ дворѣ такъ напряженно ждали, что не сегодня-завтра въ Россіи разразится что-нибудь такое, что положитъ конецъ всей этой адской стряпнѣ. Не даромъ и въ самой Россіи, въ кругахъ, сгруппировавшихся около царевича Алексѣя, изъ году въ годъ возрастало нетерпѣливое, нервное предчувствіе развязки; казалось, что вотъ-вотъ потерпитъ царевичъ еще 2—3 года въ монастырѣ или за границей, а тамъ и можно будетъ кликнуть кличъ «отъ архіереевъ — священникамъ, отъ священниковъ — прихожанамъ». Но и иностранцы, и русскіе недовольные сводили счеты безъ хозяина. Царевичъ за свою неясную мечту не то о смерти отца, не то о бунтѣ — поплатился жизнью. Религіозный протестъ, дѣйствительно, превратился въ общенаціональный; но изъ національнаго соціальнымъ и политическимъ не сдѣлался. Это не значитъ, что соціальнаго протеста вовсе не существовало; но, какъ и до Петра, онъ шелъ своей отдѣльной струей, и всѣ попытки сліянія его съ религіозно-національнымъ протестомъ не привели ни къ чему.

На взаимныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ отдѣльныхъ теченій, религіозно-національнаго и соціальнаго, намъ необходимо остановиться, однако же, нѣсколько внимательнѣе, чтобы пояснить только-что сдѣланное утвержденіе.

Изъ основныхъ принциповъ раскола нельзя было сдѣлать никакихъ соціальныхъ выводовъ. Только въ нѣкоторыхъ крайнихъ толкахъ безпоповщины (какъ, напр., странники, см. «Очерки», II, 91) мы встрѣчаемся съ опредѣленнымъ соціальнымъ ученіемъ, и то выработаннымъ довольно поздно. Вообще же расколъ относился къ соціальнымъ вопросамъ совершенно нейтрально. «Кой во что призванъ, въ томъ да пребываетъ», такъ формулировалъ Аввакумъ это основное правило раскола. Конечно, расколу пришлось все-таки стать въ оппозицію государственной власти,—но лишь постольку, поскольку эта власть являлась представительницей интересовъ государственной церкви. И притомъ, даже эта оппозиція была не активная, а пассивная; расколъ дѣйствовалъ по отношенію къ государству оборонительно, а не наступательно. Самымъ активнымъ проявленіемъ самаго нетерпимаго отношенія раскола къ свѣтской власти—было самоубійство, самосожженіе: мученичество за вѣру, а не борьба за ея торжество.

На активную борьбу расколъ самъ по себѣ былъ не способенъ. Это, однако же, не исключало возможности попытокъ воспользоваться оппозиціоннымъ настроеніемъ раскола, чтобы привлечь его къ союзу съ элементами дѣйствительно активнаго протеста. Степанъ Разинъ еще не знаетъ хорошенько, гдѣ искать на Руси представителей религіознаго протеста, но онъ ихъ уже ищетъ и предлагаетъ имъ свой союзъ. Его эмиссары появляются и у низложеннаго патріарха Никона, и у взбунтовавшихся противъ его нововведеній иноковъ Соловецкаго монастыря. Конечно, эта первая попытка остается безъ всякихъ результатовъ. Годъ спустя послѣ казни Разина положеніе дѣла становится яснѣе. Раскольничья община, преслѣдуемая правительствомъ, разбѣгается мало-по-малу изъ Москвы по окраинамъ; въ это время и на Донъ появляются (1672 г.) до 130 чернецовъ и бѣльцовъ и строютъ себѣ на берегу рѣки Чира пустынь, скоро сдѣлавшуюся знаменитой («Оч.» II, 56). Неудачная попытка возстановить старую вѣру во время стрѣлецкаго мятежа (1682 г.) влечетъ за собой новый пароксизмъ правительственныхъ преслѣдованій. На сѣверѣ эти преслѣдованія вызываютъ эпидемію самосожженій («Оч.» II, 71), на западной окраинѣ бѣгство за границу, въ Польшу и Швецію, а на Дону на первыхъ порахъ—новый сильный приливъ бѣглецовъ: «Свѣтлая Россія потемнѣла, а мрачный Донъ возсіялъ и преподобными отцами наполнился». Здѣсь, среди казачества, на классической почвѣ русскаго соціальнаго протеста, союзъ религіозной оппозиціи съ соціальной долженъ былъ, повидимому, послѣдовать самъ собой. Онъ и послѣдовалъ,—но только для того, чтобъ показать до послѣдней очевидности, въ какой степени обѣ оппозиціи разнохарактерны и въ какой степени ихъ совмѣстное дѣйствіе невозможно. Старцы, поселившіеся въ Чирской пустынѣ, думали лишь объ одномъ, какъ бы перетерпѣть тяжелое время для раскола и обезпечить непрерывность церковной жизни: освятить церковь (1686 г.), наготовить въ ней какъ можно больше запасныхъ даровъ, чтобы и «въ тысячу лѣтъ не оскудѣло» *); самые смѣлые мечтали какъ-нибудь, хоть семью-восемью попами посвятить себѣ епископа. Вотъ почему, когда въ ихъ обители въ 1683 г. появились эмиссары изъ Москвы звать казаковъ на помощь бунтовавшимъ стрѣльцамъ, старцы спровадили ихъ поскорѣе дальше по Дону, съ ихъ подложной грамотой отъ царя Ивана Алексѣевича. А когда поднялось дѣйствительно политическое движеніе на Дону, старцы спасались въ лѣса и бѣжали на Кавказъ отъ царскихъ посылокъ за ними. Были, однако, на Дону и представители болѣе крайняго теченія въ расколѣ. На р. Медвѣдицѣ поселился типичный проповѣдникъ близкаго пришествія антихриста, Кузьма Косой. Созванный имъ отовсюду сходъ единомышлен-

---

*) Это такъ называемое «Доспоеево причастіе», о которомъ толковали, что «того таинства будетъ на 5.000 лѣтъ для 100.000 человѣкъ безъ нужды»; игуменъ Досиѳей обыкновенно просфору для агнца «запасалъ великую яко куличу». Ср. II, 74.

никовъ, тысячъ до двухъ, на первый взглядъ могъ показаться настоящимъ военнымъ лагеремъ, гдѣ готовились идти на Москву войной. Кузьма говорилъ о какомъ-то царѣ Михаилѣ, который будетъ съ ними и «очиститъ землю». Изъ всего этого сдѣлали въ Москвѣ политическій заговоръ и послѣ многихъ пытокъ умирающаго Кузьму заставили признать, что тѣхъ, кто не послушаетъ ихъ ученія на Дону и въ Москвѣ, «намѣрено было всѣхъ побивать». Смыслъ этого признанія, однако же, былъ совсѣмъ иной, чѣмъ могло показаться на первый взглядъ. Достаточно внимательнѣе всмотрѣться въ проповѣдь Кузьмы, чтобы узнать въ немъ не политическаго агитатора, а близкаго родственника тѣхъ пропагандистовъ, которые волновали Заволжье и призывали къ самосожженію (Оч. II, 69). Подобно имъ, Кузьма учитъ «умирать безъ причастія», «и жить безъ вѣнчанія», такъ какъ нѣтъ больше на землѣ ни церкви, ни таинствъ, и до кончины міра (1692 г.) осталось только пять лѣтъ. Подобно имъ, это ожиданіе близкаго пришествія антихриста вызываетъ въ Кузьмѣ и въ его паствѣ повышенное, экзальтированное настроеніе, располагающее къ мистицизму и къ апокалиптическимъ видѣніямъ. Это, въ сущности, то же движеніе, которое одновременно съ самосожженіями, вызвало въ Заволжьѣ хлыстовщину (Оч. II, 107—8). Кузьма открыто заявляетъ въ Москвѣ (1688—1689 гг.), что у него есть «подлинникъ», писанный перстомъ Божіимъ прежде сотворенія міра»: это, очевидно, другая копія «книги животной» Данилы Филиппыча,—живой книги «самого сударя Духа Святаго». При такомъ настроеніи Кузьма и его послѣдователи «все земное дѣло и суету отложили» и собрались на Медвѣдицѣ «для великаго божественнаго дѣла». Они ждали, какъ «вся земля вострепещетъ и море восколеблется и преисподняя потрясется и нечестивые и непокорные всѣ потребятся отъ земли»—царемъ Михаиломъ, подъ которымъ Кузьма разумѣлъ Христа. Естественно, что такого рода приготовленія и ожиданія не имѣли ничего общаго съ традиціями Стеньки Разина: и самъ Кузьма, и его покровители въ Черкасскѣ успокаивали мирныхъ казаковъ, чтобъ они «отъ того сбору не опасались и не мятежились, потому что тотъ сборъ былъ о божественномъ писаніи, а не иного какого худого дѣла, и къ Москвѣ идтить намѣренія не было». Но самая эта несоизмѣримость взглядовъ и полное различіе цѣлей, при всемъ видимомъ сходствѣ средствъ, должны были оттолкнуть отъ Кузьмы и немирныхъ казаковъ, замышлявшихъ настоящій мятежъ. Дѣло Кузьмы для нихъ было «страшнымъ дѣломъ» и его сборище «нелѣпымъ совѣтомъ»: вмѣсто того, чтобы подготовлять втихомолку бунтъ, Кузьма заявлялъ, что онъ никого не боится, «ни царей, ни войска, ни всей вселенной», а когда казаки пробовали урезонивать его простымъ практическимъ соображеніемъ: «Какъ-де вамъ идти, васъ-де немного», Кузьма отвѣчалъ имъ на своемъ языкѣ: «Съ нами будутъ небесныя силы». Очевидно, сговориться съ такимъ страннымъ союз-

никомъ было нельзя: онъ могъ быть скорѣе опасенъ, чѣмъ полезенъ для настоящаго заговора: вотъ почему казачій кругъ при первомъ требованіи выдалъ Кузьму московскому правительству. Сборище на Медвѣдицѣ продолжало держаться до послѣдней возможности, но оно никуда не шло, а только отсиживалось; а когда, послѣ долгихъ усилій, ихъ окопъ былъ взятъ приступомъ, большинство осажденныхъ бросалось въ огонь, и въ воду, т.-е. принимало мученическій вѣнецъ, дѣйствуя по той самой программѣ, которой тогда держалось крайнее и послѣдовательное направленіе раскола. Изъ это видно, что цѣль, съ которой собрались на Медвѣдицѣ послѣдователи Кузьмы, до конца оставалась все та же, и была очень сходна съ тѣми цѣлями, которыхъ добивались пропагандисты сѣверныхъ «гарей».

Итакъ, ни умѣренное, ни даже крайнее теченіе въ расколѣ не могло быть прямо и непосредственно использовано для соціальнаго протеста *). Это нисколько не помѣшало казацкой вольницѣ присоединить къ старой Разинской программѣ «старую вѣру» въ качествѣ новаго лозунга. «Старая вѣра», дѣйствительно, сдѣлала большіе успѣхи между донскимъ казачествомъ въ 80 годахъ, благодаря бѣжавшимъ изъ Россіи раскольникамъ. Въ чуждой казацкой средѣ расколъ сразу сдѣлался простымъ политическимъ орудіемъ въ рукахъ партіи, враждебной Москвѣ. Пока старцы на Чиру запасаются дарами, на всемъ Дону идетъ дѣятельная пропаганда вожаковъ антимосковской партіи; они добиваются постановленія казачьяго круга, чтобы въ Черкасской церкви служить по старымъ книгамъ, и стараются даже прекратить моленіе за царя. Пока Кузьма собираетъ свой сборъ на Медвѣдицѣ и пропагандируетъ свои апокалиптическія видѣнія, въ Черкасскѣ составляется формальный заговоръ, участники котораго, не надѣясь «очистить землю» съ помощью «небесныхъ силъ», заводятъ сношенія съ Яикомъ и Терекомъ, съ калмыками и «иными ордами», и назначаютъ даже срокъ, къ которому донское казачество должно быть готово искать зипуновъ. Исходъ заговора (1688 г.) и здѣсь оказался неудачнымъ, вслѣдствіе доноса; но тогда какъ раскольники при неудачномъ исходѣ стремятся умереть за вѣру, бросаясь въ огонь и въ воду, заводчики казацкаго бунта начинаютъ съ того, что отрекаются отъ «старой вѣры». Отношеніе ихъ къ расколу, какъ къ одному изъ *средствъ* бунта, очень вѣрно характеризуетъ одинъ изъ допрашиваемыхъ казаковъ. Заговорщики, по его словамъ, рѣшили «учинить бунтъ, какъ и при Стенькѣ Разинѣ, и идти для воровства на Волгу и на Куму рѣку», а «при-

*) Зачатки соціальнаго ученія, можетъ быть, и были у Кузьмы. «Мы, по созданію Божію, всѣ братія», пишетъ онъ съ Медвѣдицы къ донскимъ казакамъ, опровергая какое-то ихъ недоразумѣніе. Но, конечно, ни возможности, ни надобности не было развивать это ученіе въ виду того, что «ничтоже намъ не пособитъ вѣка сего житіе»—при предстоящемъ второмъ пришествіи.

говоря къ себѣ и иныя орды, возмутить всѣмъ государствомъ и идти къ Москвѣ... А старую вѣру они твердили и за нее стояли всѣ—для того жъ, умышляя, чѣмъ бы имъ не токмо что всѣмъ Дономъ, но и всѣмъ московскимъ государствомъ замутить».

Такъ стояло дѣло, когда начались «тяжелыя забавы» Петра, «замутившія» и на самомъ дѣлѣ «все московское государство». «Старая вѣра», въ смыслѣ протеста религіознаго, оказалась непригоднымъ орудіемъ для политической борьбы; но можетъ быть, какъ протестъ націоналистическій, она окажется болѣе сильнымъ и активнымъ союзникомъ?

Дѣйствительно, поведеніе Петра сильно оживило извѣстные намъ толки и подняло ослабѣвшія надежды. Опять появились въ народѣ мнимые извѣты царя Ивана Алексѣевича, на этотъ разъ съ новымъ содержаніемъ: «братъ живетъ не по церкви, знается съ нѣмцами». Опять заговорила и «голутьба» на Дону. Но, что всего важнѣе, новымъ факторомъ явились стрѣльцы: чѣмъ дальше, тѣмъ становилось яснѣе, что имъ все равно пропадать, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло въ ихъ средѣ мужество отчаянія. «Какъ Стенька былъ Разинъ, вы намъ мѣшали», говорили казаки стрѣльцамъ: «а теперь мѣшать будетъ некому». «Какъ бы вы съ одного конца, а мы съ другого». У движенія являются и вожди, характерный союзъ: братъ знаменитыхъ раскольницъ, пострадавшихъ при Алексѣѣ, Морозовой и Урусовой (Соковнинъ), и стрѣлецкій полковникъ (Цыклеръ). Обстоятельства, повидимому, складываются какъ нельзя благопріятнѣе. Царь, «уклонившійся въ потѣхи» и покинувшій правленіе на произволъ судьбы, кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ уѣзжаетъ изъ царства за-границу. Цыклера съ стрѣльцами назначаютъ въ Таганрогъ, самый удобный пунктъ для соединенія съ казачествомъ. Планъ дѣйствій создается самъ собой: «какъ буду на Дону у городового дѣла Таганрога, то, оставя ту службу, съ донскими казаками пойду къ Москвѣ для ея разоренія и буду дѣлать то же, что и Стенька Разинъ». Заговоръ раскрытъ и заговорщики казнены: но вызвавшее заговоръ настроеніе не умираетъ; напротивъ, продолжительное отсутствіе Петра даетъ ему новую силу. Царь «невѣдомо живъ, невѣдомо мертвъ»; первая непришедшая во время почта повергаетъ самихъ бояръ въ «страхъ бабій»; стрѣльцовъ держатъ на границахъ, и знающіе люди говорятъ имъ, что въ столицу, къ семьямъ, имъ уже больше не вернуться (ср. стр. 139). При этихъ условіяхъ мысль о походѣ на Москву пріобрѣтаетъ надъ умами стрѣльцовъ принудительную силу: «непремѣнно идти къ Москвѣ, хотя бы умереть». Послѣдней каплей является призывная грамота изъ Дѣвичьяго монастыря, отъ царевны Софьи. Рѣшеніе принято моментально: «идти къ Москвѣ». Цѣль тоже сама собой ясна. «Нѣмецкую слободу разорить и нѣмцевъ побить, за то, что отъ нихъ православіе закоснѣло; бояръ побить, государя въ Москву не пустить и убить за то, что началъ вѣровать въ нѣмцевъ. Послать вѣдомость къ донскимъ казакамъ». Въ своей челобитной, по-

данной при встрѣчѣ съ правительственными войсками боярину Шеину, бунтовщики не ограничиваются жалобами на «еретика-иноземца Францка Лефорта», хотѣвшаго погубить «чинъ ихъ, московскихъ стрѣльцовъ, чтобы благочестію великое препятіе учинить». Они передаютъ также волновавшіе ихъ слухи, что «идутъ къ Москвѣ нѣмцы, послѣдуя *брадобритію и табаку*, во всесовершенное *благочестія испровержение*».

«Брадобритіе и табакъ», какъ доказательства «испровержения благочестія»,—такова *новая* націоналистическая формула, смѣнившая уже—ранѣе первыхъ мѣропріятій Петра—старый лозунгъ религіознаго протеста: новопечатныя книги. Стрѣлецкій походъ къ Москвѣ 1698 г., рѣшенный, какъ мы только что видѣли, какъ-то стихійно: таково первое и единственное (въ самой Россіи) вооруженное проявленіе новаго націоналистическаго протеста. Петръ далекъ отъ того, чтобы понимать его внутренній смыслъ: онъ все еще борется съ тѣнью, съ «сѣменемъ Милославскаго», ничего не видя въ движеніи, кромѣ продолженія старой династической интриги. Онъ не знаетъ, или не хочетъ знать, что стрѣльцы уже мало интересуются царевной Софьей и готовятъ престолъ его законному сыну. Передъ его глазами стоятъ и заслоняютъ все другое старыя, знакомыя фигуры его личныхъ враговъ, и все то бѣшенство, на которое онъ только способенъ, поднимается разомъ со дна его души: начинается ужасная бойня, которая разомъ освобождаетъ Петра отъ единственной организованной опоры націонализма. Онъ можетъ теперь дѣлать, что хочетъ: «брадобритіе и табакъ», съ прибавленіемъ еще новаго платья, останутся главными предметами націоналистическаго протеста, какъ бы напоминая о томъ моментѣ, когда народное негодованіе сразу возникло и поднялось до своей высшей точки. За этимъ предѣломъ—народное воображеніе точно притупилось: мы не видимъ новыхъ лозунговъ а только частичныя отдѣльныя жалобы. Причина понятна. Стрѣлецкое войско было единственнымъ соціальнымъ факторомъ, способнымъ съиграть роль аккумулятора народныхъ жалобъ; его настроеніе передъ неминуемой гибелью было единственной соціальной силой, достаточно напряженной, чтобы дать этимъ жалобамъ исходъ въ какомъ-нибудь коллективномъ дѣйствіи; наконецъ, и моментъ—пока еще Петръ не взялъ правленія въ свои сильныя руки—былъ единственнымъ моментомъ, когда для такого дѣйствія открывался хоть какой-нибудь просторъ. Націоналистическая формула была отчеканена въ *этотъ* моментъ въ коллективномъ сознаніи и навсегда сохранила дату своего чекана.

У націоналистической оппозиціи, впрочемъ и послѣ гибели московскихъ стрѣльцовъ, оставался еще одинъ рессурсъ: южныя окраины. На этотъ разъ она сама первая пошла навстрѣчу и искала союза. Идея идти на Москву была на югѣ очень популярна. Въ списокъ враговъ, подлежащихъ истребленію, кромѣ бояръ, воеводъ и приказныхъ, занесены были и нѣмцы, а скоро прибавлена еще новая категорія: «при-

бывщики» (доморощенные финансисты изъ дворовыхъ и приказныхъ, измышлявшіе новые налоги въ началѣ сѣверной войны). Положительная сторона програмы тоже включила въ себя всѣ исторически сложившіеся слои—разинскій, раскольничій, націоналистическій и новѣйшій фискальный. Но на Дону и на Волгѣ сочетанія этихъ элементовъ оказались различныя. «Стали мы въ Астрахани (1705) за вѣру христіанскую, и за брадобритіе, и за нѣмецкое платье, и за табакъ... и за то, что стала намъ быть тягость великая», говорилось въ тамошней прокламаціи. Въ такой программѣ соединены были три послѣдніе элемента, но оказывалось слишкомъ мало перваго—разинскаго. Не обнаружили астраханскіе бунтовщики и достаточной ловкости, и достаточнаго знанія мѣстныхъ условій, которое могло бы зарекомендовать ихъ въ глазахъ казачества. Они, правда, не даромъ говорили, что такое «великое дѣло не просто начали». Дѣйствительно, за ними стоялъ цѣлый съѣздъ представителей недовольныхъ изъ разныхъ мѣстностей: «со многихъ городовъ люди». Но эти «многіе города» внутренней Россіи ничѣмъ не могли помочь возстанію, кромѣ идейнаго сочувствія; а о привлеченіи мѣстныхъ, всегда готовыхъ волноваться элементовъ—организаторы подумали слишкомъ поздно и сдѣлали это дѣло неумѣло. Выборный вождь движенія, ярославскій раскольникъ Носовъ, повидимому, принадлежалъ къ типу людей, лучше умѣвшихъ «умирать» за вѣру, по его собственному выраженію, чѣмъ за нее бороться. Это были, словомъ, на Волгѣ не свои люди: вотъ почему имъ и не удалось сплотить около себя низовой вольницы.

Главные союзники, которыхъ особенно боялся Петръ и на которыхъ особенно разсчитывали какъ московскіе, такъ и астраханскіе стрѣльцы,—это были донскіе казаки. Посланное имъ, слишкомъ оффиціально, прямо въ Черкасскъ, приглашеніе—было оффиціально и отклонено. Донцы остались равнодушны къ главной, націоналистической сторонѣ астраханской программы, на томъ основаніи, что «къ нимъ до сихъ поръ о бородахъ и о платьѣ указу не прислано». Это не помѣшало донской «голутьбѣ» два года спустя возстать самостоятельно (подъ предводительствомъ Булавина), выставивъ поводомъ, между прочимъ, и «еллинскую вѣру», въ которую «вводятъ» добрыхъ людей. Самая эта формулировка *) показывала, однако же, что Донъ болѣе чѣмъ когда-либо остается чуждъ религіозно-національному элементу протеста. Булавинская прокламація приглашала «атамановъ-молодцовъ, дорожныхъ охотниковъ, воровъ и разбойниковъ»—«съ нимъ погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поѣсть, на добрыхъ коняхъ

*) Можетъ быть, она вызвана жалобами астраханцевъ, что ихъ заставляютъ кланяться «болваннымъ кумирскимъ богамъ», подъ которыми они разумѣли подставки для париковъ, найденные въ домахъ служилыхъ людей: характерный провинціализмъ, уцѣлѣвшій отъ временъ Олеарія.

поѣздить». Очевидно, Носовъ и Булавинъ говорили на разныхъ языкахъ.

Итакъ, всѣ наличныя силы, на которыя могъ бы опереться соединенный соціально-религіозно-націоналистическій протестъ, были пущены въ дѣло и разбиты по одиночкѣ. Безполезно обсуждать, каковы были бы шансы на успѣхъ въ случаѣ комбинированнаго дѣйствія, но для насъ важно отмѣтить, что соглашеніе не могло состояться, помимо случайности и стихійности дѣйствій, также и потому, что и чувства, и взгляды, и задачи разныхъ входившихъ въ соглашеніе элементовъ были черезчуръ различны между собой.

Наши наблюденія надъ оппозиціонными элементами Петровской эпохи были бы, однако, неполны, если бы мы, помимо народной оппозиціи, не упомянули еще и объ оппозиціи интеллигентной, сосредоточивавшейся въ высшемъ общественномъ слоѣ. Мы разумѣемъ остатки титулованной аристократіи, «родословныхъ людей». Нѣкоторые изъ нихъ, какъ кн. Дм. Мих. Голицынъ и кн. Б. Куракинъ, были передовыми людьми своего времени, гораздо болѣе образованными, чѣмъ самъ Петръ, поневолѣ пользовавшійся ихъ услугами. Но Петръ не пускалъ ихъ на первыя мѣста и распространялъ на нихъ то недовѣріе, съ которымъ вообще относился, какъ мы знаемъ, къ боярству. Въ свою очередь, и они съ презрѣніемъ смотрѣли на плебейскіе вкусы и привычки царя, были шокированы его семейными отношеніями и не признавали его второго брака, негодовали на выборъ сотрудниковъ, какъ Меншиковъ, невѣжественныхъ и надменныхъ, которымъ тѣмъ не менѣе они принуждены были кланяться. Петровской безцеремонности и неуваженію къ чужому достоинству они старались противопоставить крайнюю сдержанность и осторожность, по возможности устраняясь отъ его оргій и предпочитая постоянному лицезрѣнію царя—службу въ провинціи, въ арміи, за-границей или просто житье у себя дома. «Что вы дома дѣлаете»?—спрашивалъ ихъ Петръ.—«Я не знаю, какъ безъ дѣла дома быть?»—«Какъ не найти дѣла дома, возражали они, думая про себя: «у тебя все готово, ты нашихъ нуждъ не знаешь». Для Петра—это было только оправданіемъ его отношенія къ этимъ «большимъ бородамъ, которыя, ради тунеядства своего, нынѣ не въ авантажѣ обрѣтаются».

Царевичъ Алексѣй былъ тѣмъ идейнымъ центромъ, въ которомъ соединялась народная оппозиція съ аристократической. «Мнѣ только здорова была бы чернь», говорилъ онъ, и въ то же время насчитывалъ въ числѣ своихъ друзей всѣхъ этихъ Долгорукихъ, Голицыныхъ, Куракиныхъ и т. д. «Отецъ твой хотя и уменъ», говорили они ему, «но только людей не знаетъ, а ты умныхъ людей знать будешь лучше». При случаѣ они не прочь были бы выступить впередъ, и, можетъ быть, даже дать народному протесту ту организацію, которой ему больше всего недоставало. Но случая не представлялось, а царевичъ

менѣе всего былъ способенъ самъ создать такой случай, — и титулованная аристократія таила въ душѣ свою оппозицію, въ ожиданіи лучшихъ дней. «Кабы царица не смягчала государева жестокаго нрава, намъ бы было жить нельзя: я бы первый измѣнилъ», шепталъ царевичу кн. Вас. Влад. Долгорукій — и принималъ на себя потомъ очень двусмысленную роль, какъ посредникъ между отцомъ и сыномъ. «Пожалуйста, меня не оставь», говоритъ царевичъ въ Сенатѣ другому своему «другу», кн. Якову Ѳед. Долгорукому, передъ бѣгствомъ заграницу. «Всегда радъ,—отвѣчаетъ князь Яковъ,—только больше не говори со мной: другіе на насъ смотрятъ». И при возвращеніи Алексѣя, князь, въ числѣ другихъ сенаторовъ, подписываетъ свое имя подъ смертнымъ приговоромъ царевичу и присутствуетъ при его предсмертной пыткѣ въ крѣпости, довольный хоть тѣмъ, что удалось спасти отъ пытки и казни сородича—князя Василья.

Аристократическая оппозиція принуждена была ограничиться разговорами по секрету. Но въ этихъ разговорахъ реформа Петра подвергалась безпощадной критикѣ и намѣчался планъ дѣйствій въ будущемъ. Царевичъ Алексѣй только резюмировалъ всѣ эти разговоры, когда излагалъ свою программу своей возлюбленной, Афросиньѣ. «Я старыхъ всѣхъ (сотрудниковъ) переведу и изберу себѣ новыхъ по своей волѣ; буду жить въ Москвѣ, а Петербургъ оставлю простымъ городомъ; кораблей держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни съ кѣмъ имѣть не хочу: буду довольствоваться старымъ владѣньемъ». Итакъ, новая программа, принимая въ общемъ реформу, отрицательно относится къ тремъ пунктамъ ея, для Петра, конечно, самымъ важнымъ: къ арміи, флоту и Петербургу. По счастью, мы знаемъ не только эти выводы, но и самыя разсужденія, на которыхъ они основывались: двѣнадцать лѣтъ спустя послѣ смерти Петра Фокеродтъ изложилъ эти разсужденія, частью отъ лица оппозиціи, частью отъ своего собственнаго лица, когда былъ съ ними согласенъ. Не можетъ быть сомнѣнія, что именно въ этомъ кругу, о которомъ мы теперь говоримъ, Фокеродтъ слышалъ эти «интимныя, конфиденціальныя» бесѣды изъ устъ лицъ, слагавшихъ Петру при «публичныхъ разговорахъ»—«пышные панегирики».

Недовольство непрерывными войнами, безсрочной военной службой и введеніемъ постоянной регулярной арміи заставило аристократическую оппозицію формулировать свой собственный взглядъ на задачи иностранной политики. — Прежніе государи, — говорила недовольная знать, — тоже дѣлали завоеванія, но присоединяли лишь такія земли, которыя были необходимы государству или откуда насъ безпокоили разбойничьи набѣги. Напротивъ, пріобрѣтенія Петра ничего не прибавляютъ къ нашей безопасности, а могутъ только вовлечь насъ, безъ всякой пользы для Россіи, въ чуждые намъ взаимные счеты и споры иностранныхъ державъ. Прежнія завоеванія были ужъ настоящими

завоеваніями, изъ которыхъ и государство, и служилые люди извлекали всевозможныя выгоды; а петровскія завоеванія требуютъ только заботъ и расходовъ. Не только дворянство не получило отъ нихъ никакихъ выгодъ и имѣній, а напротивъ, «лифляндцы у насъ чуть не на головахъ нашихъ пляшутъ, имѣютъ больше привилегій, чѣмъ мы сами: намъ только остается честь—защищать своею кровью и охранять на свой счетъ чужую націю». Наше государство такъ велико, что расширять его нѣтъ надобности; нужно только заселить его погуще. На насъ никто не нападаетъ, да и географическое положеніе Россіи таково, что чужеземное вторженіе ей не страшно. Въ случаѣ вторженія—страна, конечно, напряжетъ всѣ усилія для защиты, какъ это и было въ смутное время; но никакой, даже самый жестокій непріятель, хотя бы онъ опустошилъ все государство, не могъ бы причинить намъ и половины вреда, какой приноситъ постоянная армія. Такимъ образомъ, настоящая національная политика должна состоять въ томъ, чтобы сидѣть смирно, въ чужія дѣла не мѣшаться и ни на кого не нападать. Для обороны же достаточно и старой военной организаціи; а милліоны людей, которыхъ стоила шведская война и построеніе Петербурга, умнѣе было бы оставить дома, за сохой, гдѣ недостатокъ ихъ слишкомъ тяжело чувствуется.

Еще нелѣпѣе въ такой странѣ, какъ Россія, — стремиться играть роль морской державы. Для обороны границъ флотъ не нуженъ, такъ какъ единственная страна, которая могла бы высадить свои войска съ моря, Швеція, всегда предпочтетъ сдѣлать это съ суши; а высаженный моремъ дессантъ необходимо окажется отрѣзаннымъ, какъ только берега покроются льдомъ. Для нападенія же—флотъ безполезенъ, такъ какъ шведскіе берега защищены скалами, а прусскіе—дюнами; нападать же на Данію нѣтъ ни разсчета, ни возможности, потому что за нее вступятся другія морскія державы. Не нуженъ флотъ и для торговыхъ цѣлей, такъ какъ вся русская торговля совершается на чужихъ корабляхъ. Такимъ образомъ, и потраченныя на флотъ невѣроятныя суммы денегъ лучше было бы оставить въ карманѣ подданныхъ.

Наконецъ, и перенесеніе резиденціи въ сѣверную столицу болѣе вредно, чѣмъ полезно. Не говоря уже о томъ, что и судъ, и финансы и все вообще внутреннее управленіе, переполненное ворами и взяточниками, гораздо легче было бы контролировать изъ такого центральнаго пункта, какъ Москва, — и для внѣшней политики переселеніемъ въ Петербургъ выигрывается немногое. Правда, Швеція ближе изъ Петербурга, но ужъ черезчуръ, такъ какъ при малѣйшей оплошности новая столица рискуетъ сдѣлаться жертвой шведскаго нападенія. Напротивъ, къ Польшѣ и Турціи, за которыми, конечно, важнѣе наблюдать, чѣмъ за Швеціей—Москва ближе Петербурга; а ко всѣмъ остальнымъ державамъ разстояніе одинаково, такъ какъ и Москва, и Петербургъ одинаково удалены отъ Риги, «составляющей дверь, черезъ которую те-

перь проходитъ въ Россію все, что идетъ изъ Европы». Наконецъ, и торговля не можетъ извлечь никакой выгоды изъ пребыванія двора въ Петербургѣ, такъ какъ потребленіе двора составляетъ самую ничтожную часть торговаго оборота; главный предметъ его—громоздкое вывозное сырье, особенно нуждающееся въ дешевизнѣ расходовъ на перевозку: а при высокихъ петербургскихъ цѣнахъ, вызываемыхъ именно присутствіемъ двора, эти расходы ложатся на товары очень тяжело; слѣдовательно, дворъ лишаетъ торговлю и тѣхъ выгодъ, которыя могло бы дать ей мѣстоположеніе Петербурга.

Вотъ систематизированное, можетъ быть, нѣсколько заднимъ числомъ, изложеніе аргументовъ, какіе могли имѣть противъ реформы Петра государственные люди типа кн. Д. М. Голицына. Въ этомъ націоналистическомъ взглядѣ особенно бросается въ глаза одна черта, которая, на первый взглядъ, какъ будто противорѣчитъ націоналистическому характеру программы: это, именно, требованіе разоруженія и мирной политики. Мы привыкли, наоборотъ, завоевательную политику считать необходимой составной частью національной программы. Сюда, несомнѣнно, подходитъ и завоевательная политика Петра: недаромъ и противъ Турціи, и противъ Швеціи онъ выдвигалъ русскіе «завѣты исторіи». Въ этомъ соединеніи національно-завоевательной политики съ оффиціальной побѣдой критическихъ элементовъ мы усматриваемъ даже характерную черту переходнаго XVIII вѣка (выше, стр. 13). Несомнѣнно, въ реформѣ Петра критическіе элементы составляли лишь средство, а цѣль была вполнѣ націоналистическая. Если такъ, то какой же смыслъ имѣетъ, когда этой, по существу своему націоналистической, политикѣ,—противопоставляется націоналистами же какая-то другая, совершенно обратная? Ужъ не помѣнялись ли на этотъ разъ мѣстами національнзмъ и критика?

Въ дѣйствительности, здѣсь противорѣчіе только кажущееся. Достаточно обратить вниманіе на то, какъ—совершенно по-ассирійски или, что то же, по старо-московски—смотритъ націоналистическая оппозиція на задачи всякаго завоеванія вообще; какъ непонятенъ ей, съ этой точки зрѣнія, характеръ подчиненія Лифляндіи и сохраненіе ея привилегій,—чтобы убѣдиться, что взглядъ оппозиціи на внѣшнюю политику безусловно націоналистическій. Онъ не исключаетъ ни дальнѣйшихъ «необходимыхъ пріобрѣтеній» отъ Польши, ни новыхъ завоеваній, «обезпечивающихъ отъ набѣговъ»—со стороны Турціи. Онъ просто только считаетъ эти старыя цѣли московской политики достижимыми и при помощи старыхъ средствъ. Расширять же сферу дипломатическихъ отношеній Россіи онъ, очевидно, боится, чтобы не сдѣлать Россію орудіемъ въ чужихъ рукахъ безъ всякой для нея пользы. Конечно, и увлеченіе Петра «безплодной Ингерманландіей» и его любезности передъ остзейцами — этотъ взглядъ считаетъ отклоненіемъ отъ нормальнаго хода русской политики.

Однако же, и помимо этихъ спокойныхъ, логическихъ государственныхъ соображеній, есть еще причины, побуждавшія старую аристократію держаться подальше отъ Швеціи, поближе къ Польшѣ и Турціи, и мечтать о возвращеніи къ военному устройству XVII вѣка. Это— классовые интересы ея и вообще русскаго дворянства, существенно затронутые новыми порядками. «Когда (этой знати) приводятъ въ примѣръ дворянство европейскихъ странъ, считающее величайшей честью военныя заслуги, — говоритъ Фокеродтъ, — она обыкновенно отвѣчаетъ: это только доказываетъ, что на свѣтѣ больше дураковъ, чѣмъ умныхъ людей. Умный человѣкъ не станетъ подвергать опасности здоровье и жизнь, — развѣ только изъ нужды, за жалованье. Но русскій дворянинъ съ голоду не умретъ, если только позволятъ ему жить дома и заниматься хозяйствомъ. Даже тому, кто самъ за сохой ходитъ, все-таки лучше, чѣмъ солдату. А человѣкъ мало-мальски со средствами можетъ себѣ всякое удовольствіе позволить: ѣды и питья, платья, прислуги у него въ изобиліи; можетъ онъ, сколько душа захочетъ, и развлекаться охотой и другими забавами предковъ. Нѣтъ у него, конечно, костюмовъ съ серебромъ и золотомъ, нѣтъ великолѣпныхъ каретъ, дорогой мебели, не пьетъ онъ тонкаго вина, не лакомится чужеземными приправами, но за то вѣдь онъ ни о чемъ этомъ и не знаетъ—и уже потому не можетъ чувствовать себя лишеннымъ этого: онъ довольствуется своимъ домашнимъ питьемъ и ѣдой и чувствуетъ себя лучше, чѣмъ любой иностранецъ съ его пресловутой bonne chère. Что же можетъ заставить бросить этотъ покой и удобства, подвергаться тысячѣ опасностей и трудностей,—для того только, чтобы добиться какого-то чина?» Таково настроеніе российскаго «шляхетства», неволей «выволоченнаго» изъ насиженныхъ дѣдовскихъ гнѣздъ на тяжелую солдатскую службу. Естественно, что его досадѣ нѣтъ границъ. «Изъ-за какого-то честолюбія государя, а то такъ и министра, сосутъ кровь у крестьянъ, заставляютъ лично служить, да не такъ, какъ прежде — пока длится война, — а много лѣтъ подрядъ, вдалекѣ отъ дома и семьи; приходится влѣзать въ долги, а имѣнье отдавать въ воровскія руки приказчика, который такъ его обчиститъ, что если и посчастливится по старости или по болѣзни получить отставку, такъ и то не приведешь хозяйства въ порядокъ до самой смерти». Таково то настроеніе, при которомъ создаются націоналистическія мечты о возвращеніи къ старымъ порядкамъ. Таковы же и тѣ чувства, которыя лежатъ въ основѣ ненависти русской знати къ Петербургу. «Потребности русскаго дворянина,—замѣчаетъ Фокеродтъ, — заключаются не въ дорогихъ костюмахъ и мебели, не въ гастрономическомъ обѣдѣ и иностранныхъ винахъ, а въ обиліи пищи и питья мѣстнаго происхожденія, въ многочисленной дворнѣ и въ лошадяхъ. Все это въ Москвѣ онъ имѣетъ даромъ или за очень дешевую цѣну. Провизію для него и для дворни, сѣно и овесъ для лошадей привозятъ ему,

по близости, изъ своихъ же деревень въ изобиліи; продавать ихъ всеравно некуда; все и идетъ въ свое же хозяйство. Напротивъ, въ Петербургъ, окрестности котораго безплодны, ему приходится везти провизію и кормъ издалека; лошади падаютъ въ дорогѣ, обозъ стоитъ, мужики разбѣгаются; или же приходится все покупать на чистыя деньги, по страшно высокимъ цѣнамъ,—что, при русскомъ хозяйствѣ, приносящемъ доходъ больше натурой, чѣмъ деньгами, чрезвычайно отяготительно».

Итакъ, вотъ что особенно непріятно въ реформѣ для русской знати и дворянства: разореніе хозяйства, подрывъ экономическаго благосостоянія. Изъ всѣхъ мотивовъ недовольства — этотъ окажется самымъ сильнымъ и прочнымъ. Русскій дворянинъ охотно примирится съ самымъ пышнымъ расцвѣтомъ националистической внѣшней политики, — который еще впереди; онъ еще скорѣе и охотнѣе войдетъ во вкусъ европейскихъ модъ и житейскаго комфорта. Но къ чему его никогда не удастся пріучить и противъ чего онъ всегда останется въ оппозиціи,— это европейское чувство «военной чести», воспитавшее сословный духъ европейскаго дворянства. Очень скоро послѣ Петра дворянинъ почувствуетъ свою корпоративную силу; но онъ воспользуется ею только для того, чтобы какъ можно скорѣе развязаться съ почетной повинностью военной службы и вернуться назадъ, «домой», къ себѣ въ деревню. Изъ всѣхъ оппозиціонныхъ стремленій петровскаго времени—это будетъ единственное, которое найдетъ твердую точку опоры въ собственной сословной силѣ и которое осуществится, благодаря этому, *вопреки* волѣ правительства.

Кромѣ общихъ сочиненій о царствованіи Петра В. — Устрялова, Соловьева, Брикнера, см. новѣйшую сводную работу *K. Waliszewski*, «Pierre le Grand», Paris 1897 г.; авторъ удачно популяризируетъ и обставляетъ фактическими доказательствами тотъ взглядъ на Петра, который начинаетъ въ послѣднее время устанавливаться въ русской литературѣ. Дневникъ Корба переведенъ въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Др., 1866, IV; 1867, I и III. Записки Юста Юля—тамъ же, 1899, II—IV. Мемуары кн. Б. Куракина въ Архивѣ кн. Ѳ. А. Куракина, т. I, Спб. 1890. Дневникъ каммеръюнкера Берхгольца, т. I—IV, М. 1857—63 г. Записка Фокеродта издана Herrmann'омъ: «Russland unter Peter dem Grossen», Lpz., 1872; русск. перев. въ Чтеніяхъ О. И. и Др. 1874 г., II. Для характеристики религіозной и соціальной оппозиціи, кромѣ Соловьева и сочиненій, указ. въ «Очеркахъ», т. II, въ отдѣлѣ о расколѣ, см. еще: *П. С. Смирнова*, «Внутренніе вопросы въ р. расколѣ въ XVII в.», Спб. 1898 г. *В. Г. Дружинина*, «Расколъ на Дону въ концѣ XVII в.», Спб. 1889 г.

Очерки по исторіи р...
селеніе, экономическій, ...
ный строй. изд. 4-е, цѣна 1...

Очерки по исторіи русской культуры, часть вторая, церковь и школа (вѣра, творчество, образованіе), изд. 3-е, цѣна **1** руб. **50** коп.

Очерки по исторіи русской культуры, часть третья, (націонализмъ и общественное мнѣніе), выпускъ второй, цѣна **1** руб.

Главныя теченія русской исторической мысли, т. I, 2-е изданіе, изданіе «Русской Мысли», Цѣна **1** р. **50** к.

Изъ исторіи русской интеллигенціи, сборникъ статей и этюдовъ, изданіе товарищества «Знаніе», цѣна **1** руб. **50** коп.

Цѣна 75 коп.